САВВА МОРОЗОВ



ЛЬДЫ И ЛЮДИ

Михаил Тимофеевич.

Поздравляем Вас с днем Советской Армии.

23.02.80г.

женщины аппарата РБ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1979



САВВА МОРОЗОВ

ЛЬДЫ И ЛЮДИ

РОМАН

Р2
М80

М $\frac{70302-302}{078(02)-79}$ 138—79. 4702010200

Настоящее есть результат прошедшего и указание на будущее... Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло нам о нашем будущем.

В. Белинский

Климат зависит от широты места, близости моря, материков, от высоты местности, от гор, лесов, вод и болот, и других еще мало известных отношений.

В. Даль

Поговорим о странностях любви.

А. Пушкин



ГЛАВА 1

ПОСЛЕ СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБЫ

Пишет Никита Багров

Серебряная наша свадьба летом шестьдесят первого года удалась на славу. Были, конечно, и цветы, и шампанское, и, самое главное, множество дружеских поздравлений.

Они произносились гостями за столом, мы читали их в радиограммах, пришедших по нашему московскому адресу из разных мест Заполярья — Северного и Южного. В тот вечер мы как будто снова побывали и на Чукотке, и на Таймыре, и на дрейфующих станциях Северного полюса в Ледовитом океане — словом, всюду, куда прежде заносила судьба нас, серебряных юбиляров, профессора-метеоролога Настасью Егоровну Багрову и полярного летчика Багрова Никиту Егоровича.

Будто еще раз пережили мы далекую молодость вместе со старыми друзьями. А для молодежи, сверстников нашей дочери, вечер этот ознаменовался неожиданным открытием.

Бортмеханик из моего отряда, застенчивый Костя, поднял бокал и сказал:

— Красивая вы пара с Настасьей Егоровной. Смотришь на вас и, честное слово, просто завидуешь. — При этих словах Костя смущенно улыбнулся. — Счастливая у вас, Никита Егорыч, семья. Выпало вам счастье, повезло в жизни — нашли друг друга сразу.

— Сразу? — усмехнулся я. — Ну, брат, угадывать ты великий мастер. Да если хочешь знать, мы с Настей полжизни искали друг друга.

— Невозможно поверить, Никита Егорыч, — удивился Костя.

— Да уж поверь, — улыбнулся я. — Полжизни мы будто в потемках блуждали, хоть и росли вместе. Знаешь, как в старинных романах пишут — «они росли в одной семье, не подозревая ни о чем...». Иной раз и в жизни так выходит. Вот ты обратил внимание на наши отчества — Егоровна и Егорыч. Оба мы Багровы от рождения, воспитывались в одной семье как брат и сестра, хотя никакого кровного родства у нас нет и в помине. Вот как бывает, Костя. Но эта история долгая, путаная, в двух словах ее не расскажешь, да и не время сейчас...

Друзья шутливо советовали «молодоженам» собраться в свадебное путешествие по краям заполярным.

— Бросьте все дела, — говорили нам, — и поезжайте в свое Егоркино. Ведь лет тридцать, поди, там не были.

И мы решились. Вскоре после серебряной свадьбы отправились в Сибирь...

Плыли вниз по течению Большой Реки добрую неделю и все не могли нарадоваться: туристами путешествуем, первый раз в жизни туристами!

Раньше, в молодые свои годы, видел я Большую Реку, «сестру океана», как называют ее сибиряки, только сверху, с воздуха. После войны, возвратившись из военной авиации в полярную, работал я в высоких широтах, краях куда более северных, чем Сибирь. И потому теперь на Большой Реке поражали меня бесчисленные «географические открытия». Тут на пустынном мысе поднялись заводские корпуса. Там подвели к берегу железнодорожную насыпь, быки для моста возводят...

Восхищалась и Настасья Егоровна. Нравились ей и зеркала в каютах, и музыкальный салон, и кинозал на верхней палубе: «Подумать только, Кит, где мы с тобой сейчас — ведь не на Волге, не на Дунае». И без конца вспоминала пассажирскую баржонку, на которой впервые в жизни спускалась вниз по Большой Реке — зимовать ехала на Егоркинскую метеостанцию после университета. Зимовать! Одно это слово древностью отдает. Нынче и глагола такого не осталось в обиходе егоркинских жителей.

Едва теплоход свернул с главного русла в протоку, слева, на крутом берегу, бросились нам в глаза каменные строения, те самые, которые видел я недавно в кинохронике. И это в городе, где на нашей памяти улицы мостились бревнами, колдобины засыпались опилками, а тротуары настилались из досок.

Передавая друг другу бинокль, мы с Настей дивились бетонным мостовым, уходившим от берегового откоса. Прочитали броскую вывеску под шиферной крышей: «Универмаг «Георгий». Прочитали и засмеялись: в Москве, значит, «Руслан», в Ярославле — «Ярославна», а в Егоркине — «Георгий».

— Как ты думаешь, Кит, цел дом, в котором была батина резиденция?

Я не успел ответить. Теплоход еще малость повернул влево, и нам открылась крутая многоступенчатая лестница, поднимающаяся от дебаркадера к бревенчатому, некрашеному, потемневшему от времени строению из вековых стволов лиственницы.

Вот он, домина этот, кондовый, рубленный «в лапу», построенный в Егоркине одновременно с первыми причалами и лесопильным заводом. Размещались в нем тогда, давным-давно, управление порта и контора комбината Полярстрой. Очень нам с Настей приятно было увидеть, что, как и прежде, растет перед домом единственный кедр, для столь северных широт дерево редчайшее. Оберегал тот кедр, любил его как одушевленное существо директор Полярстроя Егор Адрианович Багров.

Интересно все-таки, что же теперь в этом доме?

Оказалось, гостиница коммунхоза. В ней заняли мы комнату, громко именуемую «номер люкс», меблированную двумя широченными кроватями, здоровенным гардеробом и совсем никудышным низеньким столиком.

Разложили чемоданы, умылись с дороги, заварили к вечеру чайку. Собрались было прогуляться, но у меня разболелась голова, и жена решила отложить прогулку до следующего утра.

И вот для Насти, счастливицы, утро наступит через несколько часов. А для меня оно, увы, уже наступило. Что поделаешь: бессонница — явление возрастное. С вечера свалился как убитый, а после полуночи проснулся и не могу заснуть. И лежу, смотрю по сторонам, завидую всем, кто в ладу с этим самым Морфеем.

В первую очередь завидую, конечно, Насте. Спит она очень уютно — правой рукой обняла подушку, левую положила поверх одеяла. Рука полная, молочно-белая у плеча, а ниже локтя тронута веснушками. Волосы Настины, рыжие, отливающие медью, прошитые редкими нитями седины, освобождены от шпилек и гребенок, разбросаны по подушке веселым костерком. Чуть припухшими веками прикрыты глаза. Настины глаза — то зеленоватые, то светло-серые, такие откровенные в минуты близости, такие насмешливые в часы семейных дискуссий. И всегда внимательные, даже вечерами, когда усталая, придя домой после лекций в институте, Настасья Егоровна, близоруко щурясь, снимает очки.

Носить очки она стала недавно — близорукость тоже явление возрастное, как и дальнозоркость, которая стала развиваться у меня.

— Всему свое время, Никита Егорыч, — утешал меня аэрофлотский наш эскулап, — правильно вас начальство выдвинуло, новая должность по чину вам.

Чин у меня громкий: заслуженный пилот. А к должности инспектора никак не привыкну — летаю мало, больше с бумагами вожусь. Летать еще не надоело, нет! Не так уж это много — пятьдесят.

Впрочем, нет, теперь уже пятьдесят один. Исполнилось согласно календарю. Начались новые сутки, как свидетельствуют о том старые мои часы с надписью на циферблате: «Штурманские», точные, как хронометр, снятые вечером с руки, положенные на тумбочку. Да, не спится...

Я одеваюсь по возможности бесшумно, выхожу из комнаты, боясь скрипнуть дверью. Настя, однако, слышит, ворчит, не открывая глаз:

— Иди уж, гулена. Поднялся ни свет ни заря. Реглан накинь. Еще дождь...

Нет, дождя можно не опасаться. Облака, закрывавшие небосвод в час восхода, теперь все более редеют. С противоположного берега протоки, с острова, доносится рев прогреваемых моторов. Там теперь Егоркинский аэропорт, потому и остров зовется Самолетным. А я, спускаясь по многоступенчатой лестнице к реке, припоминаю другие названия, другой, тридцатилетней давности город.

Там, где теперь дебаркадер, раньше к широкому плоту швартовались гидропланы. Северная авиация зарождалась на воде — мало кто помнит об этом нынче. Заштормит иной раз в морской лагуне или в протоке, такой вот, как эта, тогда уж прощай посадочка! Это теперь здесь бетонка, тут металлической сеткой грунт прикрыт — всюду в Заполярье аэродромы надежные. А тогда ничего подобного не было. Да и аэропланы тогдашние, тридцатых годов, разве похожи на реактивный лайнер, что золотом вычеканен на серебряном почетном моем значке?

Нынешний Самолетный остров — так он на всех картах обозначен уже не первый год — я помню как остров Ламутский. По ламутам, коренным здешним жителям, звался он. А ламутов наши этнографы давно уже переименовали в эвенов.

Вот подивилась бы покойная моя мать, местная уроженка, доживи она до наших дней. А уж дед-то, ссыльный поселенец, лоцман нижнего плеса Большой Реки, и вовсе руками развел бы, увидев на месте здешнего, им основанного зимовья современный портовый город, корабли, приходящие за сибирским лесом из многих стран.

Вспоминая все это, думаю: как изменяются с возрастом людей временные масштабы! Сегодня, перешагнув в шестой десяток, я вижу события давнишние так отчетливо, будто происходили они вчера. А лет тридцать назад, в пору моей юности, рассказы старших о дореволюционных временах, не столь тогда и далеких, воспринимались мною почти как легенды.

Да, память человеческая имеет свои возрастные особенности.

Отчетливо помню наш приезд в Архангельск весной 1917-го, когда Егор Адрианович, получив отпуск после ранения, привез маму и меня с братом, двоих малышей, к своей матери Таисье Федоровне. А самое раннее дет-

ство, прошедшее тут, на Кривой протоке, сохранилось в памяти какими-то обрывками, будто сон. Помню, как мама рыдала, когда дед Яков утонул. Помню мамину радость, когда с редкими пароходами приходили письма Егора Адриановича с Балтики, с германской войны...

И еще думаю: за полсотни вот перевалило мне, но стариком себя не чувствую. И забыл уже, что Таисье Федоровне, добрейшей нашей «бабушке Феде», было примерно столько же, когда я впервые увидел ее и назвал бабушкой.

Не достиг нынешнего моего возраста и тот, кого всегда почитал я как родного отца, кому стольким обязан. Всего пятьдесят было Егору Адриановичу, когда закрыл я ему глаза на подтаявшем дрейфующем льду полярного поля.

Но какую жизнь прожил человек! Тесно переплелась она с летописью не только Крайнего Севера, но и всей нашей Родины в эпоху, начатую Октябрем.

Младший брат мой Адриан давно, еще юношей, задумал нечто вроде семейной хроники Багровых: и об отце хотел рассказать, и о Насте, и обо мне. Но не успел он завершить начатое, погиб на войне.

Теперь замысел его пытаемся воплотить мы вдвоем: Настя и я.



ГЛАВА 2

«НИКАКОГО ВЫМЫСЛА, ТОЛЬКО ФАКТЫ...»

Пишет Адриан Багров

Пусть это традиционно — цитаты из классиков, но не могу обойтись без Горького. Отлично сказал Алексей Максимович в связи с «Историей фабрик и заводов»:

«...вы, товарищи, создавая новую историю, сами должны писать ее силой той же руки и того разума, которые поставили вас хозяевами огромной и богатейшей страны...»

Зачем придумывать сюжеты, измышлять характеры, если жизнь — вот она, рядом. Присматривайся к ней, дружи с ней, пиши, не ленись.

Документальность — вот в чем сила! Например, повесть Паустовского «Кара-Бугаз». Ведь в основе того, что рассказано о пустынном заливе на востоке Каспия, точные данные: старые, потертые на сгибах карты, поблекшие листы донесений гидрографов. Как переплетаются людские судьбы с исторической судьбой «богом забытой» земли! Разве не увлекательно, что на горькой

соли, добытой из морской воды, возникает сложная индустрия, развитый химический комплекс. И увенчивается все это подлинной революцией в отношениях людей с природой, ошеломительным скачком от первобытного строя к социализму. Молодец Паустовский! Доказал, что и писатель может быть «разведчиком» пятилеток.

Так мне обидно, что не удалось побывать на вечере Константина Георгиевича в Доме печати. Ну да ладно! Приду к Паустовскому, когда напишу свой «Северный Кара-Бугаз» — документальную книгу о нашей Большой Реке и сибирском полярном море, о краях, которые Нансен до революции назвал «страной будущего». Книгу о стране настоящего, о большевиках, которые пошли дальше самой смелой мечты великого норвежца.

Ничего не буду придумывать, измышлять. Факты, только факты! Подлинные события, интереснейшие человеческие судьбы. Однако временами сомневаюсь: сумею ли?! Одно дело по-репортерски рассказать о том, что видишь вокруг, и совсем другое — пытаться «оживлять своим воображением тени минувшего» (тьфу! Фраза вышла какая-то до смешного старомодная!).

Паустовский описывает живших в прошлом веке путешественника Карелина и моряка Жеребцова так, будто сидел с ними за чайным столом. А мне, откровенно говоря, даже собственного отца трудно вообразить не таким, каким привык я видеть его каждый день.

Может быть, поможет старая фотография? На ней Егор Адрианович Багров в распахнутом бушлате и бескозырке на волнистой шевелюре — вылитый «братишка-балтиец» из очередной пьесы Вишневского. Смотрю на карточку и не верю: неужто батя и впрямь был когда-то таким? Сколько себя помню, привык всегда видеть отца в наглухо застегнутом кителе, всегда поражаюсь тщательности, с которой выбривает он виски и затылок на рано полысевшей своей голове. А глаза отцовы — зеленовато-серые, настороженно-зоркие под кустистыми рыжеватыми бровями — не могу представить себе иначе, как в лучах морщинок, под набрякшими веками.

Еще труднее будет мне описывать Юрия Андреевича Болховского. На кого похож этот русский морской офицер, исследователь Арктики, известный мне по страницам дореволюционного «Вестника путешествий», изда-

вавшегося еще до моего рождения? Может быть, на Седова — с бородкой клинышком, или на Брусилова, этакого морского гвардейца с нафабренными, победно торчащими усами? Впрочем, неважно, в конце концов, какова была внешность Ю. А. Болховского, если он сам говорит о своих делах и думах. Включу-ка я в книгу его дневник. А к дневнику дам комментарии отца!

Однако это еще вопрос: согласится ли батя комментировать? Да и как вообще воспримет он мою находку? Думаю, должен быть доволен! «Молодец, — скажет, — Адриан, что в публичке три недели корпел, снял копию».

Жаль только, что эту копию, отпечатанную на машинке, из Москвы сам я захватить не успел. Везет ее теперь сюда, в Егоркино, старший мой брат Никита. Медленно везет! Прямо кажется мне порой, что не летит он, как положено авиатору, а на перекладных едет по Сибири.

По брату соскучился, сознаюсь! Вот его описать мне просто: такой же, как я, — скуластый, курносый, только без веснушек, без багровской рыжины. Смуглый, черноволосый, очень похожий на покойную мать. Про Никиту я, пожалуй, очерки осилил бы. Как он школьником модели строил, как в планеристы пошел... И какой рекорд в Коктебеле поставил, и как на параде в Тушине участвовал один раз.

Одним словом — «Мы с Никитой» — любит передразнивать Настя, старшая наша сестра. Мне скоро девятнадцать, Никите — двадцать второй, Насте — двадцать шестой! Разница в годах небольшая. И не в том дело, что у Насти университетский диплом метеоролога. А в том, что росла она поначалу отдельно от нас с братом. Мать Настина, Евдокия Ивановна, первая жена Егора Адриановича, умерла, едва успев родить дочку, когда муж служил матросом в царском флоте. В ту пору, когда познакомился я в Архангельске со старшей своей сестрой, звала ее бабушка «атаманшей» — коноводом всей ребятни на Поморской улице.

А нынче тут, в молодом городке Егоркине, Настасья вроде как «полпред» нашей багровской семьи — уже год зимует на метеостанции. Отец, хоть он и директор комбината Полярстрой, в Егоркине бывает лишь наездами;

правление у него в Новосибирске. Часто отца вызывают и в Москву.

Я с маленькой своей типографией перебрался в Егоркино недавно. Успел здесь выпустить всего восемь номеров газеты «Заполярный большевик».

А Никиту мы еще только ожидаем.

Сегодня, седьмого августа, прилетает экипаж Бруно Густавовича Таубе. Мой брат в экипаже второй пилот.

Настины каблучки застучали по дощатому тротуару под моим окном, когда мы с печатником Сеней уложили в стопу свежий тираж очередного номера газеты. Вбежав в редакционно-типографское помещение, сестра сразу же прочитала вслух броскую шапку на первой полосе: «Досрочная погрузка экспортного леса — вклад портовиков в валютный фонд страны». Потом, перевернув двухполоску, глянула на подпись под последней колонкой:

— Редколлегия? Хм... значит, Дюшенька, твой идейный вождь отныне предпочитает оставаться в тени?

— Да уж, видно, так, поскольку наборщик дважды переврал его фамилию в редакторской подписи: вместо Кочкина набрали Кучкин. Поправку дали — получилось Ночкин. Чертовщина полная.

— Итак, Адриан-первопечатник, — не унималась сестра, — по-прежнему пребываешь «под едигой»?

— А куда деваться? — вздохнул я.

Тут надо кое-что пояснить. Будучи в штате редакции и репортером, и правщиком, и секретарем, я, однако, не имел права подписывать многотиражку как редактор. Партийный комитет порта назначил редактором профсоюзного руководителя Трофима Никодимыча Кочкина. Подслеповатый, в железных очках, имевший весьма смутное понятие о русской грамоте, он неустанно поучал меня:

— Газета, как приводной ремень к массам, находится под едигой, — так выговаривал он слово «эгида», — руководства. Вот так, товарищ Багров Андреян, член ВЛКСМ. Таким путем...

Но поскольку, вычитывая газету, Трофим Никодимович даже свою собственную фамилию пропускал с опечатками, было решено заменить ее безопасной подписью — «редколлегия». Что же касается меня, то, полу-

чив за две опечатки два выговора — по комсомольской линии и по служебной, — я остался в прежней должности «прислуги за все».

Посочувствовав мне, Настя озабоченно взглянула на часы:

— Пойдем, Дюш, в гидропорт. По радиограмме ждут самолет к семнадцати ноль-ноль. Но зюйдовый ветер крепчает, попутный он для них, думаю, раньше прилетят. Как бы нам с тобой не опоздать.

— Смотри, Настасья Егоровна, — усмехнулся я, — дамам разрешается опаздывать на свидания. Но синоптикам нельзя ошибаться в прогнозах погоды.

Я намекал на частые визиты пилота Таубе на метеостанцию. В том, что он неравнодушен к Насте, не сомневался никто из друзей и родных. Но сама она не любила шуток на эту тему. И сейчас сказала только:

— Про Никиту ты забыл, Дюш. Я год его не видела.

В самом деле, если Таубе, регулярно летавший на Большерецкой авиалинии, появлялся в Егоркине каждую неделю, то Никита только поступил в его экипаж, совсем недавно перевелся из осоавиахимовской авиации в полярную.

Я навесил тяжеленный лабазный замок на дверь, и мы с сестрой пошли по дощатому тротуару, сырому, скользкому от недавнего заморозка, пересекая глубокие глинистые рытвины, исполосовавшие егоркинские улицы. Названия улиц говорили сами за себя: Брусничная, Ягельная, Медвежий Лог...

От редакции, расположенной, если так можно выразиться, в центральной части города, до площадки с деревянной постройкой, громко именуемой Егоркинским гидроаэропортом, километра два с половиной. Туда, к изгибу протоки, где под крутым берегом ошвартован громадный плот, шагало немало народу.

Самолеты с юга, из краевого центра, приходили не так уж часто, раза два в неделю, и каждый воздушный рейс был событием для местных жителей. Мы с Настей вскоре затерялись в пестрой разноликой толпе, среди ребят, одетых в деревенские армяки и в домотканые поневы, обутых в лапти и в какие-то немыслимые опорки, когда-то, видимо, считавшиеся сапогами, ботинками, валенками. В гомоне мальчишечьих и девчоночьих голосов слышалось и протяжное оканье, характерное для

волгарей, и южнорусский говор со свойственным ему придыханием, и самая настоящая украинская мова.

— Слушай, слушай, — сразу погрустнев, сказала сестра вполголоса. — И откуда только к нам сюда народ не привозят...

Настины слова напомнили мне то, о чем я избегал думать: Егоркино в низовьях Большой Реки не только «лесоэкспортный цех Сибири» и «валютная кладовая пятилеток», но еще и место переселения раскулаченных. Кроме энтузиастов, едущих сюда по зову гражданской совести, немало тут людей, сменивших место жительства не по своей воле.

Молча спустились мы с Настей под гору к ошвартованному меж двух огромных камней плоту, молча стали всматриваться в облачный горизонт. И раньше встречал я тут самолеты. Ожидал сначала появления черной точки, потом превращения точки в крестик, крестика — в птичку, птички — в увесистую двухмоторную «гидру». Наконец летающая лодка, коснувшись воды, поднимала за хвостом пенный шлейф. Всегда при этом я мысленно понукал пилотов: «Ну скорее, ребятушки, рулите, швартуйтесь к плоту, глушите моторы...»

А тут настолько задумался, ушел в себя, что не услышал нараставшего рева моторов, не заметил пенных бурунов приводнившейся машины. И только тишина, наступившая после швартовки, вернула меня к действительности. Началась высадка пассажиров. Люди выбирались на плот из кормового люка летающей лодки, их всех, видимо, одинаково вымотала полусуточная болтанка над тайгой, над горами, над речными плесами. Вслед за пассажирами появились и члены экипажа. Первым шагнул к нам командир Бруно Густавович Таубе, белесый, худой, жилистый, весь будто вырубленный из корневища северной сосны. Не снимая кожаных рукавиц, он протянул Насте огромный букет полевых цветов, подарок из теплых средних широт, молодцевато шаркнул каблуками огромных болотных сапог. Настя зарделась.

Следом за командиром появился на плоту румяный, со множеством добрых стариковских морщин на круглой физиономии бортмеханик Кузьма Дорофеевич Пузанков, которого все в Полярстрое почтительно именовали «папой Кузей», а товарищи по экипажу — «механер-аншефом». За ним вышел штурман-радист Лева Ба-

лабан, толстогубый брюнет с косо подбритыми бачками. И наконец увидели мы Никиту в открытом синем френче и белой рубашке с галстуком — форма парадная! Настю и меня он сразу сгреб в объятия. Сияя, извлек из кармана свернутую в трубку тетрадь.

— Ну, знаешь, Дюш, сенсация. Читается как роман. Любопытнейшая личность — этот старший лейтенант Болховской. Но что самое замечательное: про себя он пишет, пожалуй, меньше, чем про нашего отца. А отец-то каков, а? За всю жизнь не обмолвился об этой истории, хоть и не прочь иной раз вспомнить молодость.

— Погоди, Кит, — перебил я брата, — отец сегодня разговорится, как только увидит дневник Болховского.

— Что ж, посмотрим, — кивнул Никита.

Тем временем из-за облаков проглянуло солнце. И мы все зашагали к бревенчатому дому с разлапистым сибирским кедром перед входом, где размещалось управление морского и речного порта. Впереди Настя и Бруно Густавович. Она прижимала к себе букет, Таубе поддерживал спутницу за локоток, чтобы, не дай бог, не оступилась на влажном от дождя, в крупных щелях, дощатом тротуаре.

— Воспитанный человек мой командир, — заметил вполголоса Никита, произнеся фразу так, что нельзя было понять, то ли посмеивается он над галантностью Таубе, то ли завидует ему.

Я расспрашивал брата, как приняли его в экипаже Таубе, как служится на Севере после Тушина и Коктебеля. Мы уже подходили к большому дому, когда услышали радостный возглас:

— Заждались вас с обедом, ох, заждались!

Голос раздавался сверху. Из окна второго этажа выглядывала Виктория Павловна, причесанная, как всегда, гладко, на прямой пробор, но одетая не в обычное строгое платье, а в яркую блузку-безрукавку с большим декольте. Виктория Павловна Белоручева, секретарь правления комбината Полярстрой, по профессии переводчица и стенографистка, по семейному положению — супруга директора Егора Адриановича Багрова.

Третья жена отца. Возможно, наверное, потому, что вошла она в нашу семью, когда мы, все трое, уже под-

росли и жили отдельно — отец работал в Мурманске, мы росли у бабушки в Архангельске, — Виктория Павловна держалась с нами как старшая подруга, каждому придумывала забавные прозвища в соответствии с его характером и занятиями. Настю звала то «Марией Склодовской», то «Софьей Ковалевской», Никиту то «Линдбергом», то «Чухновским», меня то «Михаилом Кольцовым», то «Бабелем из Егоркина».

Мы поднялись на второй этаж, и я не узнал просторную, самую большую в этом доме комнату, в которой обычно работал отец и где с утра до ночи толкались диспетчеры, стивидоры, капитаны иностранных лесовозов. Два грубо сколоченных конторских стола, сдвинутые вместе, накрытые новенькой льняной скатертью, преобразились в нарядный банкетный стол. В графинах, сверкающих в лучах нежаркого августовского солнца, были прозрачный, как слеза, спирт, разведенный в соответствии с обычаями «по широте», и какой-то особенный, ранее не виданный мною золотистого цвета напиток. На блюдах — разнообразная снедь, такая, какой нет и в помине ни в столовых, портовской и заводской, ни на полках магазинов и лавок.

Рядом с хозяином дома Егором Адриановичем на диване сидел человек в клетчатом спортивном костюме и ослепительной белой рубашке, с галстуком, заколотым жемчужной булавкой. Джентльмен, безукоризненно выбритый, благоухающий парфюмерными ароматами. Мне даже захотелось сострить, что, мол, привезли его сюда прямо из Лондона в судовом холодильнике, столь он был свеж и элегантен, а потом сразу подали к столу как самое деликатесное блюдо.

Виктория Павловна чуть толкнула меня: «Перестань пялиться, как дикарь», — и тут же перевела слова отца, обращенные к гостю:

— Рад представить вам, мистер Меттерс, своих детей. Дочь Анастасия — синоптик Егоркинской метеостанции, сын Никита — пилот, сын Адриан — журналист, сотрудник газеты «Заполярный большевик».

Столь же церемонно произошло знакомство англичанина и с тремя авиаторами — Таубе, Пузанковым, Балабаном. Англичанин всем поклонился, пожал руки. Но за обедом больше всего внимания уделил, как это ни странно, мне.

— Мы с вами в известной степени коллеги, мой юный друг. Я тоже пишу в газетах, возможно, вас заинтересует.

Меттерс протянул мне сложенную вдвое «Дейли мейл». Обычный 16-страничный выпуск этой солидной газеты показался мне объемистым, как журнал, по сравнению с тощеньким двухполосным «Заполярным большевиком» на серой невзрачной бумаге. Развернув газету, не очень надеясь на свои познания в английском, я с надеждой взглянул на Викторию Павловну. Но она решила устроить экзамен: заставила и статью Меттерса отыскать, и переводить ее мне самому вслух, строчка за строчкой.

Статья Джеймса Н. Меттерса называлась «Сибирь вышла к океану. Сибирская Большая Река течет теперь в Европу и Америку». Англичанин писал о том, что, создав в Егоркине порт и организовав коммерческое судоходство в полярных морях, Советская Россия приблизила свои арктические окраины к мировым торговым путям. И еще о том, что автор статьи, отправляясь в Егоркино на очередном лесовозе из Саутгемптона, гордится своей причастностью к новому прогрессивному шагу в мореплавании и международной торговле.

Когда я закончил перевод, все оказались довольны: и мистер Меттерс как автор, и отец как директор Полярстроя, и Виктория Павловна как моя наставница в английском. Неважно чувствовал себя только сам переводчик. Понимал я, что очень уж далеко от лондонского мое произношение.

Словоохотливый мистер, опорожнив не одну рюмку, выразил желание поделиться и личными своими впечатлениями о Егоркине на страницах «Заполярного большевика». Я, улыбаясь, вынул блокнот и карандаш. Но внезапно наше чинное интервью нарушил раздраженный возглас.

— Ерунда! — крикнула Настя, до той поры говорившая вполголоса с Таубе, следившая за тем, чтобы пилот не только пил, но и закусывал. Сестренка моя раскраснелась, веснушки на тонком носу ее покрылись испариной, светло-зеленые глаза стали влажными. Такой рассерженной, по-девчоночьи обиженной я редко видел Настю.

— Ерунда все ваши интервью.

Все почувствовали себя неловко. Англичанин завертел худой шеей в тесном воротничке. У Виктории Павловны пошли по лицу малиновые пятна. Никита побледнел. Пузанков и Балабан многозначительно переглянулись. Таубе как-то осторожно отложил в сторону вилку. Только один Егор Адрианович сделал вид, что ничего особенного не произошло. Он налил всем гостям по рюмке и, сочувственно кивнув в Настину сторону, предложил тост за ее здоровье:

— Нервы, Настасья Егоровна, пошаливают у тебя, видно, переутомилась на службе. Да и впрямь — одной, без сменщика, нелегко нести метеовахты. Ну потерпи еще, пришлют скоро тебе двух помощников, обещали мне в Москве, в Гидрометео.

Все это он попросил Викторию Павловну перевести для английского гостя слово в слово.

Настя свою рюмку лишь пригубила. Кивком головы поблагодарила отца и встала со своего места:

— Папа, как всегда, прав. Мне надо отдохнуть. Надеюсь, меня не осудят, если я уйду сейчас... Прошу прощения. — И вышла из-за стола.

Следом за ней поднялся Таубе.

Дальше все пошло своим чередом. Мы принялись за ароматную уху, изготовленную по какому-то особому рецепту Егора Адриановича.

— На Северной Двине, Пинеге такую варили, — сказал он, видимо вспомнив, как мальчишкой работал на сплаве.

Речь зашла об экспорте леса по Белому морю.

Егор Адрианович заговорил с англичанином о судоходстве в Белом море. Мне понравилось, что гость из Лондона знаком с историей мореплавания в тех краях. Мистер Меттерс вспомнил елизаветинские времена, сэра Хью Виллоби, первый вояж англичан в Московию, посольство Ричарда Ченслера к Ивану Грозному. Пошутил, что сам он, Меттерс, на «открытие советской Сибири», конечно, не претендует, Колумбом себя не считает. Но быть «современным Ченслером» для него лестно, если, конечно, «достопочтенный сэр Джордж» — он лукаво посмотрел на Егора Адриановича — согласится быть «современным царем Иваном», поскольку «держава» его, сиречь концерн Полярстрой, по территории и богатствам не уступает, пожалуй, Московской Руси.

Отец, рассмеявшись, ответил, что таким сравнением весьма польщен, хотя для того, чтобы походить на Ивана Васильевича, недостает ему ни бороды, ни семейного положения. Жен у грозного царя было, как известно семь, а у него, Егора Багрова, крестьянского сына, всего только три. Перевод этой фразы Виктория Павловна произнесла без улыбки, суховатой скороговоркой.

Англичанин снова попросил слова и, улыбаясь, начал расспрашивать Викторию Павловну, верно ли, что «город Егоркино» следует переводить на английский как «Джорджтаун», что если это так, то очень, мол, справедливо, поскольку является признанием выдающихся заслуг мистера Джорджа Эдриена Багроу.

Отец смутился:

— Что вы, сэр, нынешний директор, ей-богу, такой чести не заслуживает, а вот боцман Егор, который еще до мировой войны поселился в здешнем промысловом зимовье, мужик был стоящий, хоть насчет грамоты и не очень сильный.

Тут и я вступил в разговор:

— Разреши, папа, поделиться некоторыми историческими сведениями о Егоркином зимовье.

— Давай, первопечатник, давай, тебе, что называется, и карты в руки.

К тому времени обед заканчивался, Виктория Павловна принесла кофе. В комнате стало жарковато, кто-то открыл дверь на тесный дощатый балкон. Англичанин, попросив у Виктории Павловны разрешения, снял свой клетчатый пиджак. Отец, расстегнув верхние пуговицы на кителе, показал полосатую тельняшку, чем сразу напомнил мне свою фотографию дореволюционных времен, хранимую в семейном альбоме.

— Приглашаю присутствующих вернуться на двадцать один год назад, — начал я волнуясь, — страницы, которые будут прочитаны вам, увидели свет еще до мировой войны, но мною были обнаружены совсем недавно в московской библиотеке.

Раскрыв толстую тетрадь, которую привез Никита, — перепечатку из «Вестника путешествий», — я огласил заголовок — «На вельботе в полярных льдах. Выдержки из дневника старшего лейтенанта Ю. А. Болховского» — и затем, перелистав страницы, прочитал на последней один из заключительных абзацев:

— «С благодарностью вспоминая своих мужественных спутников, я должен поставить среди них на первое место боцмана Егора Адриановича Багрова. Будучи по штатному расписанию всего лишь старшим из нижних чинов палубной команды на гидрографическом судне «Восход», он, по существу, являл собой ближайшего моего помощника и советника. В тяжком и рискованном странствии по торосистому льду, а также на шлюпке, под парусом и на веслах, среди дрейфующих льдин судьба связала нас узами братской дружбы...»

Отложив тетрадь, я посмотрел на слушателей. Никита улыбался. На лице англичанина застыла вежливая мина внимательного равнодушия. Фамилия Болховского, еще одна русская фамилия, до сей поры неизвестная, ничего не говорила заграничному гостю.

А вот переводчица наша, всегда прежде невозмутимая Виктория Павловна, выглядела теперь взволнованной.

— Послушай, Егор Адрианов, — обратилась она к мужу в своем обычном тоне фамильярной почтительности, — в твоей биографии есть, оказывается, нераскрытые тайны, а?

— Несть бо тайное, что не стало бы явным, — нарочито дьяконовским басом ответил отец, — я, Павловна, хоть и безбожник, но писание помню по церковноприходской школе.

Все в тоне Егора Адриановича было обычным, но по торопливости, с которой он выколотил золу из потухшей трубки и снова набил ее табаком, я понял, что он волнуется.

— В самом деле, нехорошо скрытничать перед близкими, — упрекала мужа Виктория Павловна, — среди московских, ленинградских наших друзей, в Академии наук, в Госплане, да и тут, в Сибири, в крайкоме, скажем, никто не знает, что видный деятель Севера коммунист Багров еще до революции участвовал в исследованиях Арктики.

— Да, папа, — поддержал ее Никита, — странно как-то, что все мы до сих пор так мало знаем о твоей молодости. И об этом Болховском, с которым ты вместе плавал, тоже интересно бы узнать.

Весь окутанный табачным дымом, Егор Адрианович ответил, резко взмахнув трубкой:

— Перво-наперво, призываю слушателей к спокойствию. А теперь на вопросы по существу. Итак, старший лейтенант Болховской Юрий Андреевич. Человек он был, несомненно, замечательный: смел, умен, образован. И собою хорош... И честен... Но это уж в пределах своих дворянских понятий. Как полярный моряк и гидрограф Болховской, несомненно, внес вклад в освоение Арктики. Некоторыми картами его пользуются наши капитаны до сих пор.

— Ну а дальнейшая судьба его какова? — спросил я. — Ты знаешь, пап?

— Знаю, — произнес отец после долгой паузы, — германскую окончил Болховской каперангом, с офицерским «георгием». На гражданской погиб. В белой армии...

И тяжело вздохнул.

— Так вот оно что, — разочарованно вырвалось у меня, — потому и не хотел ты, папа, чтобы твое имя где-то упоминалось рядом с именем Болховского?

— Нет! Чушь все это, — отмахнулся отец, — то, что сделано человеком для общего блага, никто у него отобрать не в силах... К вашему сведению, это по моей инициативе на некоторые карты нанесена одна точка к северо-западу от архипелага Ледяная Земля, нанесена как предполагаемый «остров Болховского». Юрий Андреевич высказал гипотезу, что там должен быть остров.

— Почему же до сих пор не проверили, есть остров или нет? — нетерпеливо спросил Никита.

— А потому, уважаемый, что больно это далеко, а кораблей и для ближних плаваний не хватает.

— Самолет послать разве нельзя? — не унимался Никита.

— Будет возможность — пошлем, а пока не к спеху нам географические открытия. Лес надо за границу возить, валюту зарабатывать. Авиации мало, сам знаешь, и на разведке льдов еле справляемся.

Никита примолк. Теперь атаковала отца Виктория Павловна:

— Как хочешь, Егор Адрианов, понять тебя трудно. Болховской принадлежит прошлому, мир его праху, как говорится. Но ты, ты, уважаемый в стране деятель Севера, почему ты не хочешь о себе рассказать? Как это поучительно было бы для молодежи.

— Ладно тебе, голубушка. — Выколотив трубку в пепельницу, отец мягко опустил тяжелый кулак на стол.

По тому, что отец назвал жену не «Павловной», как обычно, а со сдержанной укоризной произнес «голубушка», нетрудно было уловить его недовольство ходом застольной беседы. Неловко получалось перед заграничным гостем — забыли все о нем начисто. По праву хозяина Егор Адрианович круто повернул разговор:

— Нас с мистером Меттерсом, как людей деловых, больше интересуют сегодняшние события. — И он заговорил о фрахтовых ставках на иностранный тоннаж для экспорта сибирского леса. — Дороговато запрашивают господа арматоры. Пусть знают они, что советские экспортеры скоро будут располагать собственным тоннажем.

— Интересно, каким образом. — Меттерс недоверчиво улыбнулся.

— Могу удовлетворить ваше любопытство, сэр. — Багров назвал датские и голландские судостроительные фирмы, выполнявшие заказы Совторгфлота и Полярстроя к навигации будущего года.

Кофе тем временем допили. Поболтав еще с полчаса, гость приложился к ручке Виктории Павловны и откланялся. Мистеру Меттерсу необходимо было пойти на причал, где заканчивалась погрузка леса. Егор Адрианович вместе с супругой пошел проводить его. С балкона мы с Никитой видели, как спускались они к причалу по многоступенчатой лестнице, как зашагали по пристанскому настилу, их обгоняли мчащиеся автолесовозы, подвозящие доски к морским судам.

Пузанков с Балабаном отправились ночевать в общежитие гидроаэропорта, пошутив в адрес запропастившегося своего командира:

— Не иначе прогноз на завтрашний полет разрабатывает вместе с Настасьей Егоровной.

Слушая болтовню товарищей, Никита молча хмурился. Но едва за ними закрылась дверь, спросил меня:

— Скажи, Дюш, Густавыч давно за Настей ходит?

— Это уж ты у него спроси, он твой командир...

— А Настя нам обоим разве не сестра? — В тоне брата зазвучали вдруг тревога, обида, мне решительно непонятные.

— Старшая сестра, — рассердился я, — и вовсе не нуждается в опеке.

Никита, взглянув в окно, сказал:

— Идут, проводили гостя. Вид у обоих озабоченный, не иначе обсуждали Настину выходку за столом.

Никита не ошибся. Едва перешагнув порог, отец обратился к нам:

— Я про что толкую, парни, не в себе Настёнка наша, надо ей как-то помочь.

— Странный вы народ, мужчины, — пожала плечами Виктория Павловна. — Насте просто пора замуж.

— Пора, — согласился отец и произнес следующую фразу столь категорично, уверенно, что меня даже покоробило, будто не о судьбе дочери речь идет, а об очередном служебном перемещении работников Полярстроя: — Не сегодня-завтра выйдет Настенка за Густавыча.

Помолчав с минуту, отец озабоченно обратился ко мне:

— Ну-ка расскажи, Адриан, о чем она с тобой разговаривала в последние дни, что ее особенно огорчало?

— Господи, Егор, ты совсем не знаешь своей дочери. Настя наивная девочка, — вздохнула Виктория Павловна, — сколько еще разочарований ждет ее в жизни!

— Разочарований? — строго переспросил Егор Адрианович. — В чем же, ты думаешь, уже разочаровалась моя дочь?

— Не так сказала, извини... — Виктория Павловна шутливо изобразила раскаяние. — Пусть это будут утраченные иллюзии, совсем по Бальзаку.

Никита вдруг вскипел:

— Никакие Бальзаки тут ни при чем. Понять Настю нетрудно. Противно ей икру есть на чистой скатерти, с буржуем заграничным любезничать, когда рядом русские люди живут впроголодь. Знаю, переходный период, классовые враги...

— Вот именно, — тоном наставницы перебила Виктория Павловна, — выкорчевываем корни капитализма.

Никита глянул на отца. Егор Адрианович обнял его за плечи, с насмешливой улыбкой повернулся к жене.

— Корни, ветви... Будто не о людях говорим — о дремучем лесе. В Егоркине бревнами улицы мостят. Так

и людям счет потерять недолго. Однако нельзя терять. Нельзя! — Подойдя к двери на балкон, отец плотно притворил ее: — Прохладно становится к ночи. Суров климат, куда денешься. И не только в Заполярье... Понимаете? Климат времени...

Он старательно раскуривал погасшую трубку, глядя на реку, стеклянно мерцающую в безветрии, бронзовую в ночном закате.

— Профессора наши, Настины учителя, предсказывают потепление Арктики. Не знаю, не убежден. Но климат социальный должен смягчиться. Ради этого живем, трудимся.



ГЛАВА 3

НА ВЕЛЬБОТЕ В ПОЛЯРНЫХ ЛЬДАХ

Из дневников старшего лейтенанта Ю. А. Болховского. Опубликовано в «Вестнике путешествий» за 1912 год

Предисловие «Вестника» к записям Ю. А. Болховского.

«Имя Юрия Андреевича Болховского достаточно известно в кругах исследователей Крайнего Севера. Любезно предоставленные им для публикации выдержки из путевых записей охватывают наиболее интересные периоды весьма трудного географического предприятия, осуществленного в 1910—1911 годах, явившегося серьезным вкладом в изучение полярного моря».

* * *

19 сентября 1910 года. Сегодня, едва стемнело, вахтенный боцманмат Медников, войдя в кают-компанию, доложил мне: «Впереди виден огонь». Теряясь в догадках, откуда быть кораблю в здешних пустынных местах,

я тотчас поднялся на мостик, взял бинокль и вскоре убедился в ошибке вахтенного: над самым горизонтом за полосой тумана пурпурным огнем пылала Венера.

Нет, наивна и глупа в конечном итоге моя надежда встретить здесь какое-либо судно, пополнить из его бункеров скудные запасы топлива на нашем «Восходе», чтобы затем иметь возможность до наступления зимы вернуться в Архангельск. Нынешняя навигация в Арктике для нас, увы, закончена; остается только одно: идти к сибирскому берегу, подниматься вверх по Большой Реке, зимовать в известной нам Кривой протоке.

22 сентября. Вышли в устье Большой Реки. До зимовья на Кривой протоке хода еще суток двое.

Наедине с этой тетрадью пытаюсь подвести итоги пережитого за последнюю неделю, столь радостную и вместе с тем печальную для меня. Радуюсь тому, что «Восход» благополучно вырвался из ледового плена, что сейчас всюду вокруг, куда ни глянь, чистая вода. И печалюсь, думая о судьбе коллег и подчиненных, с которыми расстался, — нет, правильнее будет сказать — которых оставил зимовать на островах. Отныне астроном-геодезист Е. Ф. Крюгер, доктор С. Н. Приклонский, боцман Е. А. Багров, матросы Т. Поликарпов и Ф. Галиенко — первые жители архипелага, до сей поры не только необитаемого, но и даже не положенного на карту.

Справедливо наречена сия суша Ледяной Землей. В изобилии представлены там глетчеры, коими одеты возвышенности. Да и подходы к островам постоянно преграждают дрейфующие льды. Спутники мои остались там — сроком на год — зимовать для геодезических работ. Остались добровольно. Разве скажешь лучше, чем ответил на мое предложение милейший, обаятельнейший Евгений Фридрихович Крюгер, присяжный философ в кают-компании «Восхода»:

— Свобода, Юрий Андреевич, есть осознанная необходимость. И я в своем выборе свободен, ибо сознаю крайнюю необходимость положить на карту Ледяную Землю.

Егор Адрианович Багров высказался лаконичнее, но в том же духе:

— Неохота, ваше благородие, а надо. Так что остаюсь.

Обнял я их обоих. И подумал: хорошее сочетание. Магистр Дерптского университета и коренной помор. Правда, Евгению Фридриховичу при всем его разностороннем образовании и ученых талантах не хватает полярного опыта; да и здоровьем он, что греха таить, не богатырь. Зато уж Багров, уроженец Сумского посада, еще в юности до военной службы промышлявший тюленей на Белом море, будет на зимовке как рыба в воде. Знаю: и собачью упряжку через любые торосы он проведет, и по медведю не промахнется. Нет, не ошибся я в свое время в Либаве, когда из всей команды учебного корабля «Принц Ольденбургский» именно его, боцманмата Багрова, выбрал себе боцманом на шхуну «Восход». Рачительным хозяином шкиперского имущества показал себя Егор Адрианович и в снаряжении экспедиции, и в самом вояже, продолжающемся вот уже второй год. Большего порядка на палубе, лучшей выучки матросов я, командир, от боцмана требовать не могу.

Будь у нас такой же порядок в машине, не сожгли бы мы лишний уголь, пробиваясь к Ледяной Земле, не создалась бы для «Восхода» опасность надолго застрять в дрейфе, не возникла бы настоятельная нужда высаживать на острове береговую партию для годичной зимовки.

Да, напрасно все-таки упрекают нас, моряков, в пристрастии к излишне энергичным выражениям. Только правила цензуры сдерживают меня теперь от эпитетов в адрес технического отдела Гидрографической службы. Если командование при деятельном участии Академии наук сумело подобрать людей для экспедиции (отношу это полностью и к гг. офицерам, и к статским — по ученой части, и к нижним чинам), то технический отдел показал себя крайне легкомысленным. Стара, изношена зверобойная шхуна «Восход», причисленная к военно-морскому ведомству, ставшая вверенным мне гидрографическим кораблем. Не «Восходом» именоваться бы этой посудине, а «Закатом». После годичного пребывания в экспедиции котел требует чистки, так как морская соль образовала слой накипи толщиной в несколько дюймов. Машина, разболтанная и прежде, была еще более повреждена качкой во время штормов и также нуждается в ремонте. О том своевременно предупредил меня наш механик поручик П. Б. Ястржембский. Заставляет же-

лать лучшего и состояние корпуса, особенно после того, как поврежден киль при посадке шхуны на подводные камни сначала форштевнем, а потом и ахтерштевнем. Причиной тому было отсутствие точных карт с промерами глубин, чего, впрочем, и следует ожидать в полярном море. Но сказалась, конечно, и слабость судового двигателя.

В итоге всех этих крайне огорчительных происшествий для меня стало несомненным, что кораблю наряду с пополнением бункера нужен еще и основательный ремонт. Уверен, что за предстоящую долгую зиму машинная команда справится с ремонтом своими силами. А вот с бункеровкой дело сложней. Чтобы подвезти уголь в низовья Большой Реки, пароходство торгового дома «Братья Кнаревы» уже затребовало от Гидрографической службы изрядную сумму. Деньги, думаю, уплачены. Но будет ли вовремя уголь? Не знаю, не уверен...

23 сентября. Перечитал вчерашние записи и подумал: зачем заглядывать вперед, будущее само все покажет. А пока возблагодарим Провидение за все блага природы, кои сегодня она столь щедро дарит нам. В иллюминатор каюты любуюсь чудесным алым солнцем, которое как бы вынырнуло из темных вод Большой Реки и медленно восходит над далеким, отсюда невидимым восточным ее берегом.

Поднявшись на мостик, замечаю, что ветер от зюйд-оста развел небольшую волну. Временами брызги достигают и мостика. Предвкушаю: скоро вокруг меня будет сухо и тепло. Сяду на широкую, тщательно выскобленную лавку спиной к пышущей жаром русской печи, лицом к ослепительно сверкающему самовару. Через стол напротив меня будет сидеть гостеприимный хозяин зимовья Яков Моисеевич Лозовацкий. Крепчайший чай нашенской морской заварки будет разливать нам его прелестная дочка Лика.

Искренне симпатизирую этой милой семье. Нередко думаю: как же все-таки удивительно складывается человеческая жизнь. Ну кто бы мог подумать, что бравый сибиряк с темно-русыми вислыми усами, похожий на репинского запорожца, то и дело пересыпающий характерную для аборигена скороговорку малопонятными мне оборотами северного диалекта, что этот человек принад-

лежит к одному из древнейших народов на Земле! Хорошо помню начало нашего знакомства с Лозовацкими минувшим летом, когда «Восход» впервые заходил в зимовье на Кривой протоке. Заметив мое удивление отсутствием икон в красном углу избы, хозяин сдержанно пояснил:

— Мы, господин офицер, своей веры держимся. Вероисповедание наше иудейское.

Позднее, когда мы разговорились по душам, узнал я от Якова Моисеевича, что его отец, виленский мещанин, шагал в сибирскую ссылку по этапу вместе со всем семейством. А семейство за это время увеличилось еще на одного ребенка. В Тюменской пересыльной тюрьме появился на свет сын Яков. Когда же прибыли Лозовацкие к месту постоянного поселения, мальчику исполнилось уже полтора года.

Очень понравилось мне, как Яков Моисеевич объяснил свое добровольное поселение за Полярным кругом:

— Тут, позвольте вам доложить, привольная жизнь. Чувствую себя тут равноправным гражданином, никому и ни в чем не обязанным.

Хорошо сказано — сразу виден характер! Прежде чем стать лоцманом и рыбаком, мой знакомый кем только не был. И мальчишкой-судомоем на пароходе, ходившем по золотым приискам, и матросом, и кочегаром, и масленщиком. Самоучкой выбился сначала в механики, потом в капитаны. Теперь, на пороге седьмого десятка, трудится он над судоходной картой и лоцией нижнего плеса Большой Реки. За двадцать лет, прожитых тут, в низовьях, Я. М. Лозовацкий промерил множество глубин. Памятны ему наизусть все изгибы фарватера, все капризы паводков, все особенности осенних ледоставов. Начнет рассказывать о приметах берегов — заслушаешься. И думаешь: вот бы такому самородку образование. Ведь чертить-то не умеет он, да и пишет с ошибками. Но все-таки хоть и сам небольшой грамотей, а дочку выучил читать по складам.

Девица эта, по имени-отчеству Лия Яковлевна, в просторечии Лика, личность тоже во многом примечательная. По внешности и повадкам ее сразу не отличишь от туземных женщин. Такая же темноглазая, скуластая, застенчивая. Но приглядишься — и видишь: нет, и цвет кожи не столь уж смугл, и нос отнюдь не приплюснутый, и разрез глаз удлиненный, и ресницы густые, длин-

ные. Скажет девушка слово, другое, и кажется тебе, что птица в тайге щебечет. Голосок такой звонкий, выговор такой милый, грассирующий.

Расспрашивать напрямик о родословной Лики я почел неуместным, но окольным путем разузнал, что покойная ее мать принадлежала к туземному племени ламутов, кочевых жителей приморской тундры. Слово «лама» на диалекте этих северных инородцев означает море. Ламуты-кочевники, как оленеводы, так и рыболовы, все водят дружбу с Лозовацким, а некоторые даже почитают усатого лоцмана своим родичем, чем немало гордятся.

Сведения эти, полагаю, заслуживают занесения в путевой дневник вот почему. Не говоря о том, что Лозовацкие сами по себе люди примечательные, внимание и заботы этой дружной семьи помогли мне минувшим летом снарядить «Восход» в плавание на Ледяную Землю. Это во-первых. А во-вторых, не сомневаюсь, что в предстоящую зиму, когда будем готовить корабль к продолжению экспедиции, дружеские отношения моряков-гидрографов с аборигенами Крайнего Севера еще больше упрочатся.

24 сентября. Русло Большой Реки заметно сузилось. Уже с обоих бортов хорошо просматриваются низменные берега — тундра, местами переходящая в таежное мелколесье. Стоит абсолютное безветрие, необычное для этого времени года. Безоблачно. Желтоватые пресные воды выглядят под солнечными лучами, как давно не мытое стекло. Гляжу за борт и думаю о далеком пути, который проходит все это изобилие влаги от высочайших гор Центральной Азии через зоны степи и тайги к зоне тундры, к Ледовитому полярному морю. И сколь безлюдна Большая Река именно тут, в низовье! Только изредка мелькнет где-нибудь вдали рыбацкий кунгас. Осенняя путина заканчивается. Туземцы собирают свои сети, готовясь к отплытию вверх с последним пароходом.

Какие-то вести привезет нам этот посланец цивилизованных краев? Получим ли мы если не самый уголь, то хотя бы обязательство о подвозе его сюда будущей весной? Тогда «Восход» сможет после зимнего ремонта снова выйти в море и, сняв с островов Ледяной Земли зимующую там партию, завершить программу нашей экспедиции.

Мне так не терпится узнать о пароходе, что, завидев на берегу Кривой протоки рослую фигуру Я. М. Лозовацкого, я с мостика кричу ему: «А где же «Геркулес»?» (Так зовется пароход, ожидаемый нами с верховьев.) И вижу, как в ответ лоцман безнадежно машет рукой.

Отдали якоря. Швартуемся к приглубокому берегу.

25 сентября. «Геркулес», оказывается, уже побывал в Кривой протоке. Затем ушел собирать в караван рыбачьи баржи и вскоре должен отправиться прямым рейсом вверх. Ожидается ранний ледостав.

Запечатанный конверт, врученный капитаном «Геркулеса» Лозовацкому для передачи мне, содержит вести отнюдь не радостные. Привожу полностью текст письма, полученного от правления судоходного товарищества «Братья Кнаревы».

«Санкт-Петербург, Главное Гидрографическое управление.

Копия: Гидрографический корабль «Восход»
старшему лейтенанту Ю. А. Болховскому.

Милостивые государи!

Честь имею уведомить Вас, что наша фирма, поддерживающая регулярное почтово-пассажирское сообщение по Большой Реке, а также экспедиционные рейсы в рыбачьи становища нижнего плеса, располагает, к глубокому прискорбию, весьма ограниченными ресурсами как в области тяги, так и в области тоннажа. А посему приносим извинения и отказываемся от данного ранее согласия завезти уголь в Кривую протоку к началу навигации будущего 1911 года.

С совершенным почтением
коммерческий директор
Арсений Кнарев-младший».

Как обухом по голове! Вот и надейся на господ коммерсантов, вот и верь их патриотическим обещаниям споспешествовать по мере сил изучению Севера для блага Российского флота. Все планы, ранее мною продуманные, перечеркнуты единым взмахом пера... С каким настроением возьмется команда «Восхода» зимой за ремонт, если будет знать о невозможности возобновить в будущем году экспедиционное плавание? И какая судьба ожидает отряд Крюгера, оставленный на Ледяной Земле? Кто снимет смельчаков с островов, чем отплатим

мы мужественным нашим товарищам за их тяжкий труд? Страшно подумать...

29 сентября. Перечитывая письмо Кнарева, не нахожу себе места от сознания, что мы брошены на произвол судьбы. В столь критическом положении мне, офицеру, военному моряку, не случалось быть даже на войне с японцами, когда по долгу службы я, в ту пору еще мичман, заменил в бою командира миноносца лейтенанта Кривошеина, убитого на мостике. Хоть и молод я был тогда и недостаточно опытен, но знал, не сомневался: помнят о нас в штабе минной дивизии, выручит нас флагман. И не ошибся!

А теперь, увы, нет у меня уверенности ни в чем. Петербург бесконечно далек, куда дальше, чем был когда-то Порт-Артур. Снестись со столицей по телеграфу возможно только из губернского города. Туда я уже не успею попасть до ледостава на Большой Реке. Значит, добираться придется по зимнему сухопутью, сначала оленями, потом с ямщиками на перекладных.

Да и что даст телеграфная переписка с Главным Гидрографическим управлением? Нет, ехать в Петербург для доклада надо самолично. Ехать с готовой программой действий на будущий год!

7 октября. На Большой Реке ледостав. Оставляя «Восход» на зимовку в Кривой протоке и препоручая начальствование над ремонтом поручику корпуса инженер-механиков Павлу Брониславовичу Ястржембскому, отправляюсь в Санкт-Петербург.

Проект мой вкратце готов: на основе опыта арктических исследований останавливаюсь на двух средствах передвижения без корабля: 1. Шлюпка, идущая под парусами и греблею, приспособленная также и к перетягиванию волоком на полозьях. 2. Нарты, запряженные собаками.

Пользуясь этими средствами, рассчитываю: вначале санным путем достигнуть материкового побережья, пункта, наиболее близкого к Ледяной Земле, и оттуда уже выйти в плавание к самому архипелагу.

* * *

В данной журнальной публикации полагаю излишним давать дневниковые мои записи, прямо к экспедиционным работам не относящиеся. Поэтому исключаю все хронологически связанное с поездкой в Петербург и возвращением на Кривую протоку — события и происшествия, занявшие в общей сложности около пяти месяцев. Дальнейшее начинаю датировать с весны 1911 года — возвращения моего к месту зимовки «Восхода». Скажу только, что к моему проекту в Главном Гидрографическом управлении отнеслись поначалу весьма скептически. Однако, как справедливо заметил его превосходительство Ипполит Анатольевич, генерал-майор корпуса гидрографов, «за неимением гербовой, пишем на простой...». Иных плавучих средств, способных в кратковременный период полярной навигации достигнуть от сибирского побережья архипелага Ледяная Земля, кроме вельбота, у нашего ведомства не оказалось. А коли так, быть посему: возвращаться старшему лейтенанту Болховскому в низовье Большой Реки, снаряжать означенный вельбот к санному пути и последующему ледовому плаванию.

* * *

2 марта 1911 года. Кривая протока, гостеприимное зимовье Я. М. Лозовацкого.

Не скажу, чтобы особенно радовал меня вид корабля, коим командую вот уже скоро два года, с того дня, как принял его в Ревеле. В тесном затоне, плотно вмерзший в трехаршинный лед, стоит наш «Восход», всем своим видом как бы утверждая: далеко от моря, очень далеко.

Но тут же рядом, на речном льду, расчищенном от сугробов, кипит работа. Матросы во главе с корабельным плотником Евстигнеем Сырцовым конопатят, смолят вельбот, изготавливают дополнительные весла, шьют паруса, проверяют такелаж. Сырцов хоть и мастер своего дела, но нередко обращается за советами к Лозовацкому и соседям его, большерецким рыбакам. К слову пришлось, напомню, что и я еще минувшей осенью, размышляя над будущим докладом начальству, о многом расспрашивал почтенного лоцмана. Только после бесед

с ним созрело у меня окончательное решение разбить наше нелегкое предприятие на два этапа: санный — по зимнему пути и морской — на вельботе. Выгода во времени тут очевидная. Не будем сидеть сложа руки, ожидая, пока вскроется Большая Река. Это во-первых. А во-вторых, что особенно важно для такого утлого суденышка, как вельбот, протяженность плавания будет наименьшей, поскольку начнем мы вояж уже летним временем, когда растает морской береговой припай и в открытом море появится больше разводий. Не скрою, много полезного почерпнул я, морской офицер, штурман и гидрограф, от речного лоцмана-самоучки, в жизни не плававшего дальше большерецкого устья.

Помог нам Яков Моисеевич, как и некоторые его туземные сородичи, в приобретении хороших ездовых собак для упряжек. А хозяйская дочка Лика вместе с ламутскими женщинами потрудилась над шитьем меховой одежды и обуви. Малицы, совики, торбаса из оленьего и собачьего меха получились на славу — теплые, легкие. Заботливо, с большим пониманием предстоящих нам условий подготовлены запасы провизии и корма для собак. Одних только мороженых пельменей припасено 25 мешков. Мороженой рыбы и оленины — два десятка пудов.

Не могу не отметить той почтительной благодарности, с которой относятся к дочери Якова Моисеевича все моряки «Восхода». Ласково зовут ее «нашей барышней, хозяюшкой». А сама она, милая простушка, заливается смуглым румянцем, смущенная единодушным обожанием столь обширного, никогда ею не виданного прежде мужского общества.

6 мая. К этой записи приступаю в начале второй недели санного пути. Все прежние мои подобные путешествия, в том числе и последняя зимняя поездка на оленях и лошадях за две тысячи триста верст от низовьев Большой Реки до Транссибирской магистрали, вспоминаются теперь как легкие прогулки. Такого каравана, как наш нынешний, не видели и местные аборигены. На двух нартах погружен вельбот весом более 40 пудов. На остальных восьми упряжках — палатки, съестные припасы, оружие, лыжи. Всего в караване 158 собак. Порой только дивлюсь расторопности и находчивости каюров-ламутов — как управляются они с мохнатой и

шумной ватагой четвероногих своих подопечных. На стоянках успевают и вовремя накормить их, и запас корма пополнить, добывая диких оленей.

На охотничьем промысле проявляют себя и моряки «Восхода», отобранные мной по собственной их просьбе в команду вельбота. Боцманмат Т. Медников, матросы Е. Ведерников, А. Якимчук, П. Хромченко, Т. Сумера, З. Гурьев, Г. Ивашкевич, которых я знаю как отличных, выносливых гребцов и быстроногих лыжников, зарекомендовали себя также первоклассными стрелками. В последнем все они заметно преуспели за зиму, охотясь в окрестностях Кривой протоки, пока я отсутствовал.

18 мая. Солнце уже не заходит. Небо, прежде безоблачное, затянуто теперь низкими кучевыми облаками. Морозы, державшиеся в последнюю неделю, сменились бурной оттепелью. Наступило таяние снегов — «распаление», как выражается матрос Гурьев, астраханец родом. В тундреных речках, устье которых мы иногда пересекаем, заметно истончается ледяной покров. Кое-где у берегов образуются водяные забереги. Все это вынуждает наш караван двигаться медленнее, чаще делать остановки.

3 июня. Миновали устье Большой Реки. Идем курсом норд-ост то прибрежной тундрой, то по береговому припаю — морскому льду. Все больше и больше встречается нам торосов, обходить которые удается не всегда, а преодолевать просто невозможно, учитывая тяжесть нарт, на которые погружен вельбот. Временами посылаю вперед матросов с топорами, кирками, ломами. Сажень за саженью прорубают они проходы в торосах. Все чаще собаки выбиваются из сил, измученными ложатся на снег, лижут кровоточащие лапы. Тогда в лямки впрягаются люди.

17 июня. Позади мыс Мамонтовый. Отсюда и Кривая протока, и большерецкое устье воспринимаются нами как далекий юг. Но полярное лето начинает чувствоваться и здесь. Торосы оттаивают, оседают. Снежная вода образует целые озера на толстом, еще саженном, морском льду. Все чаще встречаются ручьи в высоких, непрестанно обновляющихся снежных берегах. Кое-где они стекают к трещинам в морском льду. Трещины рас-

ходятся, образуя полыньи. Все чаще дожди, туманы; случаются и снегопады.

Наблюдая своих спутников, дивлюсь, как хватает у них сил, выдержки. В леденеющей на ветру одежде идут они, то обливаясь потом, то дрожа от холода. И восхищаюсь выносливостью русского человека. Не уступят мои матросы ни новгородским ушкуйникам, ни спутникам Семена Челюскина, Василия Прончищева, Витуса Беринга, прославившим Российский флот и отечественную науку. Потом начинаю мысленно сравнивать те давние времена с нашим временем и думаю: сколь ни тягостен наш поход, но для XX века это явление чрезвычайное, вызванное трагическим стечением обстоятельств. И хочу надеяться, что технический прогресс захватит вскоре и Арктику, что недалеко время, когда вместо таких посудин, как наш «Восход», гидрография получит ледокольные суда. Тогда, высаживая береговые партии на островах, мы сможем снабжать их аппаратами беспроволочного телеграфа, а не оставлять на долгий срок в безвестности, как теперь.

Несправедливо все-таки, что до сих пор русская Гидрографическая служба не пользуется мощным ледоколом, построенным по замыслу незабвенного вице-адмирала С. О. Макарова, что заказы на радиостанции наше морское ведомство размещает в заграничных фирмах, хотя изобрел радио наш соотечественник профессор А. С. Попов, ныне, к великому прискорбию, также покойный.

8 июля. Пришла пора расстаться с опостылевшим берегом. Только в ложбинах кое-где остались полосы серого грязного снега. Бурая тундра начинает зеленеть, покрываться яркими цветами.

Ожидая вскрытия прибрежного ледяного припая, в котором появилось уже немало трещин, с надеждой поглядываю на горизонт. Там, к северо-востоку от нас, все яснее обозначается темная полоса «водяного неба», предвещающего впереди чистое от льдов море.

Готовим к плаванию вельбот. Среди плавника, «выкидного леса», принесенного сюда из таежных краев сибирскими реками и скопившегося на безлюдных берегах за многие годы, находим крепкие, словно обточенные стволы. Из этого материала получаются

отличные полозья, которые мы теперь приделываем под шлюпочный корпус на тот случай, когда вельбот придется перетаскивать волоком через встречные ледяные поля.

Всем этим старательно заняты моряки. А ламуты-каюры, остающиеся на берегу вместе с собачьими упряжками, промышляют охотой — в тундре видимо-невидимо уток, гусей — и рыбной ловлей в тундреных речках. Пища наша теперь, как никогда прежде, обильна и разнообразна.

18 июля. Пользуясь образовавшейся вдоль берега обширной полыньей, мы спустили вельбот на воду, погрузили припасы. Взялись за весла, поскольку стояло полное безветрие. С Богом, вперед!

29 июля. Только вчера наконец дождались свежего ветра от зюйд-веста. В порывах он доходил до степени шторма. Поставили парус, пошли, не сомневаясь, что ледовая обстановка впереди теперь изменится к лучшему. И не ошиблись. Лавируя в полыньях, развивали под парусом до 8—10 узлов. Когда не представлялось возможным обойти встречные ледовые перемычки, преодолевали их волоком, впрягаясь в лямки.

3 августа. Два обстоятельства тормозят наше продвижение. Во-первых, частые мокрые снегопады вперемежку с дождями. И во-вторых, крайняя отмелость берегов, которая мешает подходить на вельботе к местам, удобным для отдыха. Волей-неволей оставляем вельбот в 3—4 кабельтовых от берега и перебираемся к суше по колено в воде, перетаскиваем на горбу и палатку, и провизию, и весь необходимый скарб.

4 августа. Впервые использовали для отдыха большое ледяное поле, дрейфовавшее на север, что нам как нельзя более с руки. Расставшись с ним после вполне спокойной ночевки, поставили парус и вот уже сутки идем, отдыхая от утомительной гребли. По примеру боцманмата Медникова матросы привели себя в относительный порядок, посушили мокрую одежду, расчесали космы. Эстонец Тойво Сумера, от природы крайне флегматичный, даже запел что-то себе под нос. Остальные блаженно подремывают.

5 августа. После двух суток низкой облачности проглянуло солнце. С помощью секстанта я произвел обсервацию и убедился, что проложенный курс и счисление пройденного пути верны. Но попутный ветер стихает. Снова надо браться за опостылевшие весла. Сгущается туман. Слава Богу, что хоть льдин мы пока не встречаем.

7 августа. Рассеялась наконец плотная, окружавшая нас белесая мгла. И прямо по курсу, словно в награду за все перенесенные тяготы, открылся Южный остров архипелага Ледяная Земля — одинокая скала над галечной отмелью. Точно так же места эти выглядели год назад, когда, высадив с борта «Восхода» зимовщиков, мы уходили на юго-запад, салютуя прощальными гудками.

Впрочем, нет, теперь берег выглядит не таким уж пустынным. Справа от скалы на пологой возвышенности видна избушка и рядом с ней высоко на шестах колеблемые ветрами медвежьи шкуры. Избушка бревенчатая, построенная из плавника, такая невзрачная, неказистая. Но дом, жилье! Первое жилье человека. Как-то провели этот год наши новоселы?

10 августа. Пишу в избушке на Южном острове Ледяной Земли. Пишу, охваченный глубокой скорбью по умершему другу. Нет больше среди нас Евгения Фридриховича Крюгера. Грубый, сколоченный из плавника крест над каменистым холмиком остается здесь как грустный памятник первому поселению людей.

Пишу и вспоминаю день, бывший поначалу для меня истинным праздником, ставший днем траура. Еще на подходе к острову, всматриваясь с вельбота в бинокль, я с каким-то необъяснимо тревожным чувством пересчитывал фигуры, сначала едва различимые вдали, постепенно все более приближавшиеся к нам. И узнавал своих людей — каждого в лицо. Вот ближе всех к воде приземистый, почти квадратный Тимофей Поликарпов, рулевой с «Восхода». Сбегает с пологой возвышенности на косу Федор Галиенко, первый в команде весельчак, нередко в часы досуга оглашавший кубрик и палубу задушевными малороссийскими песнями. Вот не торопясь, чуть вразвалку, с этакой грацией прирученного медведя шагает боцман Багров — его сразу приметишь и по росту, и по выбившимся из-под шапки рыжеватым космам давно не стриженных волос. Вприпрыжку за ним семе-

нит очкастый доктор Приклонский. Нет только Евгения Крюгера...

О безвременной кончине Е. Ф. Крюгера, астронома-геодезиста экспедиции, сообщил мне боцман Багров, едва успели мы, прибывшие на вельботе, сделать несколько шагов по берегу и, забыв уставную субординацию, дружески обняться со встречавшими нас зимовщиками-островитянами.

— Волею божею преставился... Седьмого февраля в три часа пополудни.

А Сергей Николаевич Приклонский, как и положено медику, уточнил:

— Скончался Евгений Фридрихович от очередного приступа астмы, крайне обострившейся на зимовке.

Седьмого февраля... В день моего отъезда из Петербурга. Думал ли я о нем, садясь в поезд на Николаевском вокзале? Тут, на островах, к той поре еще не успела закончиться полярная ночь, но постепенно стихали зимние метели. А у него уже не было сил подняться с меховой постели на первом ярусе грубо сколоченных нар. Задыхаясь, смотрел он на широкие ватманские листы, которые теперь развертывают передо мною боцман и доктор. Слежу за извилистой карандашной линией, показывающей очертания берегов, вглядываюсь в обозначения астрономических пунктов, констатирую скрупулезную точность вычисленных координат.

Оценивать здесь, в походном дневнике, труды покойного магистра Дерптского университета Е. Ф. Крюгера было бы по меньшей мере неуважительным к его памяти. Трудам этим, надо думать, будет посвящен специальный выпуск университетских «Ученых записок». Но от имени моряков-гидрографов беру на себя смелость сказать: достойным выражением благодарности Российского флота магистру Е. Ф. Крюгеру, лучшим памятником ему будет карта архипелага Ледяная Земля.

Добавлю от себя лишь то, о чем покойный по свойственной ему скромности не счел нужным упомянуть в оставленных письмах, что узнал я со слов его помощника боцмана Багрова. Вдвоем на собачьих упряжках и лыжах они прошли 1943 версты!

Умирая, Крюгер передал начальствование над островным отрядом именно ему, боцману. В записке, адресованной мне, магистр аттестовал своего помощника человеком редкого мужества и неутомимости, особо отме-

тив, что Егору Адриановичу он как геодезист обязан сооружением астрономических знаков, а весь островной отряд — умелой охотой, благодаря чему все были сыты.

Спасибо тебе, боцман, от лица службы!

11 августа. Пора в обратный путь. После ружейного салюта над могилой Крюгера занимаем места в вельботе. Теперь людей много больше, чем было на пути сюда. Чтобы не перегружать шлюпку, берем запасы провизии в обрез, а коллекцию геологических образцов, собранных покойным с помощью доктора Приклонского, оставляем упакованной в ящиках в наглухо заколоченной избушке.

19 августа. Сначала погода благоприятствовала нам. По остроумному выражению боцмана, мы «путешествовали на казенный счет»: вытягивая вельбот на встречные ледяные поля, дрейфовали вместе с ними, используя попутные ветры.

Но вот направление дрейфа изменилось. Снова беремся за весла. Подходя к встречным ледяным перемычкам, нередко вынуждены волоком перетягивать вельбот. Иногда ночуем на льдинах, но такой отдых порой оборачивается для нас плачевно.

Двое суток назад, вытянув из воды вельбот и поставив палатку, подкрепились ужином, забрались в спальные мешки. Заснули как убитые сразу все. Не спалось почему-то только одному боцману. И прямо скажем, к нашему общему счастью. Ветер крепчал. Крутая волна захлестывала льдину. Выскочив наружу, Багров увидел, что льдина разламывается как раз в том месте, где стоял вельбот. Утлая наша посудина сползала в воду. И сползла бы, конечно, и была бы унесена штормом, если бы боцман вовремя не схватился за борт. Гаркнув во все горло: «Полундра!», — он поднял от сна и остальных. Мы успели оттащить вельбот от гибельного края все более расходившейся трещины. Потом, осмотрев обломок ледяного поля, мы убедились, что он стал значительно меньше площадью — примерно в 70 квадратных саженей. К счастью, однако, над водой край льдины возвышался примерно на пол-аршина. Ветер усилился, новые волны достигали вельбота, перетащенного теперь к палатке. А люди хотели только спать, спать, хоть трава не расти! Снова укладываясь на отдых, Багров обвя-

зал трос от вельбота вокруг своего туловища — на тот случай, если новый удар волны опять разломит льдину. Но этого, к счастью, не случилось. Часа через четыре, когда мы проснулись, заметно отдохнув, ветер стих, можно было спускать вельбот на воду и греблею продолжать путь дальше на юг.

24 августа. Дружба моя с боцманом едва не дала трещину. Отдыхая на очередной льдине, на этот раз на стамухе (к сведению гг. читателей — так на жаргоне полярных аборигенов зовутся торосистые нагромождения, застрявшие на мели), мы сварили на примусе бульон и кашу «геркулес». Сказать по совести, такая «пища святого Антония» только раздражала желудок. Но, памятуя о необходимости экономить провизию, я пока не разрешал притрагиваться к другим, более питательным припасам. Свою порцию бульона и каши съедал с нарочитым удовольствием бывалого гастронома. И похваливал и пошучивал: полезно, мол, для здоровья.

Боцман, обычно почтительный со мной, вдруг вспылил:

— Вашему благородию после петербургских ресторанов, может, и полезно. А мы на этих чертовых островах целый год по нужде постились.

Я промолчал, сделав вид, что не придаю значения грубости подчиненного. На следующем переходе при полном безветрии мы шли на веслах, и Багров, будучи загребным, вдруг «пустил леща». Очевидно, и он при всей своей тренировке и природной силище устал до изнеможения.

— Ну-ка, Адрианыч, иди на руль, — предложил я, готовый заменить его в качестве загребного.

Но Багров мотнул головой, усмехнулся как-то снисходительно: не офицерское, мол, дело мозоли натирать.

27 августа. С тревогой думаю о том, что тяготы пути озлобляют ни в чем не повинных людей друг против друга, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Не оставляет меня чувство какой-то нелепой, в сущности, обиды против боцмана. Сегодня особенно усилилось это чувство. Сверху валил мокрый снег, порывами задувал промозглый ветер. По всему чувствовалось приближение ранней зимы. Встретив на пути большое ледяное

поле, мы поневоле пристали к нему, вытянули вельбот, впряглись в лямки.

Как всегда, мы с Багровым шли впереди в паре, инстинктивно соразмеряя каждый шаг, каждый очередной рывок натруженных плечевых мускулов. Внезапно под ногами у меня мелькнула темная полоса. Я не успел сообразить, что это трещина, что она расходится... И, выскользнув из лямки, провалился вниз. Сразу стало холодно и темно. Над головой моей, видимо, ударившейся о край льдины, сомкнулись студеные воды. Отяжелевшая одежда тянула вниз. Дыхание перехватило, судорога свела все тело.

Сколько времени продолжалось беспамятство? Мне показалось, что многие часы. На самом же деле всего-то минут двадцать. Очнулся я голым на спальном мешке, разостланном поверх мокрого снегового покрова. Двое — матрос Галиенко и доктор Приклонский — растирали мою грудь спиртом. Кто-то третий, стоявший ко мне спиной, натягивал на мои посиневшие ноги шерстяные егеровские кальсоны. Этот третий был не только полуодет, но и совершенно мокр. Когда он обернулся ко мне, я, постепенно приходя в чувство, узнал Багрова. Да, он спас мне жизнь! Он, не раздумывая, нырнул во внезапно открывшееся разводье сразу же, как только я, оступившись, исчез там. Он вытянул наверх меня, уже захлебнувшегося, потерявшего дыхание.

Язык мой, хотя и ощутил спасительное обжигающее тепло спирта, еще оставался нем. А слух уже улавливал простецкую, от сердца идущую речь боцмана:

— Очухались, Юрий Андреевич? Так держать! В расчете мы теперь.

Впервые за годы совместной службы Багров обратился ко мне не по-уставному, назвал меня по имени-отчеству.

— А то знаете, Юрий Андреевич, был я у вас в долгу. Да и не один я, все мы! Так точно. Понимаю ведь, на такой скорлупке пуститься в море студеное — все равно что на тот свет сходить по доброй воле.

— Погоди, Егор Адрианыч, — перебил я боцмана, — служба флотская, а командир для чего на корабле?

Багров не дал мне продолжить:

— Службу знаю, господин старший лейтенант. И командиров на кораблях видел разных. А вот чтобы без корабля помнил командир о своих матросах, такого...

Боцман рывком нагнулся надо мной, приподнял меня с мехового ложа, поставил на ноги, громко чмокнул в губы. И, сразу отступив на шаг, обернулся к остальным нашим спутникам, зычно подал команду:

— Смирно-о! Старшему лейтенанту Болховскому — ура!

Хриплыми, огрубевшими голосами вторили ему все: и те, кто вместе с Багровым зимовал на Ледяной Земле, и те, кто вместе со мной прошел сотни миль во льдах им на выручку.

Забегая вперед, добавлю: одним из значительнейших событий в моей жизни офицера и гидрографа стало известное гг. читателям заседание Императорского Российского Географического общества, на котором августейший президент Академии наук вручил мне Большую Константиновскую золотую медаль. Принимая награду, вспомнил я льдину в полярном море, измученных, усталых матросов своих, верного друга боцмана Егора Адриановича Багрова. Вспомнил, не таюсь, со слезами.

12 сентября. Дальнейший переход на вельботе к устью Большой Реки протекал без происшествий. При попутном ветре под парусом развивали мы до 8—10 узлов. Чем дальше на юг, тем реже встречались морские льды.

Зато на речном плесе уже заметно приближение зимы. На скалах правого высокого берега лежал первый снег, в устьях тундреных речек появились ледяные забереги. В Кривой протоке, приткнувшись к берегу тесного затона, сиротливо стоял наш лишенный топлива «Восход». И Лозовацкие, отец с дочерью, и рыбаки, их соседи, и наши товарищи из машинной команды были одеты уже по-зимнему.

Приятно было найти в добром здравии всех, кого не видели мы за долгие месяцы отсутствия. Но обидно было смотреть на корабль, подготовленный еще весной к продолжению плавания, так и простоявший всю навигацию на приколе. Совсем уж незаслуженным оскорблением звучал для меня циркуляр, доставленный почтой из Петербурга. Ввиду невозможности дальнейшего использования шхуны «Восход» для нужд гидрографии предлагалось передать ее в собственность «Торгового дома братьев Кнаревых» с оплатой стоимости судна Главному Гидрографическому управлению через Сибир-

ский банк. Оборотистые коммерсанты получили корабль, не сомневаюсь, за бесценок.

4 октября. Вот и миновала скоротечная северная осень. Снова ледостав на Большой Реке. Готовя оленьи упряжки к долгой зимней дороге, мы уже предвкушали тот день, когда сядем в комфортабельные вагоны транссибирского курьерского поезда.

Жаль было только, что возвращаться в столицу предстояло не всей команде одновременно.

Один из нашего экипажа, самый, казалось бы, выносливый, крепкий, здоровый, неожиданно сдал. Это боцман Багров. После вынужденного ледяного купанья он не раз жаловался на ломоту в суставах. А тут, на Кривой протоке, совсем занедужил. Руки и ноги у боцмана опухли. Общий упадок сил, высокая температура. По мнению доктора Приклонского, первое, что необходимо боцману, — это тепло, покой, усиленное питание. Волей-неволей оставил я Егора Адриановича на попечение заботливых, добросердечных наших друзей — Я. М. Лозовацкого и его милой дочери.

На прощание мы с боцманом обнялись. Я обещал, что тотчас по возвращении в столицу обеспечу незамедлительный перевод жалованья и наградных в Архангельск его семье. К стыду моему, до сей поры я не знал о ней почти ничего. Помнилась только одна фраза Багрова, произнесенная при зачислении в команду «Восхода», когда я уточнял семейное положение всех офицеров и нижних чинов.

— Вдовый, — сказал Егор Адрианович со вздохом, — молодуха родами померла, я уж на действительной был. Дочь, малолетка, при мамаше моей состоит. Мамаша — прачка в Соломбале.

Теперь, прощаясь и записав архангельский адрес Багровых, я поинтересовался дальнейшими жизненными планами боцмана: что намерен делать он по выздоровлении, поскольку срок действительной службы у него истекает. Спросил, не хочет ли остаться в гидрографии на сверхсрочной. И услышал в ответ:

— Никак нет, Юрий Андреевич. Мы, поморы, — народ неслуживый. Плавать, конечно, и дальше не зарекаюсь. Но по вольному найму. Может, в торговый флот пойду. А может, и на ледяной якорь стану тут в Сибири. Зверя промышлять, рыбу ловить, вот хоть как лоц-

ман Яков Моисеев. Чем не жизнь? От начальства далеко.

Поморщившись от боли в суставах, он все-таки встряхнул мою руку:

— С начальством-то, Юрий Андреевич, нашему брату не всегда везет.

С тем мы и расстались.

* * *

Вернувшись в Петербург и выполнив просьбу боцмана о переводе денег в адрес его почтенной матушки, я сделал все для увольнения Егора Адриановича Багрова с военной службы с наилучшей аттестацией.

Очень сожалею, что после увольнения боцмана в запас связь моя с ним оборвалась.

* * *

В послесловии к выдержкам из дневника Ю. А. Болховского редакция «Вестника путешествий» сообщала, что в ближайшие годы вместе с подробным отчетом о научных результатах экспедиции, возможно, удастся издать весь дневник полностью.

Через два года, в 1914-м, началась война.



ГЛАВА 4

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

Пишет Никита Багров

О дневнике Болховского мы с братом вскоре забыли. Листы машинописного текста, переплетенные в тетрадь, лежали у Адриана на одной из полок им же самим сколоченной этажерки. Редакционное помещение, служившее нашему первопечатнику и жильем, он меблировал самосильно. Лежала тетрадочка рядом с аккуратно подшитыми комплектами центральных и краевых газет, вместе с прочим редакционным архивом «Заполярного большевика». Газеты приходили в Егоркино с изрядным запозданием, несмотря на все старания почтовиков.

Возил почту обычно я, линейный пилот, именовавшийся также «командиром корабля» по штатному расписанию авиаслужбы Полярстроя. Вся авиаслужба, которая находилась, как и правление комбината, в Новосибирске, краевом центре, насчитывала пять самолетов. Из них две «гидры», летающие лодки, поздней осенью, с наступлением ледостава на Большой Реке, ставились в

затон на ремонт вместе с буксировщиками и баржами. Остальные три — одномоторные бипланы, летом снабженные поплавками для посадок на воду, зимой же переставлялись на лыжные шасси. Они взлетали с примитивных снежных площадок. Такой самолет принимал в заднюю кабину либо двух-трех пассажиров, либо груз не более трехсот килограммов. Мой бортмеханик Кузьма Дорофеевич Пузанков весьма солидной комплекции откровенно предпочитал грузовые рейсы — рядом с пассажирами ему приходилось очень уж тесно.

Сказав «мой бортмеханик», я мысленно извинился перед почтенным папой Кузей. Ведь и по возрасту, и по летному стажу я перед ним мальчишка, салажонок. И конечно, его доброте и вниманию обязан столь быстрым продвижением по службе. Подумать только: еще в Хиве и Бухаре громил басмачей старикан, выбрасывая пятифунтовые бомбочки руками из окон кабины пассажирского «юнкерса». Потом открывал первые линии Добролета. Потом на Севере вместе с Бруно Густавовичем Таубе отработал четыре навигации на ледовой разведке. Первый раз зимой в Егоркино прилетели они еще в прошлом году.

И вдруг соглашается такой ветеран работать со мною, новичком, вчерашним инструктором Осоавиахима.

— Пригляделся я к парню нонешним летом, пока он у Густавыча на втором кресле сидел. Вижу, пилотяга стоящий. На большом аэроплане, особливо ежели в море ходить далеко, быть ему вторым в самый раз. А на маленьком рейсовом взад-вперед летать, пожалуй, и на командира вытянет Багров, конечно, при бывалом, толковом механёре. — Так высказался Пузанков у начальника авиаслужбы осенью, когда зашла речь о комплектовании экипажей для зимней работы.

Таубе, сдав свою «гидру», уходил в долгосрочный отпуск, решительно отказавшись летать зимой. «По состоянию здоровья и семейным обстоятельствам» — так написал он в рапорте. Возражений начальства рапорт не встретил: отдых и лечение давно требовались моему командиру. Ну а семейные обстоятельства уж сами собой: в последний рейс из Егоркина Бруно Густавович улетел с молодой женой. Увез нашу Настю к себе в Ленинград. Увез...

Аттестуя, как принято в авиаслужбе Полярстроя, всех членов экипажа по работе за минувшую навига-

цию, командир неплохо отозвался обо мне. Съязвил, правда, что Заполярье не Коктебель, спортивных рекордов от пилотов здесь не требуется. Но тотчас же добавил, уже без улыбки, что уверен, сможет Никита Багров и самостоятельно водить рейсовые самолеты. Начальник авиаслужбы Григорий Борисович, великий дипломат, покрутил носом. С одной стороны, хотелось ему угодить директору Егору Адриановичу Багрову — пойдет сынок на выдвижение. Но с другой — зелен еще этот самый сынок, а Сибирь действительно на Крым непохожа.

Как раз в это время заглянул к начальнику Пузанков. И Таубе, пригласив его на обсуждение, поймал бортмеханика, что называется, на добром слове:

— Вот-вот, Кузьма Дорофеич, ты у нас самый бывалый и есть. Одно слово: «механёр-аншеф». Тебе, старослуживому, и подавать пример молодым, как сказал в свое время фельдмаршал Кутузов.

Пузанков развел руками:

— Супротив Кутузова не попрешь. Фельдмаршалу все аншефы козыряют.

Вечером, придя в летное общежитие, папа Кузя назвал меня уже не «Никиткой», как прежде, а «Егорычем». Поставил на тумбочку у койки поллитра, щедро пообещав «вливать ума» новоиспеченному своему командиру.

Но вообще-то спиртным Кузьма Дорофеевич не злоупотребляет, справедливо полагая, что на морозе за сорок градусов ни сорокаградусная, ни более крепкая водка не прибавляет человеку сил, что выпивка для всякого баловство, а баловать себя можно только в награду за труды. Придерживаясь этого правила, пропускаем мы с папой Кузей иногда по маленькой перед ужином, когда уж не надо расставаться с теплым кровом, а машина надежно укреплена тросами на ледяном якоре, вода из радиатора спущена и мотор зачехлен.

Ужинаем мы обычно в Туринке, рыбачьем становище на полпути примерно до Егоркина. В избушке у «станционного смотрителя» — так прозвал Кузьма Дорофеевич давнего своего приятеля, бывшего моториста Зосиму Макарыча, начальника Туринского аэропорта, — ночуем на полатях. Раздеваясь, с наслаждением освобождаемся от пудовых меховых комбинезонов, которые за долгие часы, проведенные в промороженной кабине, успевают

и задубеть, и осточертеть нам. Едва улегшись на постель, я засыпаю тотчас. А «механер-аншеф» еще долго распивает чаи с хозяином дома, недобрым словом поминая снабженцев авиаслужбы. Давно уж обещали они сменить комбинезоны из собачьего меха на более легкие, удобные кухлянки и штаны из пыжика. Давно хлопочет механик Пузанков насчет трубок, чтобы теплом газов, отходящих от моторов, можно было обогревать кабину. А трубок все нет, хотя пузанковский проект обогрева не только одобрен начальством, но даже расхвален в стенгазете авиаслужбы.

Под утро, когда я вижу уж который по счету сон, папа Кузя слезает с полатей, бубня себе под нос: «Кому не спится в ночь глуху? Механику и петуху». Петушиного крика отнюдь еще не слышно. Тьма на дворе кромешная, мороз особенно крепчает перед рассветом. Но вскоре начинает шипеть, фыркать паяльная лампа и по коленчатой самоварной трубе, одолженной у Зосимы Макарыча, к расчехленному мотору устремляется горячий воздух. Агрегат, по определению папы Кузи, «не столь могучий, сколь вонючий», действует безотказно. В радиатор заливается согретая за ночь вода. И вот уж стены избушки начинают легонько подрагивать от близких и частых взмахов самолетного винта. Кузьма Дорофеевич «гоняет мотор», готовит машину к старту.

За завтраком, уплетая пельмени, он ворчит теперь уже на конструкторов и машиностроителей: давно бы пора дать северной авиации двигатели с воздушным охлаждением вместо водяного. Я не возражаю: пора. А про себя вспоминаю Коктебель, планеры: милое дело, никаких тебе моторов вообще.

Потом, забравшись в кабину, включаю контакт. Папа Кузя, кряхтя, виснет на лопастях пропеллера. Они вычерчивают первый круг, второй, третий. Папа Кузя раскачивает машину за крыло, дубасит киянкой — деревянным молотом — по лыжам, примерзшим ко льду. Только после всего этого, когда я уже рулю на старт, «механер-аншеф» на ходу влезает в заднюю кабину.

И мы продолжаем рейс. Идем над замерзшей рекой, пролетая бесчисленные извивы ее проток, пересекая лесистые острова, заснеженные отроги горных хребтов, близко подступающие к руслу. Порой ярко светит солнце, тогда я опускаю защитные темные очки, проклиная их резиновое крепление, которое, заледенев, врезается в

лоб и щеки. Порой облака, сгущаясь, прижимают машину к самым макушкам мохнатых елей и оголившихся еще осенью лиственниц. Тут я, понятно, малость нервничаю: как бы не зацепить лыжами за деревья. Беру штурвал на себя, набираю высоту. Новое беспокойство: как бы не потерять наземные ориентиры, которые все время сверяешь с картой, — ведь там, внизу, начинает клубиться поземка. Того и гляди перейдет поземка в пургу.

Пурга, случается, вынуждает и к посадке, внеплановой, не предусмотренной рейсовым заданием. Высмотрев внизу «пятачок», плюхаемся либо на речной лед, неровный, торосистый — вот-вот поломаешь лыжи, — либо на озерко или полянку в тайге. Тут сразу, продавив наст, зарываемся в сугробы: как бы не клюнуть носом, не скапотировать.

На «вынужденной» отчаянно мерзнем, хоть и забираемся в спальные мешки, хоть и кутаемся сверх того в чехлы от мотора. Хоть и пытаемся согреваться у немилосердно чадящей паяльной лампы, которую разжигаем тут же под самолетным крылом.

Если пурга затяжная, самолет обрастает сугробами. Тогда уж сиди и жди! Дождался, когда стихнет белесая кутерьма, — берись за лопату, раскапывай. Растапливай в ведрах снег, грей воду, иначе мотор не запустишь, не взлетишь.

«Банные процедуры на вынужденной», как не без юмора выражается папа Кузя, нещадно пожирают горючее. Иной раз, взлетев наконец после двух-трехсуточного сидения, дотягиваем до Егоркина буквально на последних каплях. Слышу: чихает мотор. Спиной ощущаю, чувствую: «механер-аншеф» подкачивает остатки бензина ручной помпой. И безмерно бываю счастлив, когда из-под крыла выползает сначала знакомый изгиб Кривой протоки, потом полоски, квадратики, прямоугольнички — кварталы Егоркина. Вот и долгожданные трубы: сначала электростанция, потом лесозавод. Вот и соломенно-желтые штабеля лесобиржи.

Теперь уж бог с ним, с мотором, пусть себе чихнет последний раз. Планирую. С наслаждением слушаю, как в расчалках свистит ветер. И опять добром поминаю Коктебель, Тушино, первые ступени своего летного ученичества. Но не жалею, что расстался с югом ради се-

вера, ни чуточки не раскаиваюсь. Взялся за гуж — не говори, что не дюж.

Сели! Лыжи притерлись ко льду протоки, скользят, как, помню, скользили мальчишечьи мои коньки на катке в архангельском парке.

Дома! Самочувствие такое, будто вынырнул из белесой пропасти, из какой-то промороженной бездны. Кажется, еще немного, и захлебнулся бы холодом, задохся бы, закоченел.

Когда на узеньких саночках, запряженных мохнатой сибирской лошаденкой, мы катим от аэродрома, городишко наш, бревенчатый, по большей части одноэтажный, весь в сугробах, кажется после безлюдья тайги благоустроеннейшим центром.

А уж у Адриана в бараке, который он окрестил «дворцом прессы», и вовсе благодать. Мерное громыханье типографской машины за дощатой перегородкой звучит прямо-таки музыкой. Первопечатник наш в большущих роговых очках на вздернутом носу — ну до чего же симпатяга! После братских объятий, расспросов: «Как долетели, что случилось в пути?» — Дюшка берется за карандаш и блокнот. Потом уходит в наборную и возвращается весь перемазанный типографской краской. Мы с папой Кузей уже знаем — в очередном номере «Заполярного большевика» будет десять-пятнадцать строк под дежурной рубрикой «Витамины — по воздуху». Мы привозим в Егоркино ценный груз — ящики с луком и чесноком, банки с консервированным клюквенным соком, пакеты с концентратом лимонной кислоты. Что поделаешь, в городе цинга. Не единичные случаи, как было летом, нет, массовое заболевание, особенно обострившееся за время полярной ночи.

Хоть привозимые нами посылки, приготовленные снабженцами Полярстроя и краевым аптекоуправлением, капля в море для егоркинской больницы и столовых, но пусть все-таки знают жители, что думает, заботится о них большое начальство. Так примерно объяснял мне брат присутствие в газете этой постоянной рубрики. А я слушаю и молча злюсь. Не на брата, на отца нашего, директора Полярстроя, уважаемого товарища Багрова.

Зимой тут, в низовьях Большой Реки, его не застанешь. Да и понятно: много у отца дел, многими предприятиями, разбросанными по северу Сибири, надо ему руководить. И лесосплав готовить с притоков Большой Реки.

И графитовый рудник строить в таежной глуши за Каменной Грядой, в медвежьем углу. Туда нет иного пути, кроме зимников — просек, прорубленных в тайге, и ледяных дорог по замерзшим рекам. Надо еще меха, закупаемые в тундре у охотников, отправлять в Ленинград к Международному пушному аукциону. Потом и в Москву пора ехать для докладов Госплану и Совнаркому.

Раньше, живя в Тушине, столичном пригороде, и встречая отца изредка во время его московских командировок, я дивился: и как только он всюду поспевает? А теперь, сам работая на Севере, вижу: поспевает Егор Адрианович далеко не всюду. А за ошибки его, просчеты, за смелые, казалось бы, но непродуманные решения расплачиваются люди ни в чем не повинные.

Взять хоть эту вспышку цинги в Егоркине. Повторяется ведь она, была еще прошлой зимой. Была потому, что вовремя не завезли достаточных запасов овощей, картофеля. Говорили: с флотом было тогда туго, не хватало судов на Большой Реке. Допустим, что так. Но уж нынче-то, когда появились под вымпелом Полярстроя два новеньких теплохода, казалось бы, можно заблаговременно, до ледостава прибуксировать для егоркинских жителей караван с картофелем и овощами? Ведь сам видел я у причалов баржи, уже нагруженные и готовые к отплытию, как раз в тот день, когда в правлении комбината решался вопрос о моем назначении пилотом на зимнюю Большерецкую авиалинию.

Чтобы утвердить назначение, начальник авиаслужбы повел меня в директорский кабинет, надеясь вне очереди миновать бдительный секретарский заслон Виктории Павловны. Заслон миновали, но в кабинете отца застали главного диспетчера речного флота, еще раньше пришедшего с докладом.

— Так как же, Егор Адрианович, с картофельными-то баржами быть? — настойчиво спрашивал он. — Боюсь, за двумя зайцами погонимся, ни одного не поймаем.

Директор Полярстроя, задумавшись, смотрел на график движения, перечитывал прогноз краевого метеобюро. Что-то прикидывал в уме, пыхтел, как всегда, прокуренной трубкой. Увидев начальника авиаслужбы и меня, он молча кивнул в сторону дивана, приглашая сесть, потом в упор глянул на речного диспетчера:

— Не на охоте мы нынче, Петр Климыч, не зайцев бьем. Пятилетку досрочно выполняем! Разворотливее надо быть, оперативнее! И вперед глядеть. Не пошлем мы сейчас же вот, немедленно, буксиры за плотами — значит, не обеспечим на зиму егоркинский завод кругляком. Выходит, быть лесопильщикам на простое. Так или нет?

Главный диспетчер кивнул.

— Так, стало быть. Теперь, самое главное, не напилим за зиму досок пропсов, балансов, чем иностранные лесовозы встретим будущим летом? Штраф капиталистам за простои тоннажа, хошь не хошь, а платить придется. Ты, Петр Климыч, валютой богат? Фунтами стерлингов или, на худой конец, хоть норвежскими кронами? То-то вот. К тому же еще срам в мировом масштабе: «Расхвастались господа большевики, что сибирский лес вывозят по ледовым морям. А где он у них, этот самый лес?» И пропало тогда доверие к нам с тобой, Петр Климыч, к почтеннейшей нашей советской фирме, именуемой «Концерн «Полярстрой». Ни один уважающий себя торговец там, в Лондоне или Роттердаме, скажем, не будет нас с тобой всерьез принимать. Разве это дело?

Главный диспетчер покраснел:

— Так я разве что, товарищ директор? Воля ваша.

— Не моя, — нахмурился Егор Адрианович, — воля у нас с тобой единая, общая, Петр Климыч, поскольку оба мы в одной партии состоим. — И, взяв карандаш, начал корректировать график движения флота. — Скоростенки прибавим теплоходам. У Атаманского порога лишнего стоять не будем. Ночью идти как днем, на что у нас прожектора на новых-то буксировщиках поставлены? Та-ак... Вот и получается, товарищ главный диспетчер, что рейсы с плотами не две недели займут, от силы десять дней. Успеют капитаны и обратно вернуться за овощными баржами, и еще разок сбегать вниз. Аккурат до ледостава управятся. Ты им, между прочим, премию посули от моего имени.

— Так точно, Егор Адрианыч.

— Вот. Радиограммы сейчас же отправь и на «Пятилетку», и на «Встречный план». Чтобы сразу же к Медвежьей запани за плотами заворачивали.

— Слушаюсь, Егор Адрианыч. Только радиограмму вы уж самолично подпишите.

— Подпишу, за твою спину не спрячусь. Ну, все.

Когда главный диспетчер ушел, отец обернулся к нам:

— Что у вас, Григорий Борисыч? А, назначение линейного пилота. Этого вот молодца?

И глянул на меня, как, бывало, глядел в Архангельске, когда приносил я из школы письменные уведомления учителей о шумном поведении и скромных успехах. Я стоял ни жив ни мертв.

— Та-ак, — протянул отец, — Таубе, стало быть, его рекомендует? Хорошо. Пузанкова к нему механиком? Совсем хорошо. За чем же дело стало, Григорий Борисыч? Подписывайте назначение. Это вполне в вашей компетенции.

Начальник авиаслужбы поднял брови, была у него такая привычка.

— Я, Егор Адрианыч, только так, в порядке, так сказать, информации... Чтобы и ваша виза была... поскольку...

— Ви-иза, — насмешливо протянул отец, — будто за границу собрались. Перестраховаться решили, Григорий Борисыч, по родственной линии на случай, ежели стрясется с пилотом Багровым какое «чепе». А?

— Ну что вы, Егор Адрианыч... — вконец смутился начальник авиаслужбы.

Не сказав ему больше ни слова, отец обратился ко мне:

— Желаю тебе, Никита, летай, как говорится, высоко и далеко.

И начертил трубкой в воздухе нечто весьма решительное, долженствующее, по его мнению, изображать полет.

Из директорского кабинета я и впрямь не вышел, а выпорхнул будто на крыльях, снова почувствовав себя влюбленным в отца. Говорю «снова», потому что после того памятного приема заморского гостя в Егоркине сыновняя моя привязанность, восхищение трудной и мужественной жизнью отца не то чтобы ослабели, но, во всяком случае, подверглись испытанию. Не только меня, но и Адриана обидела, расстроила самоуверенность отца, походя, одной фразой, предопределившего судьбу единственной дочери, назначившего Насте в мужья Бруно Густавовича Таубе.

Однако Настя все-таки вышла замуж за моего ко-

мандира! До сих пор не понимаю, как могло это произойти! Настя, умница, красавица, взбалмошная и веселая, не признающая никаких авторитетов и условностей, стала женой скучнейшего петербургского немца, утомительного «комильфо», живущего по уставам и наставлениям, напичканного цитатами на все случаи жизни, этого сухого, педантичного человека.

Правда, Бруно Густавович превосходный пилот, опытнейший морской авиатор, знаток Арктики. Но ведь нашему-то ученому синоптику, Настасье нашей, с ним не летать в ледовую разведку. А «зимовать» они вместе укатили в Ленинград.

Как-то живется ей там теперь, нашей Насте? Страсть до чего хочется сказать «моей». Другой такой обаятельной, живой, душевной девушки нет на свете, ручаюсь. И зачем только родились мы братом и сестрой, «связаны узами крови»?

Единокровные сестра и брат? Да, матери у нас разные. Но отец-то? Отец один. И какой отец!

В самом деле, что он за человек, Егор Адрианович Багров, балтийский матрос, большевик с семнадцатого, «командарм пятилеток в Заполярье», как пишут газетчики, «большой тойон — большевик», как почтительно величают его рыбаки и охотники, коренные жители тундры?

Волевой, смелый руководитель? С размахом, с фантазией? Да, безусловно. Но во что обходится иным людям его одержимость в работе?

Минувшей осенью караван с картошкой и овощами так и не дошел до Егоркина, застрял во льдах, зазимовал в среднем плесе. И вот «цингуют» егоркинские лесопильщики, выполняя и перевыполняя зимние планы, чтобы летом завалить экспортным лесом иностранные суда.

Знает ли о егоркинских бедах отец, находясь в длительной московской командировке? Должен знать... Конечно, знает. И за витаминными посылками следит. В Новосибирск, наверное, каждую ночь трезвонит по междугородной. Тормошит и краевых аптекарей, и полярстроевских снабженцев.

Однако легче ли от этого цинготным больным, егоркинским работягам?

«Работяги», между прочим, любимое словечко Егора Адриановича. Запомнилось оно нам с братом после беседы отца с одним товарищем из административного

отдела крайисполкома. Тот ходил по прыгающим мосткам дощатых тротуаров осторожно, боясь оступиться, замарать жидкой грязью зеркально блестящие хромовые сапожки. На лесобирже усмотрел нарушение противопожарных правил. Директор Полярстроя поблагодарил его за это наблюдение.

Гость еще более приосанился и, когда речь зашла о трудностях егоркинского быта, о плохом снабжении, нехватке жилья, решил выступить авторитетно:

— Это все дутые проблемы. Вы просто слишком цацкаетесь тут с кулачьем. Семьями живут у вас поселенцы. Каждой семье угол подавай, а то и комнату. Излишняя роскошь. А можно ведь как — построить бараки, в них нары в два яруса, а то и в три. Для ребят — детдом, или, как это, интернат, что ли! Вот и все, и нечего тут голову ломать.

— Интересное предложение, — протянул отец, — лагерек, стало быть, проектируете?

— Ну лагерек не лагерек, — гость хитро прищурился, — а что-то в этом, так сказать, роде.

— И колючую проволочку, — посмеиваясь, подсказывал отец, — и вышки с часовыми, как это называется, вахты как будто? Совсем по-нашему, по-флотски.

— Точно, товарищ директор, вы все прекрасно понимаете.

— Ну а кто же тогда арестантов будет охранять, чтобы в бега не ударились они от такой райской жизни?

Гость засмеялся:

— А это уж совсем пустяк. Те же уголовники. Они, между прочим, старательные, когда кормят их и работать не заставляют.

Егор Адрианович сдвинул шапку со лба, вытер платком вспотевшее лицо:

— Прелестную картину вы нарисовали. Жулье с ружьишками будет разгуливать, работяги — спину гнуть.

Гость сначала оторопел, потом захорохорился:

— Но позвольте, какие ж работяги — кулачье, враги...

Отец смачно плюнул с причала в воду:

— Невечно им во врагах ходить, поймите вы это. Кулаки они уже в прошлом. Гражданские свои права, коих пока лишены, скоро заслужат, не сомневаюсь. Трудом заслужат и права и почет. Так вот... Политгра-

моте учить вас не собираюсь, но напомню: именно труд сделал обезьяну человеком.

Гость заметно сбавил тон:

— Да я, товарищ директор, тоже за перековку....

Обо всем этом рассказал мне Адриан, ему случилось быть свидетелем беседы. Изобразив всю сцену в лицах, брат заключил восторженно:

— Молодец батя! Хозяин, большевик!

И я подумал тогда: «Молодец батя». А когда замерз караван с овощами и в Егоркине началась цинга, напомнил брату наш разговор и спросил:

— Так кто же все-таки отец наш: хозяин или хозяйственник? И вообще, большевику как-то не к лицу быть «тойоном».

Адриан, занятый правкой газетной полосы, отмахнулся:

— Слова, слова, слова...

Я не стал возражать. Да, конечно, мы с братом и понятия не имели, о чем спорил в те дни директор Полярстроя, находясь в командировке в Москве. А дебаты там шли жаркие и с госплановцами и с внешторговцами. Егор Адрианович доказывал, что в очередную навигацию егоркинский лесозавод и порт смогут обеспечить погрузку на экспорт уже не двадцати судов, как прежде, а не менее тридцати. Он настаивал, чтобы торгпредство в Лондоне заранее фрахтовало тоннаж, хлопотал, чтобы представители Совторгфлота в Дании и Голландии нажимали как следует на судостроительные фирмы. Иначе не поспеют к арктической навигации зарубежные фирмы пустить на воду заказанные суда: ледокол «Харитон Лаптев» и ледокольный пароход «Алексей Чириков».

Слышали и мы в Егоркине об этом, верили: отличные будут корабли.

Но вот пришла весна. Егор Адрианович возвратился из Москвы в Новосибирск недовольный, хмурый: голландская фирма отодвинула еще на год заказ на «Харитона Лаптева». С постройкой «Алексея Чирикова» тоже нелады — проект, утвержденный Регистром СССР, не подходит под международный класс Ллойда. Заново надо проектировать. В итоге не удастся нынче Полярстрою козырнуть перед иностранными арматорами собственным совторгфлотовским тоннажем, своими новыми судами для морей Арктики. Потому судовладельцы и подня-

ли фрахтовые ставки—в хорошую валютную копейку влетят теперь Советской власти тридцать транспортов, которые Егор Адрианович намеревается грузить в Егоркине экспортным лесом.

По сему поводу ответственные товарищи в Госплане и Внешторге предупредили:

— Смотрите, товарищ Багров. С погрузкой иностранцев вы справитесь, знаем. А вот по силам ли будет «Разину» столь многочисленная проводка во льдах? Трудновато придется ему без второго ледокола.

Директор Полярстроя отшутился:

— Степан у нас не один, целых два.

Шутку приняли. Капитана линейного ледокола «Степан Разин» Степана Ермолаевича Грачева знали в Москве, он по заслугам считался знатоком Арктики. Сам директор Полярстроя поглядывал на бывалого морехода снизу вверх. Немногословный, настроенный всегда иронически, капитан Грачев резал правду-матку любому начальству. Но никогда не отказывался от самых трудных заданий. Не отказался и на этот раз. Егор Адрианович специально ездил к капитану в Ленинград, советовался с ним, с синоптиками и гидрологами Института Севера. Участвовал в совещании перед навигацией и Бруно Густавович Таубе.

Обо всем этом я узнал весной в Новосибирске, по возвращении отца из Москвы. Мы сидели вечером у него дома. Виктория Павловна, смуглая от сочинского загара, разливала чай.

— Опять хочет тебя Бруно Густавыч вторым взять к себе на «гидру». Пойдешь, Кит? Или, может, на линии останешься, товарищ командир корабля? — спросил отец, накладывая мне наше любимое варенье из морошки.

Уплетая за обе щеки вкуснейший московский кекс, я промычал что-то невнятное.

— Ладно вам о делах, покорители Арктики, — перебила Виктория Павловна, — рассказал бы лучше, Егор Адрианов, про дочку. Как там Настюша в Ленинграде в роли замужней дамы? Прибавления семейства не ожидается в доме Таубе?

— Пожалуй, еще нет... Для роли деда, видимо, еще не созрел ваш собеседник, — в тон жене отвечал отец.

— Он не созрел, скажите на милость, он, извольте видеть, и тут центральная фигура, и в семейной жизни дочери, — расхохоталась Виктория Павловна.

— Да ну тебя, Павловна, — рассмеялся и отец, — не про то я толкую. Дочка-то опять на Север собралась. Не зимовать, нет. На время навигации — в штаб проводки, на «Разина».

— А Степан Ермолаевич согласен? Он, насколько я знаю, привержен к старым моряцким правилам, не терпит женщин на корабле.

— Нет правил без исключения, Павловна, особенно для моей дочки с ее бесцеремонным характером. После совещания представил я ее Ермолаичу. Глянул на нее кэп поверх очков, разгладил бородищу свою, ну, знаешь, чистый Черномор, и спрашивает: «А вы, разрешите узнать, в море раньше бывали?» Настя ему: «Неоднократно, товарищ капитан, и в Белом и в Баренцевом, на экспедиционном судне «Орион» ходила еще до университета». — «А в какой должности, позвольте узнать?» — это кэп. А она так спокойненько: «Сначала уборщицей, потом лаборанткой у Михаила Михайловича Губина». Профессора Губина в свидетели звать не надо. На совещании по прогнозам он был главным докладчиком. Тут, в коридоре, рядом стоит покуривает. Вот, значит, и расцвел Ермолаич: «Весьма, — говорит, — польщен знакомством, Настасья Егоровна, милости прошу на ледокол». — И отец обратился ко мне: — Так пойдешь снова к Таубе вторым?

— Угу, пап, — машинально буркнул я, думая совсем о другом.

Почему это, в самом деле, люди все время стремятся командовать друг другом? Виктория Павловна мечтала бы командовать отцом. Отец всеми нами командует и так к этому привык, что и не замечает. Да только ли нами, близкими, родными своими, — всеми, кто живет и работает на Севере. А вот правильно ли командует? Не уверен я в этом. Судя по минувшей зиме в Егоркине, когда померла там от цинги едва ли не сотня человек, не очень-то правильно.

Егор Адрианович тем временем осушал один чайный стакан за другим.

— До командирского кресла тебе, парень, надо еще дорасти. Гидропланы наши фирмы «Дорнье», типа «Валь», «дорнье-валь». Как нам с тобой известно, «валь» означает «кит». А ты, парень, пока лишь китенок, хоть и резвый, не спорю. Я в твоем возрасте действительную по третьему году служил, только на боцманмата экза-

мен сдал. А ты, смотри пожалуйста, по-старорежимному сказать «господин прапорщик». Знаю, Никита, думаешь ты сейчас: «Ну, понес батя флотскую травлю. Еще Кронштадт помянет, дальнее плавание...» Нет, парень, не про себя толкую, про тебя. Походи еще навигацию с Бруно Густавовичем, поучись у него не только штурвал держать, но и думать по-командирски, решения принимать над морем, над льдами. А на будущий год, коли не будет никаких «чепе», садись на первое кресло в «дорнье-вале», командуй, выходи в большие киты.

Я только кивал. Не скажешь ведь отцу, что неохота мне снова летать с Таубе, потому что он теперь Настин муж. Да и самому себе объяснить не могу глупое чувство неприязни к этому человеку.

Чаю мы напились тем вечером всласть. Виктория Павловна оставляла меня ночевать, но я пошел к себе в летное общежитие. Шагал по Красному проспекту, затихающему к полуночи, остро пахнущему клейкими почками молодых, недавно посаженных деревьев. Пересек площадь перед почтамтом. Постоял под лесами строящегося краевого театра. Глянул на небо, разыскивая знакомые созвездия. И вдруг очень явственно представил себе Ленинград. Там сейчас белая ночь, звезд не видно. И Настя если и смотрит в небо, то по-своему, как синоптик: какие на нем облака? Опять Настя! Написать ей, что ли? «Как живешь, сестра?..» А зачем, собственно? Ответит: «Живу хорошо, скоро встретимся в Арктике». Нет, не буду писать. Незачем!

Встретились мы с Настей раньше, чем я ожидал. Ее фотокарточка в аккуратной такой окантовочке под стеклом появилась в пилотской как раз напротив наших с Таубе кресел. Пристроил ее там Бруно Густавович сразу же, едва прикатил из Ленинграда, как только начали мы облетывать «гидру» после ремонта. Смеялась Настя на карточке, очень довольная. И выглядела совсем непохожей на себя. В новой прическе — просто дама! И веснушек неприметно было у нее на носу: то ли ретушь, то ли косметика?

Мне сестренка прислала теплый вязаный шарф, Дюшке — новый роман Дос-Пассоса в переводе В. Стенича.

Первопечатник сразу уткнулся в книгу, едва встретил наш экипаж в Егоркинском гидропорту. Потом, поблагодарив Бруно Густавовича за подарок, одолел

меня сетованиями на горькую свою журналистскую судьбу: сиди тут в дыре, выпускай многотиражку, когда так хочется в Арктику, в море!

Затем Адриан с ходу атаковал Леву Балабана, нашего штурмана-радиста, уговорил его присылать заметки о навигации. А мне перед нашим отлетом дальше на север вручил пакет, адресованный на ледокол «Степан Разин» капитану Грачеву.

— Надеюсь на твою помощь, — сказал Адриан. — Уговори капитана написать статью для «Заполярного большевика».

Мы прилетели в бухту острова Сидорова, где стоял на якоре «Степан Разин». С обоих бортов к низко сидящему, похожему на огромный утюг корпусу ледокола были пришвартованы лихтера с углем, пришедшие с низовьев Большой Реки. Над раскрытыми бункерами с грохотом опорожнялись грейферные ковши. С рейдового буксира, подошедшего к корме ледокола, был протянут широкий шланг — пополнялись запасы пресной воды.

Едва мы с Таубе и Балабаном поднялись по штромтрапу на палубу ледокола, к нам подбежала Настя, расцеловала мужа, приятельски кивнула Балабану. Остановилась, радостно улыбаясь, напротив меня.

— Вот по ком соскучилась! Китище, Кит Китыч! Когда наконец вырастишь китовые усы? — Настя повернулась к мужу. — Бруночка, топай с Левой в кают-компанию, там заседает главный штаб. — Подхватила меня под руку, потащила представлять капитану, который только что спустился из ходовой рубки. — Степан Ермолаевич, вот мой брат, прошу любить и жаловать.

— Очень приятно, Настасья Егоровна. Крылатые у вас родичи.

Наслышан о капитане я был давно, но увидел его впервые. Сочетание длинной густой бороды с маленьким ростом и весьма приметным брюшком создавало впечатление несколько комичное. Но голос, хрипловатый мужественный баритон — такой услышишь через мегафон и за полмили, — придавал капитану значительность. О том, как он выглядит, Степан Ермолаевич, как видно, не очень заботился. Одет был в ватную телогрейку, такие же порядком засаленные штаны, обут в домашние туфли из нерпы и толстенные, ручной вязки носки.

Пожав мне руку, он не мешкая вскрыл серый, точно вывалянный в опилках, пакет с фирменным штампом «Заполярного большевика». Но автора для егоркинской газеты завербовать мне, похоже, не удалось.

— Вот закончим навигацию, тогда и сочиним что-нибудь. А пока хвастать нечем, — суховато произнес капитан.

И, вежливо пропустив вперед Настю и меня, пошел следом за нами в кают-компанию.

Там действительно заседал главный штаб — начиналось оперативное совещание по ледовой проводке иностранных судов, идущих из портов Европы в Сибирь за лесом. Председательствовал, как всегда в подобных случаях, директор Полярстроя. Справа и слева от Егора Адриановича по обе стороны обеденного стола, накрытого на этот раз бархатной, изрядно потертой скатертью, сидели моряки, авиаторы, ученые. Напротив капитана Грачева — профессор Михаил Михайлович Губин из Института Севера, каждую навигацию возглавлявший бюро ледовых прогнозов на флагманском ледоколе. Рядом с профессором его сотрудники: синоптики и гидрологи. Рядом с капитаном Бруно Густавович Таубе, штурман Лева Балабан, летчик Лазуренко, командир ПС-2, второй летающей лодки, пилот, как говорят про него, толковый, бывалый, пришедший к нам недавно из Сибирского управления гражданской авиации. Кроме того, присутствовали старпом, старший механик, старший судовой радист ледокола.

В столь почтенной компании мне раньше не случалось бывать, хотя еще в прошлом году, участвуя в ледовых разведках вместе с Таубе, прилетал я не раз в бухту Сидоровскую. Но тогда видел флагманский ледокол только издали — либо сверху, с воздуха, либо с берега острова, где наш экипаж отдыхал в избушке промысловых охотников.

— Ну, кворум есть, — усмехнулся Егор Адрианович, убирая в карман кожаных штанов трубку и кисет. В присутствии капитана Грачева, не терпевшего табачного дыма, он воздерживался от курения:

— Сначала рассмотрим ледовую обстановку. Прошу вас, Михаил Михалыч.

Профессор Губин встал, развернул листы карты, разложил их на столе. В южных районах полярного моря,

ближе к устьям рек, рябила мелкая цифирь глубин, давно измеренных гидрографами, цифирь, заученная капитанами в последние годы едва ли не наизусть. Дальше к северу квадраты градусной сетки сияли девственной белизной. Там еще не плавали не только транспортные, но и экспедиционные суда.

Южная часть моря на картах наглядно отличалась от северной и карандашными пометками, которые были нанесены гидрологами после воздушной разведки. Красные, синие, зеленые квадратики, ромбики, звездочки, крестики, закорючки обозначали степень сплоченности ледовых полей, возраст льда, наличие разводий. Разводья встречались редко.

Комментируя карту, профессор Губин высказался совершенно определенно. Именно в южной части моря, там, где пролегает судоходная трасса, нынче очень много льда.

— Нагрузочка нашему «Стеньке» сверх всякой нормы, — пробурчал себе в бороду капитан Грачев и посмотрел на Егора Адриановича, — не выпросить ли нам, товарищ Багров, еще один ледокол у Совторгфлота? Пусть не линейный, хоть портовый.

— Поздно спохватились, дорогой капитан, — ответил отец. — Посчитайте календарные сроки. Иностранцы, насколько нам известно, уже в пути. В Архангельске все ледоколы на летней консервации, в Ленинграде тоже.

Грачев еще более помрачнел: что верно, то верно.

— Теперь ваше мнение, Михаил Михалыч? Не попробовать ли нам высокоширотный вариант? — обратился отец к профессору Губину.

Тот обернулся к Насте, принял от нее еще несколько свернутых в трубку листов, развернул их. На синоптических картах змеились линии изобар, показывая движение воздушных масс, циклоны, антициклоны.

— Пора попробовать, Егор Адрианыч. Не век плавать вдоль бережка. Тем более что нынче, как видим, преобладают ветры северной четверти. Поскольку сплоченные поля в изобилии присутствуют в южной части моря, надо полагать, что в высоких широтах сейчас образовались большие полыньи.

— Полагать мы можем, профессор. Но обязаны еще и проверять свои предположения.

Отец обернулся к Таубе и Лазуренко:

— Разведаем северный вариант. Когда сможете вылетать? Завтра?

— Когда прикажете, товарищ директор, — Лазуренко вскочил, одернув щегольской китель, блеснув серебряными крыльями, вышитыми на левом рукаве.

— Минуточку, Семен Ильич, — остановил его Таубе, — поперед батьки не годится в петлю лезть. Или в пекло? Как это говорится на Украине?

Почувствовав, что все смотрят на него и недоумевают, с чего это он помянул поговорку, Бруно Густавович снова обратился к директору Полярстроя:

— Полагаю, Егор Адрианович, что командиру корабля ПС-2 Лазуренко, еще неопытному в полярных условиях, надлежит продолжать полеты в прибрежных районах. Разведку высоких широт прошу поручить моему экипажу. Гидроплан ПС-1 может стартовать завтра утром.

— Добро, — кивнул отец, — ни пуха вам, ни пера.

Он пересел с председательского места на левую сторону стола к Балабану.

— А что, Лев Самойлыч, уважаемый аэронавигатор, если проложить вам завтра курс этак вот вдоль западных берегов Ледяной Земли? Хаживал я там когда-то и на лыжах и на собаках с покойным Евгением Фридриховичем Крюгером. Первые карты архипелага он чертил. А корректировал их Болховской Юрий Андреич, тоже, как говорится, царствие ему небесное.

— Болховской, — уважительно протянул профессор Губин, — знал я его как отличного гидрографа. Яркий был человек. Обидно за него, не туда пошел.

— Так вот. Может, в полете и островок его посчастливится вам обнаружить. Тот, ги-по-те-ти-чес-кий. — Егор Адрианович улыбнулся.

Рука отца потянулась чуть к западу от архипелага Ледяная Земля. Мягким карандашом он начертил там кружок, совсем крохотный. Поставил большую букву Б и рядом знак вопроса.

Совещание закончилось. Капитан Грачев пригласил всех на ужин. Таубе остался ночевать у Насти в крохотной ее каютке. А мы с Левой Балабаном вернулись на берег помогать папе Кузе. Катали бочки с горючим от склада к берегу, подвозили их на шлюпке к стоявшему на якорях гидроплану. Маялись до полуночи, благо солнце не заходит. После заправки машины я, уста-

лый, доплелся до избушки охотников и тут же заснул как убитый. К вылету толком не выспался, на старте клевал носом.

Бруно Густавович неодобрительно покосился на меня, поджал губы и, как всегда, уверенно повел машину на взлет. Сначала крылатая лодка по обыкновению чуть зарывалась во встречные небольшие волны — беднягу Леву через козырек носовой штурманской кабины окатывало брызгами, — потом вышла на редан. Таубе взял штурвал на себя, и послушная его руке махина весом в добрых восемь тонн оторвалась от рябившей под ветром поверхности бухты. Чуть припав на крыло над скалистым островом Сидорова, она начала набирать высоту. Не сомневаюсь: в эти минуты Кузьма Дорофеевич там, у себя под моторной гондолой, довольно крякнул: «Так держать».

Через час после старта из бухты Сидорова, когда под нами начинает пестреть морская мозаика — сероватые с прозеленью льды вперемежку с темными пятнами разводий, — командир передает штурвал мне, пишет несколько слов на отрывном листке блокнота и, нагнувшись со своего кресла, передает записку в переднюю штурманскую кабину. Вскоре она возвращается оттуда с ответом Балабана. Наш аэронавигатор уже прикинул необходимую поправку к компасному курсу, настроил пеленгаторную рамку на береговые радиостанции бухты Сидорова, мыса Амундсена и Егоркиного порта. К трехстрочному донесению Лева приписывает по обыкновению еще два слова: «Аптека. Веревочка». Означают они вот что: штурманом учтены навигационные особенности начавшегося маршрута, а также прогноз погоды на ближайшие часы. Все учтено со скрупулезной точностью взвешивания на аптекарских весах. Благодаря радио самолет над бескрайним морем надежно привязан к далеким наземным ориентирам.

Прочитав записку, глянув на приборную доску — как там обороты моторов, давление масла и прочее, — Таубе сбрасывает с правой руки перчатку, поглаживает гладко выбритую щеку. Знаю, так командир выражает удовлетворение работой экипажа.

Летим. Держим высоту метров триста-четыреста, не больше, чтобы хорошо были видны льды. Их состояние штурман отмечает короткими записями в бортжурнале. Когда облака сгущаются и начинают «придавливать»

нас, снижаемся до бреющего. Теперь уже льды и разводья выглядят отнюдь не плоскими, будто нарисованными, как еще недавно, теперь они обретают объемные очертания. Стремительно мелькают под самым брюхом машины нагромождения торосов, похожие на игрушечные макеты горных хребтов. Черными окнами полыней смотрит на нас пучина. Не бездонная, конечно: тут, на материковой отмели, глубины невелики — десятки метров, ну сотня, ну две сотни от силы. Но и этого достаточно, чтобы утонуть, если, не ровен час, нырнешь, упустив штурвал. Костей не соберешь, в куски разнесет машину, если, потеряв высоту, врежешься в торосы!

Раньше, в прошлых полетах над морем, командир сразу же забирал у меня штурвал, едва мы переходили на бреющий. А теперь доверяет, только поглядывает искоса, все время чувствую на себе его чуть сощуренный глаз.

Но вот мы увязаем в киселе тумана. И тогда за штурвалом снова Таубе. Машина лезет вверх. Моторы ревут натужно. Корпус дрожит, вибрирует. Знаю, нарастает ледяная корочка на крыльях. Тут и форсаж моторов не поможет, хоть и старается сейчас по этой части папа Кузя. Тяжелеет наша «гидра», тянет ее книзу нарастающий вес.

Все же вылезаем за верхнюю кромку облачности. Грязная влажная вата клубится под нами, лижет днище лодки. Зато наверху — чистота, синева, солнышко! Переходим на горизонтальный полет. За штурвалом снова я. Таубе пишет на отрывном листе Балабану: «Как там антенна?» Это означает — не оборвалась ли она под тяжестью льда? «Нет», — отвечает Лева.

Истончается, постепенно испаряется вовсе в солнечных лучах и ледяная корочка на крыльях.

В пилотской появляется папа Кузя. В руках его, темных от масляных пятен, термос с горячим кофе, свертки с бутербродами, приготовленными мною перед вылетом. «Фуражирование экипажа», как выражается Бруно Густавович, на обязанности второго пилота. Всегда на стоянках я и снабженец и кок. А в воздухе уже папа Кузя наш кормилец и поилец.

Подкрепиться, согреться малость самое время. В открытых кабинах, прямо скажем, не жарко. Не спасают от промозглой сырости ни кожаные регланы на меху, ни пыжиковые чулки под болотными сапогами.

Так бывает всегда в ледовой разведке. Так было и в этом памятном нашем полете к высоким широтам, когда впервые удалось взглянуть с воздуха на западные берега Ледяной Земли, нанесенной на карту еще до революции экспедицией Болховского.

Надо ли говорить о волнении, охватившем меня при виде ледников, чьи сахарные головы вдруг выныривали из низких облаков. Как хотелось заглянуть под облака, увидеть серые осыпи береговых обрывов, вдающиеся в море галечные косы, отгороженные ими лагуны, заснеженную тундру и многое другое, о чем читал я в дневниках Болховского. Хотелось, чтобы облака разошлись, чтобы можно было приметить с воздуха ту избушку из плавника, которую построил отец вместе с Крюгером и матросами.

Мечты, мечты... А реальная цель нашего полета совсем иная: разведать новый путь кораблям. Правы командир и штурман, придерживаясь курса более мористого, более западного.

Вот и скрылись береговые ледники. Облака разошлись. Снова под нами белесая скатерть ледяного покрова моря. Да, именно скатерть, ровная, гладкая, такой она видится с высоты, дымка скрадывает неровности торосистых нагромождений. Разводий не видно, льды сплоченные. Где же ожидаемые нашим профессором большие полыньи? Удастся ли найти для кораблей чистую воду?

Однако что это? Скатерть будто смята, разорвана чьей-то неведомой могучей рукой: трещины, трещины... Расширяясь, они переходят в разводья. Лед под нами сначала крупнобитый, потом и мелкобитый. А вот и широченная полынья до самого горизонта. Море, свободное ото льда. Нет, не зря зовет батя «кудесником» Михаила Михайловича Губина. В высоких широтах блистательно оправдывается его прогноз.

По переборке, отделяющей нашу кабину от штурманской, рассыпалась барабанная дробь, явственно слышная и в оглушающем реве моторов. Это Лева выражает свой восторг.

Взволнован, обрадован и Бруно Густавович, обычно невозмутимый. Бледные щеки его засветились румянцем. Передав мне штурвал, он пишет на листке: «Л/К Разин Багрову Грачеву Губину...»

Листок с тремя карандашными строчками отправлен

в штурманскую. Знаю, Лева берется за ключ, отстукивает свои позывные, приветствует дядю Ваню Чудихина, разинского старшего радиста, которого знает вся Арктика. Дядя Ваня, ворчун и сквернослов, по привычке что-то бурчит себе под нос, но, записав Левину депешу, меняется в лице, бежит из радиорубки к Егору Адриановичу. Отец, прочитав радиограмму, довольный, трет лысину, поднимается на мостик, поздравляет Грачева и Губина.

А «гидра» наша тем временем идет над чистой водой, галс за галсом, строго следуя ломаной курсовой черте. Теперь уже Лева делает пометки на ледовой карте. Карандаши — красный, зеленый, коричневый, желтый — отложены в сторону. Никаких квадратиков, ромбиков, крестиков, закорючек — на карте сплошная голубизна. Никаких льдов, в высоких широтах чистая вода! Большая полынья на семьдесят девятой параллели, там, где никогда прежде не плавали корабли, куда не залетали самолеты.

Мы, экипаж Таубе, — первооткрыватели!

На Бруно Густавовича радостно смотреть: сняв шлем, не замечая ветра, он расчесывает гребешком редкие соломенные свои волосы. Он даже взмок от переживаний, наш сухарь!

Легкий толчок умерил мои восторги. Таубе принимает от меня штурвал. Снова он сосредоточен, невозмутим в плотно нахлобученном шлеме. Взглянув на показатель расхода горючего, Бруно Густавович обменялся записками с Левой и теперь закладывал крутой вираж. Лодка наша ложилась на обратный курс. Ага, значит, пойдем к бухте Сидорова вдоль разводий, пойдем на юг, уточняя будущий безопасный, свободный ото льдов маршрут для «Степана Разина».

И с погодой нам начинает везти! Видимость улучшилась настолько, что вдали с левого борта проступают очертания берегов Ледяной Земли. А под нами и вовсе ни единого облачка, ни малейшего намека на туман. Довольный и усталый, я приваливаюсь к спинке кресла, поднимаю воротник реглана, начинаю подремывать. Как-никак полет продолжается шестой час, есть от чего и притомиться...

Проснулся от резкого крена. Таубе разворачивал машину, вел на снижение. Глянув вниз, я спросонья не мог взять в толк, откуда вдруг появилось там боль-

шущее ледяное поле, серовато-грязное, пятнистое, резко выделяющееся окраской от окружавшей его морской воды.

Командир сделал круг, пошел на второй, снизившись почти до бреющего. Заняло это несколько минут. И тогда только, окончательно проснувшись, я разглядел: под нами суша, песчаная коса, за ней чистая ото льда лагуна, столь мелководная, что сверху просматривается дно. За лагуной тундра с крохотным, не освободившимся еще ото льда озерком.

Суша? Земля? Откуда тут быть земле?

Из-под переборки, разделяющей кабины пилотскую и штурманскую, вынырнула взъерошенная Левина голова, шлем с радионаушниками он, видимо, сбросил от волнения. Лева что-то кричал, но в реве моторов нельзя разобрать ни слова. Кричал и совал под нос Бруно Густавовичу сильно помятую карту, где к западу от Ледяной Земли был нарисован карандашом кружок с большой буквой Б и вопросительным знаком. Ту самую карту, над которой вчера штурман сидел в кают-компании «Разина» вместе с Егором Адриановичем. И кружок начертил, и букву с вопросительным знаком поставил мой отец!

Остров Болховского! Гипотетический, предполагаемый на основе теоретических расчетов давно умершего русского гидрографа! Значит, существует он, неизвестный доселе клочок суши к западу от Ледяной Земли. Значит, наш высокоширотный полет увенчался не только успешной разведкой, но и географическим открытием!

Эх, черт возьми, будь я командиром, сразу пошел бы сейчас на посадку, приводнился бы без раздумий в этой узенькой лагуне за песчаной косой. Хотя нет, лагуна мелковата. Лучше садиться с внешней стороны косы, благо в море ни единой льдинки. Эх, почему я не командир сейчас?!

Потому что молод ты, Никита, и глуп. Так, наверное, думает сейчас Бруно Густавович Таубе, чуть улыбаясь углом рта. Он никогда не торопится и потому всюду поспевает. Дав Балабану время сделать аэроснимок и взять секстантом высоту солнца, командир набирает высоту, ложится на прежний курс, к бухте Сидорова. Нечего медлить с возвращением, когда горючее на пределе. С открытым нами островом все еще успеется!

Придет сюда экспедиционное судно, гидрографы промерят глубины у берегов, геодезисты построят астрономические знаки, снимут координаты, картографы вычертят подробную точную карту. И конечно, со временем появится тут зимовка — научная станция Института Севера. Может быть, и самолеты будут регулярно прилетать сюда.

А пока что скорей бы вернуться в Сидоровскую! Взобраться по штормтрапу на борт «Разина», всех ошеломить нашим открытием: отца, Губина, Грачева, Настю... И сразу в судовую радиорубку, пусть там радист отстучит радиограмму в Егоркино, чтобы Дюшка-первопечатник мог порадовать человечество сенсацией со страниц своего «Заполярного большевика».

До чего не терпится домой... Однако путевая скорость с каждым часом обратного пути заметно снижалась. От сибирского берега, пока еще далекого, дул резкий встречный ветер. Сгущались облака, прижимая машину к морю. Бросало так, что мы с командиром изо всех сил тянули штурвалы на себя. Никогда прежде не испытывал я такой физической усталости, сидя в пилотском кресле, никогда не чувствовал себя настолько вымотанным.

На одиннадцатом часу полета прямо по курсу проступил далекий зигзаг берега острова Сидорова. Наконец-то! Горючее близко к нулю. Хлопочет сейчас у баков Кузьма Дорофеевич, подкачивает остатки ручной помпой. Ладно! Дотянем как-нибудь. Развернемся над скалами материкового берега, на худой конец сядем в проливе, хоть и волна там сейчас. Да черт с ней, с волной. Как-нибудь сядем, будем рулить из пролива в островную бухту. Вышлют нам оттуда катера на подмогу. Наверное, уже выслали... Конечно, сядем!

...То, что произошло в последующие минуты, я восстанавливал в памяти спустя два месяца, освободившись от гипса, читая подробный акт аварийной комиссии. Поток воздуха от вершины горы на материковом берегу обрушился на самолет, летевший на меньшей высоте, и с такой силой бросил машину к воде, что при ударе о волны оба мотора вырвались из гнезд. Грохнулись сверху на пилотскую, придавили и командира и меня.

Для Таубе страшный удар оказался смертельным. У меня сотрясение мозга, переломы правой ключицы

и руки выше локтя. А Лева Балабан вместе со своей передней кабиной, сразу же оторвавшейся от корпуса, камнем пошел ко дну... В студеной пучине нашел могилу наш Лева!

Небольшими сравнительно ушибами отделался только Кузьма Дорофеевич, находившийся в момент катастрофы под моторной гондолой, между баками, уже освобожденными от горючего. Он не только сам выплыл, но и меня, бесчувственного, прибуксировал на каком-то обломке к берегу, где подобрал нас рейдовый катер.

Так завершился первый год моей летной службы на Севере, который Егор Адрианович назвал «испытательным сроком».

— Держись, парень, — ободрял отец, навещая меня в больницах, сначала в Егоркине, потом в Новосибирске, — за одного битого двух небитых дают. Теперь, парень, дружба у тебя с Арктикой на всю жизнь.



ГЛАВА 5

К НИМ НЕ ПРИКАСАЛСЯ ПОЧТАЛЬОН

Пишет Никита Багров

Никогда прежде не получал я столь объемистого пакета, как тот, что ожидал меня в Архангельске на Поморской, у бабушки. Извлекая его из комода, Таисья Федоровна сразу же обратила мое внимание на отсутствие каких-либо надписей, штемпелей, марок:

— Не почтальон принес, как видишь. Настенька тебе оставила. Вручить приказала самолично.

Я взял пакет. Бабушка тем временем пристально оглядела меня, как, бывало, оглядывала давным-давно, в детские мои годы, отправляя утром в школу. Спросила про леченье в сибирских больницах, в которых я лежал после прошлогодней аварии, про санаторий на Алтае, где потом привелось мне отдыхать, про полеты, возобновленные мною на Егоркинской авиалинии. И подвела итог:

— С того света вернулся, Никеша. Стало быть, господь сохранил. А Густавычу, значит, царствие небес-

ное. Правильный был человек, хоть и ненашенской веры.

Перекрестилась, помолчала, глядя на пакет:

— Настенька-то на энтот остров, на Болховской, собралась, будто в скит. Вдовушка...

И бабушка стала рассказывать, как снаряжался в Архангельске корабль «Алексей Чириков», который везет первых зимовщиков на новую полярную станцию Института Севера:

— До самой до Красной пристани Настеньку проводила. Благословила, конечно. А у самой слезы в три ручья. Вот ведь жизнь пошла. Точно цыгане какие, прости господи: она туды, он сюды. А что бы у старухи собраться в кои веки, самовар вздуть.

Отвечал я на бабушкины расспросы как-то невпопад. Отца и брата успел повидать совсем недавно. А вот с Настей что? Знаю только, что зимовать она уехала надолго, на год, может быть, и на два. Тоскую, ведь целый год ее уже не видел — с той самой аварии в Большерецком заливе, с последнего полета, когда был вместе с Таубе. Знаю, уверен: тяжким стал для Насти первый год вдовьей жизни. И не удивляюсь тому, сколь объемист пакет, тщательно упакованный в газетную бумагу. Понимаю: есть Настене чем поделиться с братом, что рассказать товарищу покойного мужа.

Бабушка тем временем хлопотала у чайного стола:

— Ты кушай, Никеша, трешшочка у меня сей год свежая, прямо с тральщика. А ты, Никеша, парень хоть куда, гляди, как выровнялся. Невесту, однако, не присмотрел еще?

Накормив, напоив меня, вдосталь поохав, Таисья Федоровна отправилась ко всенощной: был канун какого-то «святого дня», то ли Петрова, то ли Ильина.

А я как сел на диван, вскрыв Настин пакет, так и просидел до самого бабушкиного возвращения. И потом еще ночью, когда Таисья Федоровна уже уснула, не раз вскакивал, уходил на кухню. Включал там свет, вновь и вновь перечитывал страницы, испещренные торопливым Настиным почерком. Разные, несхожие меж собой листки: и желтоватые, будто выцветшие от времени, и белые, глянцевитые, со строчками, четко выведенными пером, по всему видать, совсем недавно.

Присмотревшись, я понял, что эти письма написаны

Настей в разные периоды ее жизни. Все они были адресованы мне.

Вспомнилось, как однажды при мимолетней встрече в доме отца в Новосибирске — она ехала зимовать в Егоркино по окончании университета, я отбывал в Коктебель к месту летной службы — сестра заметила мне со снисходительной улыбкой:

— На переписку с тобой, крылатый человек, не рассчитываю. Некогда тебе письма писать, знаю. — Посмотрела куда-то вдаль, мимо меня. Помолчав, добавила: — А жаль... Порою так хочется поделиться с близким человеком. — И закончила совсем тихо, почти шепотом: — Просто поделиться. Да...

И вот теперь, спустя три года, эта Настина фраза опять зазвучала во мне, будто услышанная впервые, будто только сейчас я осознал ее смысл. Зазвучала в доме бабушки, где позавчера еще была Настя, где еще ощущалось ее присутствие и откуда она ушла надолго, уплыла в студеное море. Тем драгоценнее стал для меня ворох листков, лежавший передо мной на столе. Листков, датированных разными годами, написанных в городах, отстоящих друг от друга на тысячи километров. Письма эти дороги мне как штрихи Настиного облика, как память о нашем общем детстве и юности, о вырастившей нас семье, о дорогих нам обоим людях.

И еще примечательно в этих письмах вот что: Настя решилась отправить их мне все сразу, видимо, потому, что сама уезжала в Арктику с внутренней тревогой: «А вдруг не вернусь?»

Итак, сначала тетрадный листок с несколькими карандашными строчками:

«Мой дорогой, мой самый хороший!

Так и не дождалась я тебя. Обидно... Но, пожалуй, еще обиднее было бы дождаться, свидеться, поболтать о пустяках. И промолчать о главном — о том, что мучит не только меня, но, возможно, и тебя. Наверняка промолчали бы мы оба, потому что говорить об этом очень трудно. Я не говорила никому. Только писала, когда становилось очень уж невмоготу. Всегда писала только тебе. Многое из написанного рвала в клочья, но некоторые письма прятала, берегла.

Теперь, уезжая далеко и надолго, перечитала то, что сохранилось. Помнишь, у Блока: «Я, не спеша, собрал бесстрастно воспоминанья и дела». Так вот, моя жизнь,

конечно, далеко еще не прошла, но сложилась нелепо. Не знаю, как сложится дальше, через год или два, когда вернусь с зимовки. Ничего вообще не знаю, ни в чем не уверена...»

Дальше шли три письма. Первые два на пожелтевшей уже бумаге, чернила блеклые. Третье — недавнее.

Письма Насти

Письмо первое — из Москвы. Ноябрь 1928 года.

«Дорогой Кит!

У вас в Архангельске уже настоящая зима. И ты и Дюшка, наверно, бегаете на лыжах по Двине. И конечно, разбойники, пропускаете уроки в школе. Скользите по свежему насту к самому ледокольному фарватеру на середине реки, смотрите в корму последнего парохода, уходящего из порта. И мечтаете, фантазируете.

Хочется и мне бродяжничать, странствовать. Не обязательно в море, только бы выбраться из опостылевшей Москвы. На лекции третий день не хожу. И вовсе не потому, что дождь и слякоть. Нет, просто уж очень противно тащиться в переполненном, битком набитом трамвае из нашей дыры Останкина на Моховую, в университет. Слушать перебранку соседей, получать тычки. И ощущать, сознавать, что всем людям на свете решительно на меня наплевать, что одна-одинешенька я теперь.

Вот уже неделю как одна. Человек, которому я верила, обманул. Я считала его честным, добрым, смелым, бескорыстным ученым. А он оказался лгуном, трусом, любящим только себя. Испугался моей беременности... Потом, когда я вышла из больницы, прислал цветы и прощальное письмо: уезжает во Владивосток, получил назначение в тамошний вуз. Просил прийти на вокзал. Я не пошла. И к телефону не подходила, когда он звонил в общежитие.

Как видишь, банальная история. Сколько подобных историй прочитано в приложениях к старой «Ниве» и в прочей книжной рухляди, которую раскапывала я на соседском чердаке, а ты тайком таскал у меня и читал по ночам.

Исповедуюсь тебе, младшему брату, только потому, что знаю: письмо не пошлю по адресу. Ведь, если послать, ты, прочитав, бросишь школу и помчишь из Архангельска во Владивосток заступаться за свою сестру.

Ты всегда за меня заступался, Кит! С того самого дня, когда познакомились мы на вокзальном перроне Левого берега, когда привез отец маму Лику и тебя с Дюшкой в Архангельск из Сибири.

— Вот, Настенька, и папаня наш, и маманя новая, и братишки. Поздоровкайся! — это бабушка мне.

А я стеснялась. Родную свою мать, маму Дуню, покойницу, знала только по фотографии. Отца видела до того раза два, не помнила, в сущности.

Батя сразу меня на руки — закружил, зацеловал, рассмешил. Мама Лика обняла, нежно так, степенно. Приголубила, доченькой назвала.

Потом пошли мы на пароход — переправляться в город. На палубе, только на лавку сели, я с мамой Ликой сразу в обнимку, щекой к щеке. А Дюшка — сколько ему тогда, и трех годов не было — таким оказался ревнивцем. Не захотел меня в сестры принимать. «Моя,— кричит, — мама!» Хвать меня за косу, как рванет. Я реветь. Отец с бабушкой смеются, нейтралитет выдерживают. И вот тут ты, Никита, навел порядок в семье, установил справедливость. Достал из кармана два леденца в крошках, в соринках, один протянул мне, другой Дюшке. Потом к Лии Яковлевне на колени влез, сказал: «Наша мама, и девочка наша». Почти двенадцать лет прошло с того дня. Но никогда не забуду весеннюю холодную Двину, последние подтаявшие льды, студеный ветер от устья. Красный бант на бушлате отца, сдвинутую со лба бескозырку, ленточку с якорем. Маму Лику в оленьей дошке и расшитых бисером пимах. С боязливым любопытством оглядывала она оживленный портовый рейд, вздрагивала от частых пароходных гудков. Такая милая и такая красивая. Словно из сказки.

Тогда-то вот по-девчоночьи я влюбилась в маму Лику и тогда стала присматриваться к тебе, Китенок. Наш, значит, мальчик, а вроде бы и чужой. Особенный какой-то, лицом темненький, будто цыганенок. И стесняется чего-то, тихий, диковатый, на соседских дворовых ребят, драчунов и дразнилок, совсем непохож. Однако ты

в свои пять лет держался со мною, девятилетней, на равных. На расспросы мои отвечал обстоятельно, с этакой важностью. Вокруг поглядывал хоть и с любопытством, но без особого восхищения. Я попробовала прихвастнуть Двиной: вот, мол, какая река большущая. Ты поднял брови: «Не-е, вот у нас Большая Река — это да».

Я показала на корабли у портовых причалов: «С моря пришли». Ты протяжно вздохнул: «Море. Там дедушка утонул». И тогда море, всегда меня чем-то манившее издалека, показалось вдруг страсть до чего недобрым, не нашим. Стало обидно и за дедушку твоего, и за тебя. И о своем архангельском деде, умершем до моего рождения — о нем бабушка поминала изредка непонятной мне фразой «царствие небесное», — впервые тогда подумала я с грустью.

И еще запомнилось, как, приехав в Соломбалу, вошли мы все в нашу каморку, пропахшую мылом и сырым бельем. Развязали узлы, раскрыли сундучки, стали к ночи спать устраиваться. Нас, троих малышей, бабушка уложила на свою кровать. Взрослым постелила на полу. Мама Лика все старалась своей оленьей дошкой закрыть щель в углу.

Ходил отец в городскую управу грудью вперед, звенел крестом, медалями, хлопотал насчет жилья. Но до конца отпуска так ничего и не выходил, георгиевский кавалер.

А потом, это уже через год примерно, поселились мы по ордеру Совета на Поморской, две комнаты дали нам на втором этаже.

Но и тут недолго был с нами батя. Как-то ночью летом, совсем было светло, он вдруг забежал проститься. «Отступаем! — сказал, — в городе белые». Спали вы оба: и Дюшка и ты. Бабушка перекрестила вас, укрыла с головами. На меня цыкнула. Но я, конечно, заснуть не могла. Из-под одеяла подсматривала одним глазом. Видела отца, перепоясанного пулеметными лентами, обвешанного гранатами поверх кожанки, маму Лику, вскочившую с постели в одной рубашке, прильнувшую к отцовой груди.

Я понимала: отец уходит надолго. Но не тревожилась за него. Потому, наверное, что привыкла: то папаня царю служит на корабле, то зверя добывает где-то в Сибири, то с германцем воюет на Балтийском море, то

царя прогоняет куда-то вон из Питера — так бабушка мне рассказывала об отце. А вот маму Лику очень мне было жалко той ночью: маленькая ведь, ростом чуть повыше меня. К городу нашему все никак не может привыкнуть — на трамвай не сядет, пешком идет; с рынка вернется — обсчитают ее торговцы. Нет, не мачехой, старшей взрослой подружкой считала я маму Лику.

Что потом было, памятно нам обоим, Китенок.

Темными осенними ночами просыпались мы от частой стрельбы. Знали: стреляют на Мхах. Помнили: недалеко там городская тюрьма, да и наша Поморская своим концом упирается в эти Мхи.

А днем музыка играла в городском саду. Людно было и на Соборной площади, и на Троицкой, и на Двинской набережной. «Чистая публика», — говорила бабушка, фыркая, поджимая губы. Меня смешили шотландские стрелки в юбочках. Французские матросы в синих беретах с красными помпонами, не скрою, мне нравились. А вот англичан в отутюженных открытых френчах и галстуках почему-то сразу невзлюбила я. Может быть, потому, что один такой господин как-то очень назойливо заговаривал с мамой Ликой, когда вывела она нас троих в воскресенье на Березовый бульвар.

Ты с Дюшкой — сразу под откос, к воде, мы с мамой Ликой присели на лавочку. И тогда долго от нас не отходил англичанин с твердым подбородком и розовым стриженым затылком.

Ну, мама Лика, сам знаешь, и дома не говорунья. Так «мистер» решил со мной знакомство начать. Сует мне шоколадку, лопочет что-то. А меня только смех разбирает от его ломаного русского языка.

Тут из-под откоса ты вынырнул, Дюшку за руку тянешь — штаны у него оказались мокрые. Вот и повела нас мама Лика домой, так и не приняв ухаживаний настырного англичанина.

Едва началась зима, побежали мы с тобой на каток в воскресенье днем.

Горку не терпелось мне поглядеть, про которую столько всякой болтовни было у нас в школе. Иностранцы, мол, построили, и такая эта горка крутая, что скатиться с нее на коньках невозможно. Подъезжаю, гляжу — толпа. И которые в юбочках, и с помпонами на беретах — все здесь. Толкуют что-то по-своему, над на-

шей ребятней смеются. «Попробуйте съехать, кто смелый». Прямо-таки дразнят ребят. Никто не решается: очень уж круто. Даже Петька Бурков и Валька Пономарев из ремесленного, уж на что отчаянные, и те взобрались по лесенке на площадку, глянули вниз — и обратно по лесенке же. Французские матросы гогочут, помпоны на беретах трясутся. Архангельские мальчишки сбились в стайку, нахохлились, как воробьи: и обидно им, и боязно. Вижу, и ты, Китенок, выглядываешь из-за чьей-то спины. Без коньков стоишь, поскольку «снегурочки» на всю семью одни у нас были, веревками к валенкам их прикручивали. Проталкиваешься ты ко мне: «Дай коньки, сейчас скачусь с горки». Тут уж и мне стыдно стало: «Китенок, — думаю, — малыш, еще и в школу не ходит. А я, трусиха, уже во втором классе».

Взбежала по лесенке, глянула с верхней площадки, дух у меня захватило. Оттолкнулась и вниз. Не сама покатилась, злость, обида вниз меня понесли под уклон по ледяному желобу. Дальше после спуска ледяной желоб шел горизонтально через полянку. Тут показалось мне, будто приподняло меня какой-то силой, будто вверх подкинуло. Выбросило меня на повороте в сугроб, тоже заледенелый сверху, так шмякнуло, что потемнело в глазах.

Очнулась, правой ногой двинуть не могу. Вокруг, вижу, и ребят и взрослых полно: англичане, французы, шотландцы. Какой-то унтер из беляков с повязкой на рукаве — из комендантского патруля, что ли. Все кричат, галдят, за доктором посылают. А моряк в берете с помпоном, тот мордастый, что ребят особенно подзадоривал, нагнулся надо мною, вроде бы хочет помочь мне встать. «Пардон, пардон» и еще что-то по-своему. Так мне противно стало, сивухой от него разит, табачищем. Лежу на снегу, реву. Как ни повернусь — все больно. И вдруг вижу сквозь слезы: пробирается в сутолоке мальчонка в большущих валенках, сует этому моряку с помпоном кулачишко свой в бок и, приподнявшись на цыпочки, плюет в лицо.

Поступил ты, Кит, конечно, геройски. И все, кто был вокруг, это поняли, ни у кого из присутствующих рука не поднялась отодрать тебя за уши.

Потом я лежала дома с ногой в лубке. Бабушка с мамой Ликой плакали, Дюшка тоже ревел вовсю. Один

ты, мужественный человек, поддерживал во мне бодрость. Сядешь у кровати, раскроешь книжку сказок и давай читать по складам. И вдруг ни с того ни с чего: «Нась, а Нась, ты ведь тогда прямо по воздуху летела. — Прочитаешь страничку и опять: — Знаешь, Нась, я тоже летать хочу, по-взаправдашнему, с крыльями. Я, Нась, вчера на Маймаксе этот, как его, гидроплан видел».

Я думаю сейчас, не с той ли ранней поры начинается мой «суфражизм», над которым так любит подтрунивать отец. Точно определить затрудняюсь, но стремление быть наравне с мальчишками всегда было свойственно моему характеру. Одноклассники и поколачивали меня, и в альбоме моем рисовали сердце, пронзенное стрелой. Я то обижалась до слез, то начинала воображать бог весть что. Но в общем усматривала во всей мужской половине рода человеческого источник навязчивых, необъяснимых тревог. Исключение представляли для меня лишь вы, братишки. Оба вы младше меня, но Дюшку я никогда не принимала всерьез, а тебя, Кит, почитала не только ровней себе, но и даже инстинктивно искала в тебе защиту.

Одна игра наша «в кибитку» чего стоила. Как роли распределялись, помнишь? Я — мать, ты — отец, Дюшонок — наше дитя. Когда очень уж холодно становилось в нетопленых комнатах на Поморской, забирались мы втроем на бабушкину кровать, воздвигали из подушек и одеял эту самую «кибитку», потом «запрягали» в нее то Сивку-Бурку, то Конька-Горбунка, то добрых наших северных оленей. И, фантазируя, уносились невесть в какую даль из голодного, постылого Архангельска — чаще всего «на фронт», к отцу нашему Егору, храброму моряку и грозному комиссару.

В то голодное лето бабушка посылала нас к тетке Аксинье малость подкормиться. Уходя рыбачить на дальние лесные протоки, брала тетка нас в лодку. Голышами трудились мы на веслах, честно зарабатывая мозоли и волдыри. Ныряли с борта, если надо было распутать зацепившуюся за корягу сеть. Наперегонки старались нарвать побольше желтых кувшинок и белых лилий. И оба не замечали своей наготы.

Один только раз ты вдруг страшно застыдился, когда тетка вытянула за волосы тебя, посиневшего, из ямы

под обрывом. Ты забрался туда, стараясь выманить сома. Застыдился ты и ужас до чего разобиделся, но не на тетку Аксинью, а на меня, когда погладила я твою гусиную пупырчатую кожу. Оттолкнул, едва не ударил, схватил штанишки, рубаху и прыг с лодки на берег.

Наступила мучительная для нас обоих пора взаимного отчуждения, враждебности, хотя и не было к тому решительно никаких причин. С утра до вечера мы злились друг на друга, вдруг неожиданно начинали «дразниться». Ты обзывал меня «рыжей кошкой», «конопатой ведьмой».

Я в отместку обзывала тебя «самоедом», «цыганом», «ходей». И в то же время завидовала смуглой твоей коже, темным твоим, чуточку раскосым глазам, точь-в-точь как у мамы Лики, которая, по моим понятиям, писаная красавица. Нравилось мне, что и волосы у тебя густые и жесткие, как щетка. Что вовсе не забияка ты, не драчун. В отличие от мальчишек с нашего двора кошек не мучаешь, птицу какую, если и поймаешь когда, сразу отпустишь на волю. Знала, что добрый ты, Кит, но «рыжую, конопатую» простить тебе не могла.

Странно это, но вздорная ребячья враждебность между нами продолжалась и в пору наибольшего, казалось бы, благополучия в семье. Вместе с Красной Армией, вступившей в Архангельск, возвратился домой отец. Мама Лика, совсем было привыкшая к жизни затворницы, стала ходить с ним под ручку «на люди». То митинг на площади у собора, то собрание в городском театре. Бабушку нашу соседи стали называть теперь не просто «Федоровной» или «теткой Таисьей», а «Таисьей Федоровной». Мы, ребятня, из «багровского комиссарского отродья» превратились вдруг в «деток Егора Андреяныча».

Из бывшего городского начального училища, ставшего единой трудовой школой первой ступени, меня перевели в бывшую гимназию — там первая и вторая ступени вместе. Определили учиться и тебя. Но ты ни за что не соглашался, чтобы отводила тебя на занятия старшая сестра. Такие скандалы устраивал дома, что пришлось нашему бате достать из-под кителя черный ремень с двуглавым орлом и якорем на пряжке.

Однако и отеческое внушение не подняло в твоих глазах авторитет старшей сестры. В школу ты удирал

спозаранку то один, то в компании с такими же сорванцами, соседями по двору. Мне такое твое своеволие пришлось по нраву. Смирилась с ним в конце концов и бабушка.

Школа еще больше разобщила нас. Но до поры до времени. До той грустной поры, когда вдруг, заболев сыпняком, промучившись две недели в жару и бреду, умерла мама Лика. Большего горя, большей потери я представить себе не могла. Ведь о родной своей матери я знала только по рассказам бабушки. «Царь-девка была Авдотья, первая невеста в Черном Яру, — говорила бабушка. — И нравная: невенчанная с Егорушкой гуляла, всем купцам да приказчикам, что свататься ездили, ради нашего голодранца отставку дала». Понимала я с бабушкиных слов только одно: была у меня мать, пока сама я на свет не появилась. А мама Лика сразу прочно вошла в мой девчоночий мирок: рукодельница, певунья. Так я в нее влюбилась с первого взгляда, с первого ее ласкового слова ко мне.

Глазам своим не верила, увидев маму Лику в гробу. Понять ничего не могла: как же такое стряслось?

Похоронили ее, и сразу отец отдалился от нас. То каждый вечер он был дома, а теперь и ночевать стал на службе, в порту. Такая там была горячка, пока поднимали корабли, затопленные белыми. Потом и вовсе исчез батя — в Мурманск послали его заведовать рыбным флотом. Уехал и не пишет. Будто и не остались у него ребята в Архангельске, будто и не маршировали мы трое под его команду, распевая на весь двор: «Вперед, краснофлотцы!»

Бабушка на отца не обижалась, понимала: опустел для него дом. Бабушка говорила: «Нам с тобой, Настенька, покойница наказала парней ростить. Мы с тобой за Никешу и Андреяшу перед господом в ответе». Мне бабушкины слова, конечно, льстили. Но положа руку на сердце признаюсь: росли вы оба отлично и без моей опеки. Следить же за вашими мокрыми носами и вечно сырой обувью я просто не поспевала, наверное, потому, что все больше занимала меня собственная внешность. Сколько раз бабушка, обшивавшая, обстирывавшая нас троих, прогоняла меня от зеркала, называла «вертихвосткой», корила «кавалерами-провожальщиками». Ничто не помогало. Я стремительно вырастала из платьев, изобретала все новые и новые прически.

А мальчишки, которые еще недавно поколачивали меня и рисовали сердца, пронзенные стрелами, теперь после уроков почтительно носили мою сумку с книгами, подолгу простаивали у наших ворот.

Потом школьные сверстники уступили место парням из морского техникума, ребятам бывалым, повидавшим кое-что и в море и на берегу. Те откровенно и грубовато льстили моему девчоночьему самомнению, предсказывая то штурманский диплом, то, как минимум, должность судовой радистки. Ну а я в свои восемнадцать мечтала о дальних экзотических путешествиях: за экватор, в Арктику. Поклонники не скупились на комплименты, все чаще приглашали на вечеринки. Однажды летней светлой ночью после танцев в городском парке всей компанией увязались провожать. Что могло произойти дальше в соседнем с нашим глухом дворе, представить себе нетрудно. Но великовозрастных балбесов внезапно атаковал мальчишка.

Бедный, благородный мой Кит! Тебе заступничество за сестру обошлось множеством синяков. Стыдно было мне, ох до чего стыдно! На бабушку глаза я не смела поднять. А к тебе, Китенок, заступник мой, появилось у меня какое-то новое чувство. Не жалость, не сочувствие, нет. Сознание, что крепко я перед тобой виновата. Ты как-то сразу вырос в моих глазах, хоть и смешон был, трогательно смешон в своем раннем мужском негодовании.

Надо было и мне самой утверждаться теперь в собственном мнении. Доказать всем, на что я способна: если уж решилась идти на флот, иди, не дрейфь, как говорят моряки.

В эти самые дни заканчивал доковый ремонт в Архангельске рыболовный траулер «Орион», ведущий на промысле поиск, разведку. В его команду удалось мне устроиться уборщицей. Тайком от бабушки и, уж конечно, от отца, поскольку он был по месту своей службы далеко от нас.

О начале морской карьеры дочери начальник тралфлота Егор Адрианович Багров узнал, когда «Орион» пришел в Мурманск. На палубе подошел ко мне батя, посмотрел строго при всем честном народе, спросил капитана:

— Как деваха? Не ленится? — И, получив утвердительный ответ, улыбнулся: — Ну, добро.

Тут же и бабушке в Архангельск дал радиограмму: «За Настасью не волнуйся, мама. При деле Настасья». Или что-то в этом роде.

Что бы там ни писали о романтике моря, но очень трудно привыкать к качке на мокрой палубе, когда окатывает тебя соленый ледяной захлест или подступает к горлу горячая волна тошноты. А как противно было поначалу вспарывать рыбьи животы, вываливать потроха, часами копаться в мокрой чешуе, которая так и плещет, так и переливается по палубе с борта на борт.

И вот тогда, в эти трудные дни, я познакомилась с Ним. Доцент, всегда внимательный, предупредительный, он был совсем другой, непохожий на простых грубоватых моряков. Укрывал меня пледом после вахты, декламировал Гумилева и Северянина, напевал Вертинского. Убедительно доказывал, что для девушки мечта о штурманской специальности — чистый бред, что мне надо идти в университет, стать либо океанологом, либо синоптиком.

Я часто вспоминала бабушку: как предсказывала она погоду по оттенкам заката и форме облаков. Все эти бабушкины поморские словечки: «шелонник», «полунощник», «обеденник» и прочие названия студеных наших ветров. Решила: буду метеорологом!

Доцент не только «осчастливил» меня своим выбором, но и помог выбрать специальность, подготовиться к вступительным экзаменам в МГУ. Целый год в Москве я была с ним счастлива, хоть и не всегда бывала у нас крыша над головой. Ну а потом... Дальше ты все знаешь. Знаешь только ты. Никому, кроме тебя, я не рассказывала.

Даже отцу — он был проездом в Москве. Его назначили в Сибирь директором какого-то нового северного комбината. Милый наш батя, умница! Глянул очень пристально, лоб потер: «Какая ты взрослая стала, Настёк», — и запыхтел трубкой.

Нет, я еще не взрослая. Я такая же девчонка, вздорная, взбалмошная, какой была в Архангельске. И очень одинокая... Тоскливо, что единственный мой настоящий друг далеко, что разделяет нас разница в возрасте. Ты еще только оканчиваешь школу, Китенок, тебе еще и семнадцати нет. Тебе меня пока не понять. Потому-то я и не опускаю это письмо в почтовый ящик, оставляю у

себя в столе. И надеюсь, верю, что ты иногда все-таки думаешь обо мне. Думай, пожалуйста, и молчи. А письма буду изредка писать я.

Настя».

Второе письмо. Январь — март 1933-го. Из Егоркина.

«Никита, дорогой мой, далекий!

Сегодня в числе прочей почты, прибывшей с трехмесячным опозданием в нашу глухомань, оказался и ваш осоавиахимовский журнал. Можешь представить себе мой восторг, когда на обложке я обнаружила изображение любимого братца. И мою сестринскую гордость при чтении довольно-таки пространной подписи: о передовиках авиационно-спортивной работы, о том, что инструктор Центральной пилотской школы Никита Багров на соревнованиях планеристов в Коктебеле установил новый рекорд продолжительности полета на планере с пассажиром. А дальше уж воображение откажет тебе, потому что только женщина может понять мою зависть. Или, может быть, это ревность? Дальше текст под фотографией сообщает, что пассажиркой двухместного планера и смелой спутницей пилота в полете, длившемся двенадцать часов — половину суток в воздухе, и не где-нибудь, а над Крымской Яйлой и Черным морем, — жуть как долго! я и трех часов не выдержала бы! — была парашютистка Таня Остроградская, известная своими затяжными прыжками с больших высот.

Я разглядываю снимок и жалею, что зовут меня не Таней, а Настей, что между Егоркином и Коктебелем не одна тысяча километров. Потому, наверное, ты и твоя Таня представляетесь мне какими-то «таитянами-островитянами», а меня мое буйное воображение рисует обитательницей Клондайка, «дочерью снегов». Вы, счастливая пара, благоденствуете в теплом климате на Большой земле, а я тут как на острове.

Не знаю уж, какие географические представления владели жителями Аляски в джек-лондоновские времена, а здесь, в сибирском Заполярье, прочно вошли в разговорный обиход «островные» термины. У нас говорят: «Летом поеду в отпуск на материк». Или: «Ну так это же там, на юге, на материке». Причем югом считается, скажем, Томск, который, как известно, примерно на широте Москвы.

Да уж, что правда, то правда, «далеконько забралась Настасья, бедовая девка»! Так недавно написала отцу бабушка Таисья Федоровна, ненаглядная наша «бабуся Федя». Письмом этим нежданно-негаданно порадовал меня сам батя, вдруг нагрянувший в Егоркино. Явился под Новый год, в разгар холодов и полярной ночи, точнее сказать, полярных сумерек.

Светать начинает близко к полудню. Через какие-нибудь три часа снова темнеет, морозные цветы на стеклах, сначала белесоватые на темном фоне, потом сливаются с мутной мглой за окном. Работать без лампы в сумерки нельзя. Когда гаснет электрическая лампочка под потолком, а случается это часто, по вине «чертовой живопырки», как ласково именуют егоркинцы городскую локомобильную электростанцию на дровах, приходится мне разжигать керосиновую «молнию».

Так вот, заглянув по приезде в метеобюро и застав меня за этим занятием, батя сказал: «Что поделаешь, Настек, далековато еще до электрификации Заполярья. У нас тут и к Советской-то власти народ едва начинает привыкать». И стал рассказывать, как ехал сюда по льду Большой Реки, сначала на ямщицких розвальнях, потом на оленьих нартах, всего больше недели в пути. В какие становища заезжал к ненцам, тунгусам, ламутам, как с тамошними шаманами спорил насчет грамоты, медицины, колхозов. Рассказывая, батя фыркал, лысину потирал: «Как хочешь, уважаемая комсомолка, ученая моя дочь, но до бронзового века твои ближайшие соседи еще не дошли, в каменном веке продолжают жить. Прямо, знаешь, как в те времена, когда начинал тут зверя бить да рыбачить твой родитель боцман Егорка». Еще вспоминал батя, как угощали его теплой оленьей кровью: «Хоть и противно, а пил, чтобы не обидились на «большого тойона-большевика». Про молодую ламутку в каком-то становище, как та грудью кормила двухлетнего ребенка, покуривая при этом костяную трубочку. «Затянется хорошенько, выпустит дым носом, отнимет грудь у детеныша и трубку эту самую ему же, вроде как на закуску, сует». Слушая батин рассказ, я не охала, не морщилась, быт большерецких коренных жителей мне знаком, нет-нет да и навещают они Егоркино, прикочевывая вместе со своими стадами.

Говорил отец и так: «Ты представь себе, Настек,

свою бабушку на месте этой ламутки. Не можешь представить? То-то... А у Никиты и Адриана по материнской линии бабушка была аккурат такая. Я-то, правда, сибирской тещи своей в живых не застал, но по рассказам тестя Якова Моисеича вообразить ее могу. Как он, лоцман Яков, благоверную свою от спирта да от махорки отваживал, как Лику, дочку, приучал к горячей воде с мылом. Дивился я тестю: вот это да! Жизнь-то пострашней иных сказок».

Вздохнул батя, долго молчал. Потом говорит: «Вот, Настек, не бывало такого в сказках, чтобы Баба Яга девицу-красавицу родила. А в жизни случилось однажды. Только не уберегли мы нашу красавицу... Ты не забыла маму Лику, Настек?» И сразу — доху на плечи и к двери. Дня два ко мне не заглядывал.

А я все ждала, думала, вспоминала. Поездка наша из Архангельска в Мурманск ожила вдруг в памяти. Это, помнишь, когда отца назначили на траловый флот. На летние каникулы бабушка всех троих нас к нему повезла. Пароходом добирались долго. Потом от деревянного сарайчика, что в Мурманске назывался морским вокзалом, взбирались в гору. С дороги устали, сразу, приехав, легли спать. Утром, когда проснулись, я увидела, что давным-давно уже светло, и стало мне как-то не по себе в большой той комнате с голыми бревенчатыми стенами. Батя рано на службу ушел, бабушка — в рыбкооп за покупками, вы с Дюшкой к заливу под гору умчались, не терпелось вам поглядеть на океанский прилив. А я одна-одинешенька. К оконцу подошла, глянула наружу. Там валун огромный, замшелый, за ним гора высоченная — неба не видать. И нигде ни кустика, только травка, жалкая такая под дождем. А в батиной комнате колченогий стол, покрытый газетой, койка под шинельным сукном, табуретка...

Ты знаешь, Никита, это уж потом, в студенческие годы, я стала думать об отце понятиями, заимствованными из книг и газет: «Матрос-скиталец, солдат революции, бессребреник, работяга». Ну и так далее... А тогда, в Мурманске, в этой избе на второй горной террасе, я по-детски просто пожалела его: «Бедный папаня, худо ему живется без мамы Лики. И зачем он забрался на гору, с которой далеко внизу виден черный, ровный, как стекло, залив, зачем уехал из родного Архангельска?»

Однако все в мире относительно. Нынче из Егоркина с его морозами Мурманск видится мне благодатным краем. Тут, на моем столе, стоит запаянный стеклянный шар с голубой атлантической водой, зачерпнутой когда-то батометром с борта «Ориона». Глоток Гольфстрима, горько-соленый, неприятный, конечно, на вкус. Но за стеклянной стенкой вода искрится на солнце, как драгоценный камень-самоцвет.

Не могу забыть, как отец ушел от меня в пургу, едва накинув доху. Так ему вдруг взгрустнулось по молодости, по любимой умершей жене. Снова, как тогда в Мурманске, мне стало «жалко папаню», хотя знаю, что теперь не одинок он. В Новосибирске в квартире с натертыми полами ждет его умелица Виктория Павловна, одинаково мастерски готовящая сибирские пельмени и деликатесных цыплят-табака, театралка, всегда достающая билеты на концерт приезжей знаменитости, отличная секретарша, ведущая деловую переписку Полярстроя, светская дама.

Вот нашла женщина место в жизни, не умалявшее ее человеческое достоинство. Заняла положение, равное с мужчиной. Скажи я об этом самой Виктории Павловне, она, конечно, рассмеется, станет укорять меня в «суфражизме», который, дескать, в советском обществе просто нелеп, поскольку нашими законами гарантировано женское равноправие. Нет, ей меня не понять!

Равноправие женщины и мужчины обычно принято рассматривать с точки зрения правовой. Все это хорошо, но только при условии душевной близости, сердечной дружбы между супругами.

Этого-то не давал, да и не мог дать мне Игорь, тот доцент, уже далекий, которого я иногда вспоминаю. При всем своем интеллигентском лоске, показном «джентльменстве» он смотрел на меня сверху вниз. Такие люди не способны на жертвы ради ближних. Никогда не была бы я счастлива, став женой Игоря, о чем мечтала в университете по девчоночьей наивности.

К счастью, этого не случилось, от привязанности к Игорю меня излечил он сам циничным своим бегством.

А если бы случилось? Тогда, думаю, пришлось бы мне еще больнее. Внутренний холод Игоря рано или поздно должен был проступить из-под мужского обаяния. Непременно обидел бы он кого-нибудь, хладнокровно, без тени сомнений столкнул бы со своего пути, так

же как тогда, в Москве, оттолкнул меня. И при этом остался бы убежден в правомерности своих поступков. Нет, с Игорем не сложилась бы у меня совместная жизнь. Нравственно искалеченной, растоптанной могла оказаться я, став его женой.

Как это у Омара Хайяма:

Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

А быть человеку одному все-таки нелегко. Очень это нелепо, что с архангельской поры так мало виделись мы с тобой, Никита, когда оба были в Москве. Нелепо, что от Останкина до твоего Тушина оказалось так далеко. Теперь от Егоркина до Коктебеля, кажется мне, куда ближе. Впрочем, может быть, так кажется только мне?

Расскажу все же о заполярном житье-бытье, заодно и пофилософствую малость. Итак, о равноправии в жизни мужчины и женщины.

Раньше этот вопрос интересовал меня серьезно, теперь же думаю об этом с усмешкой: независимость моя при мне. Диплом о высшем образовании и специальность у меня вполне мужские. А одиночество такое женское, такое бабье... Смотрю в голубой шарик с атлантической водой, как в зеркальце из сказки: «Свет мой, зеркальце, скажи да всю правду расскажи, кто на свете всех милей?» А поверхность у стекла выпуклая, и рожица моя отражается там расплющенной, смешной, до ужаса противной. Оптические эти фокусы то веселят меня, то повергают в смятение: «Стареешь, голубушка, быть тебе девкой-вековухой».

Вспоминаю университет, как напутствовал меня после получения диплома дорогой шеф профессор Губин: «Молодец, Багрова, что сразу едешь зимовать. В большом деле будешь участвовать». И дальше пошел развивать любимую свою теорию о «начинающемся потеплении Арктики».

И теперь, думая о Михаиле Михайловиче с горделивой улыбкой — приятно все-таки быть ученицей такого человека, — замечаю про себя: бог уж с ними, с этими планетарными, глобальными масштабами. Что тут будет через тысячу лет, может, пальмы вырастут, — знать не хочу. А тепло, ласка, уют нужны мне сегодня как воздух, как хлеб. Как сказал какой-то имажинист,

друг Есенина: «Мне бы только любви немножечко да десятка два папирос...»

Не бойся, Никита. Курить я, слава богу, не выучилась, хоть и старается меня приохотить к табачному зелью одна новая знакомая, большая поклонница и Есенина, и этих самых имажинистов, и символистов, и акмеистов, и даже каких-то неведомых мне эгофутуристов. Зовут ее Лола, годами она меня чуть моложе, но житейским опытом куда богаче. В Егоркино Лола попала прямиком из московского «Метрополя». Там работала барменшей и, судя по всему, проштрафилась на каких-то махинациях с валютой. Сюда сослана на три года, устроилась в клуб на должность консультанта по самодеятельности. В Егоркинском Доме культуры — так официально именуется клуб лесопильщиков и портовиков — Лола обучает фокстроту, танго, блюзу и чарльстону — всем западным танцам — егоркинских парней и девчат. Девчата от Лолы без ума. После занятий танцами она безвозмездно пропагандирует новшества косметики, парикмахерского искусства, посвящает своих приятельниц во все таинства женского туалета.

С мужской частью населения Егоркина «консультант по самодеятельности» держится более официально, уделяя внимание лишь должностным лицам.

Для меня общение с Лолой служит не только развлечением, при всей своей вульгарности она не лишена юмора, но и как бы предостережением от возможных ошибок при выборе знакомств, от излишних вольностей, которые при здешней простоте нравов в порядке вещей.

«Самостоятельные парни» (так они сами себя аттестуют) с финским ножиком за голенищем мехового унта и хорошим заработком так и вьются вокруг «ученой ветродуйки», твоей сестры, стоит только показаться на катке, в кино, на танцах. Ходят до утра под окнами, простуживая свои баяны и гармоники. А иногда и в двери ломятся. Хорошо, что живу на втором этаже и что запоры у нас надежные.

Да, тоскливо порой, но не раскаиваюсь, что приехала сюда, отказавшись от аспирантуры в университете, от возможного назначения в Крымское метеобюро. Хотя кто знает, возможно, и там, на юге, работа не менее интересна. И наверное, жилось бы теплее, уютнее не только в климатическом отношении, но и просто по-человечески. Возможно, что и ты в Симферополь или, скажем,

в Севастополь заскочил бы пролетом, направляясь в Коктебель. Мы могли бы встретиться.

Думаю о Василии Прончищеве и Марии, жене его. Тяжко было им на пустынном берегу у разбитого баркаса. Но временами, наверное, и радостно: вместе!

...Великое это дело — быть вдвоем с надежным другом. Робинзон после кораблекрушения тоже скучал в одиночку, пока не нашел Пятницу. А я в Егоркине одна. И кажется мне, будто я Пятница, все еще не нашедшая своего Робинзона.

...Настроение куда лучше. Как-никак месяц прошел, окончилась полярная ночь, появилось солнце. И наконец на нашем «острове» высадился «Робинзон». Событие в хронике Заполярья выдающееся. Впервые в зимнее время в Егоркино прибыл самолет. Прилетели пилот Бруно Густавович Таубе с бортмехаником Пузанковым.

Тебе, Никита, наверное, известны эти имена. Оба в авиации с гражданской войны, оба пришли в Полярстрой, как только он организовался, вместе с нашим отцом. Обоих батя любит, по всему видно. Сам следил за расчисткой посадочной площадки на льду, сам приказал над большим сугробом у берега водрузить транспарант с приветственным лозунгом. А как вышли авиаторы из кабины, обоих расцеловал, первый им «ура» закричал. Потом короткую речь отец сказал: «Новая эра наступает на сибирском Севере, ближе стало Егоркино ко всей стране...»

Я это почувствовала сразу же, на следующий день. И только потому, представь себе, что Бруно Густавович, превосходный горнолыжник, с места в карьер стал обучать меня повороту «Христиания». Ты знаешь, на лыжах я свой человек, на «пересеченке» призы брала еще в школе в Архангельске. А вот с гор съезжать как следует, с поворотами, не умела до сей поры. Сколько раз собиралась в Егоркине пойти на лыжах на дальние холмы, да с этими дежурствами на метеостанции все как-то было некогда.

А Бруно Густавович сразу: «Пошли!» И никаких возражений... Прикатили мы к дальним холмам. Солнце вполнеба, снег искрится, тишь, гладь, ни ветерка. Я сначала шлепалась, пахала носом снег. Ну и восхищалась, понятно, как здорово все получается у Бруно Густавовича. Вот стремительно мчится он под гору, лыжи

тесно прижаты одна к другой. Изменить направление движения, кажется, уже невозможно. Но внезапно из-под лыж его вырывается веер снежной пыли. С легким приседанием мой учитель сворачивает в сторону. Еще одно такое приседание, еще поворот, уже в другую сторону. Вот кончается склон холма, близится обдутый ветрами обрыв. Ниже зимние торосы неровно замерзшей Большой Реки. И тут-то, при последнем повороте, лыжник сначала едва не ложится на снег почти плашмя, а потом, повинуясь могучей силе инерции, выпрямляется, останавливается.

Когда мы прощались перед последним его зимним рейсом, Бруно сказал: «Скорее бы снег растаял, лед прошел, поколдуйте, пожалуйста, насчет погоды». Я обещала колдовать день и ночь. Мне даже захотелось стать ведьмой.

А к твоей Тане-парашютистке, ты знаешь, Никита, я даже прониклась сочувствием. Скучать будет, бедняжка, когда ты переведешься из Осоавиахима в Полярку. Об этом твоем намерении мне сказал по секрету отец».

Третье письмо. Архангельск, июль 1935 года.

«Никита, настоящий мой парень!

Да, ты настоящий и близкий мне человек, хоть и существуешь где-то далеко. А все, что вокруг меня, поблизости, кажется порой призрачным — настолько нелепы, чудовищны события последнего года моей жизни. Моей вдовьей жизни...

Увлеклась я Бруно сразу. С первых же наших встреч мне все в нем нравилось. И как на лыжах съезжает с крутой горы, поворачивая и тормозя над самым обрывом, и как руку мне целует, и как смущенно протягивает букет. А уж скажет «Ассенка», так он звал меня почему-то, произнесет это имя с милым своим выговором, я и ног под собой не чую. Восхищало меня и то, как неохотно и немногословно вспоминал он о боевых своих полетах в гражданскую войну, о том, как однажды после парада сказал ему спасибо сам начвоздуха, соратник самого Фрунзе. И хоть ничегошеньки не смыслю я в пилотском вашем искусстве, но всегда соглашалась с Дюшкой, когда он тоном знатока расхваливал какой-то особый «почерк» Бруно Густавовича и в полете, и особенно на посадках и стартах с воды. А уж по

этой части в Егоркине на Кривой протоке было чего насмотреться.

Да, влюбилась, стала его женой. Но вот тут-то, с полгода, наверное, после переезда из Егоркина в Ленинград, сделала для себя открытие, поняла, что влюбиться еще не значит полюбить. Как тебе это объяснить? Понимаешь ли, одиноко вдруг становилось мне с Бруно. Одиноко...

«Либо только хорошее, либо ничего» — так древние мудрецы призывали говорить о мертвых. Никогда я не соглашусь с такой точкой зрения. В оценке мертвых надо быть столь же беспристрастными, как и в оценке живых. Снисходительным умолчанием мы только оскорбим мертвых.

Мне память о Бруно тем и дорога, что сохраняет его живой облик. Говорить о нем могу только правду. Во многом помог мне Бруно разобраться, многое объяснил, чего раньше я не понимала.

До недавней поры для меня, комсомолки, дочери коммуниста, интернационализм был аксиомой. Искренне считала я, что такое понятие, как «национальный характер», придумано всякими там буржуазными идеологами. А, став женою Бруно Таубе, вдруг увидела, ощутила, поняла: я русская, он немец. Наш, конечно, обрусевший уже во втором поколении. Но все-таки человек своего особого национального склада. Добр, отзывчив, бескорыстен. Однако аккуратен утомительно, педантичен в мелочах. И это не только в быту, но и в сознании. Все у него по полочкам разложено, каждый поступок должен быть предусмотрен уставом. И обязательно нужен ему пример, образец. На отца нашего снизу вверх глядел, следуя какой-то внутренней духовной субординации: «Правильно живет Егор Адрианович, хорошую хозяйку завел. Ты погляди, Ассенка, какой у Виктории Павловны во всем порядок».

Сказал это Бруно отнюдь не в укор мне. И я поняла, что в его годы, при его характере иначе рассуждать нельзя. Ему как-никак сорок четыре, а мне только двадцать семь лет. Мне наш отец больше всего нравился на Егоркинском сплавном рейде с багром в руках, а Бруно Густавовичу импонировало вертящееся кресло, шведский письменный стол в кабинете директора Полярстроя. Как начнет Бруно вспоминать Сибирь, так обязательно превозносит новосибирскую отцову квартиру,

мебель, что Виктория Павловна в комиссионке приобрела. «Большому, — говорит, — кораблю после дальних плаваний нужна спокойная якорная стоянка. Вот и мы с тобой, фрау Таубе, или, по-русски сказать, голубка, совьем себе хорошее гнездышко». Я отшучивалась как могла: не голубка, мол, вовсе, а цапля длинноногая. А он с кольцами донимает. «Вовсе это незазорно, товарищ комсомолка, носить обручальное кольцо, тем более при таких красивых ручках». Я ему, опять-таки смеясь: «Мы с тобой, Бруночка, слава богу, невенчанные». Тут уж он на слове поймает: «Эх ты, а еще безбожница, при чем тут «слава богу»?» Ну, поспорим так шутя с полчасика. Дальше в театр надо идти. «Сдаюсь, — говорю, — товарищ командир, надену обручальное по такому парадному случаю».

Смех смехом, но командовать он умел, ты-то знаешь по совместной с ним службе. Вот и мною не командовал, конечно, но старался руководить — мягко, деликатно, но уверенно, очень настойчиво. И настойчивость эта не то чтобы раздражала меня, нет, но временами утомляла изрядно. Чувствовала я себя порой виноватой перед Бруно, сознавала: не такая нужна ему супруга. Именно супруга. А такой, во всем правильной, со всеми его мнениями и правилами согласной «фрау Таубе» мне не бывать, если даже буду стараться. И тут же с багровской нашенской строптивостью обижалась: зачем ему надо воспитывать меня?

Все это, разумеется, молча, про себя. Он о моих обидах и не догадывался. Наверное, потому, что строить догадки не любил, обо всем имел суждения точные, определенные.

Ты, будь на его месте, конечно, догадался бы, сколько раз такая мысль внезапно возникала у меня. Мысль, конечно, вздорная, ты на его месте быть не можешь. Для него я была, пожалуй, не столь женой, сколько капризной дочкой.

В чем же я все-таки виновата перед Бруно? Сама не разберу... Милый, хороший, добрый Бруночка! Быть бы ему старшим моим братцем, следить за моей нравственностью, давать советы по части туалетов, знакомства мои с молодыми людьми этак благосклонно контролировать, женихов сватать.

Впрочем, нет, друга сердца я нашла бы сама. Тако-

го же, как я, непоседу, мечтателя, бродягу. Такого, как ты, Никита...

Если бы ты знал, какая ревность обуяла меня вдруг сейчас вот, в Архангельске. И к кому? Ты, наверное, и думать забыл про эту школьную свою подружку. Встретишь на улице и не узнаешь сразу. Но она-то уж узнает тебя, как узнала меня!

Это Нинка из парикмахерской при Центральной гостинице. Послушать только, с каким заграничным прононсом произносит она слово «салон». Да, узнала меня Нинка, едва я к ним туда за порог шагнула. Сразу усадила в кресло. Тысячу вопросов, и все про тебя. «Как же, слышала, полярный летчик, тяжелую аварию пережил». Очень хочет повидаться с тобой, когда ты появишься в Архангельске. А сама-то—красотка, модница.

Вот послушала я Нинку, поглядела на нее, и стало мне совсем грустно от мысли, что сама-то я не увижу тебя по крайней мере год. И совершенно излишней показалась мудреная прическа, которую Нинка так заботливо сооружала на моей голове. И ужасно тоскливо прошел последний вечер в «Полюсе», куда затащил меня наш очаровательный капитан Шалва Луарсабович Элиава, друзьями именуемый запросто «Шалико», в ледокольном флоте известный под кличкой «Джигит». Командует Джигит новым ледокольным пароходом «Алексей Чириков», тем, который строился за границей. «Коробочка не больно хороша, — говорит капитан, — однако можете не сомневаться, Настасья Егоровна, к острову Болховского пройдем и всю вашу группу высадим. Трудный, — говорит, — будет рейс, но Егору Адриановичу в Якутию поход предстоит еще трудней».

Ну про Якутскую экспедицию тебе, наверное, и так все известно от отца. А про нашу предстоящую зимовку скажу коротко. Всех нас пятеро. Две супружеские пары: Минаевы, Иван Архипович с Валентиной Филипповной, он геолог, она биолог-охотовед, и Силкины, Павел Семенович и Раиса Панфиловна, он механик и радист, она повариха. Пятая я, метеоролог Настасья Багрова.

Спутники мои и спутницы, полярники бывалые, значительно старше меня, ко мне относятся покровительственно. И на том спасибо! При наличии на зимовке двух супружеских пар пожилого возраста надеюсь

чувствовать себя там чем-то вроде послушницы в уединенном скиту: «Сестра Анастасия, помяни в молитвах».

Думаю, что в прежние времена уход в монастырь был закономерен, естествен для того, кто не находил своего места в жизни. Ко мне это относится в полной мере. Хочу наконец найти свое место — пусть будет оно на тесном клочке суши, окруженном льдами, на земле, по которой еще не ходили люди. Ты знаешь, Никита, уехать зимовать можно было бы и куда-нибудь в места более обжитые. Но остров Болховского увлекает меня именно своей, что ли, первозданностью, редкостной своей судьбой. Подумать только, открыл его человек незаурядный, бесстрашный, умевший не только не бояться смерти, но и мыслить смело, дерзновенно. Как, наверное, хотелось ему, этому Юрию Андреевичу, самому проверить свою гипотезу! Но вот не судьба. Гражданская война... Какие уж тут неведомые земли, когда и на обжитой российской земле такая буря! Однако разве не замечательно, что много лет спустя после смерти Болховского его гипотезу вспомнил наш отец. И последний полет моего Бруно. Открытие подтверждено, остров найден, но другие люди платят за это жизнью.

Наше поколение чуждо суевериям, предчувствиям. Но в одном я убеждена: тем и сильно человечество, что существует связь времен, преемственность от отца к сыну.

Забить первый колышек на острове — мой долг и перед памятью Бруно, Левы Балабана, и перед Болховским, бесконечно мне далеким.

Так примерно объяснила я отцу свое намерение зимовать на острове. Батя выслушал, не перебивая, обнял меня. И одно только слово произнес со вздохом: «Арктика».

А для тебя, повторяя все это, хочу приписать и несколько слов, поделиться с тобой плодами глупейшей своей фантазии: вот бы на острове Болховского к двум парам присоединился ты. И были бы ты — Робинзон, я — Пятница.

Перечитала последние строчки, рассердилась на себя: стыдно, ох до чего стыдно. Но и потеплело вдруг на душе: правду надо говорить всегда, и себе и близким, какой бы тяжелой та правда ни была.

Перечитала, запечатала в конверт вместе с теми двумя письмами, давнишними. Долго ждали они отправки к тебе. Оставляю все письма у бабушки. Совсем одна она, и такая уж старенькая. Берегите ее вы: Дюшка, ты, отец. Всех вас целую.

Больше ничего не успею написать, сегодня уходим в море. А хотелось бы, так хотелось сказать еще многое о многом.

Настя».



ГЛАВА 6

КОРАБЛИ ИДУТ В ЯКУТИЮ

Пишет Никита Багров

Нелегко сознавать, что мой долг завершить дело младшего брата, потому что Адриана нет в живых. Да, жестоко и неожиданно сложились наши судьбы. Ведь, казалось бы, для авиатора, постоянно рискующего жизнью, было вероятнее не вернуться с войны. Но я вернулся... А Адриан, впервые взявшийся за оружие на двадцать седьмом году жизни, погиб, в первом же бою его тяжело ранило. Он умер в госпитале, промучившись от ран почти год.

В ноябре сорок второго года я навещал его в последний раз, будучи проездом в Москве, перед тем как наш бомбардировочный полк перебазировался под Сталинград.

— Значит, собираетесь дать господам арийцам прикурить? Добро. А обратно когда думаешь быть в столице? — спросил брат.

— Думаю, месяца через два, не раньше.

— Ясно, Кит Китыч. Коли так, уж не свидимся

мы... — Адриан откинул голову назад, вытянул исхудалое тело под шершавым, шинельного сукна одеялом.

Эта уверенность в неизбежном конце ужаснула меня. Как же измучен он, как истомлен, если уже смирился с надвигающейся смертью. Мне стало стыдно: почему он, а не я? Ведь он-то малыш, всегда был под моей защитой.

После долгой паузы брат произнес вполголоса:

— Вот что, старик, будешь жив, разберись в бумагах моих. Сам разберись. Еще лучше, если Настя поможет. Там в разных папках блокноты, вырезки из газет. Сразу поймешь, что к чему: это заготовки для задуманной арктической хроники. А то останется от меня один только эпилог.

И вдруг, повеселев, заговорил о близких: справился о племяннике и племяннице, ребятишках моих, спросил про Настю, как она там на Таймыре командует обсерваторией. Велел кланяться общим знакомым, если повстречаю кого. И, повернувшись с усилием на бок, устало прошептал:

— Иди, Кит, отдыхай... И мне что-то спать охота...

Как узнал я впоследствии, получив письмо от врача госпиталя, Адриан умер во сне под утро, вскрикнул и затих...

Потом, приехав ненадолго в Москву, я нашел дома давнюю уже радиограмму с Таймыра от Насти: «Вот, Никитушка, и остались мы с тобой вдвоем».

Перечитывая газетные заметки, очерки Адриана, наброски давно задуманной документальной повести, я не раз отмечал некоторую наивность изложения, даже посмеивался кое над чем. Но всегда меня радовала искренность записей Адриана. О трудных временах и сложных судьбах брат рассказывал с доброй улыбкой.

Вместе с Настей мы систематизировали разрозненные записи Адриана, вспоминая пережитое, вместе работали над их продолжением.

ИЗ ПУТЕВОГО БЛОКНОТА АДРИАНА БАГРОВА

Из редакции — в кочегарку

Держать пар на марке! Шутка ли: Адриан Багров командирован центральной водницкой газетой в Арктику для участия в первом, так и хочется написать «исто-

рическом», походе грузовых морских судов к берегам искони бездорожной, отрезанной от всего мира Якутии. И не просто командирован — по рекомендации директора Полярстроя, начальника Якутской экспедиции, должен быть зачислен в состав машинной команды линейного ледокола «Степан Разин» на должность кочегара второго класса.

Разговор с отцом происходил в просторном номере московской гостиницы «Гранд-отель»:

— Стало быть, в духи просишься, первопечатник? — посмеивался Егор Адрианович, разгуливая по комнате босиком, в трусах и тельняшке-безрукавке. Вид у родителя был весьма живописный, настроение веселое, и я решил поддержать беседу в шутливом тоне, максимально используя любезный бате флотский жаргон:

— Так точно, господин боцман, разрешите доложить: в духи! Потому как в палубную команду не возьмут меня, очкастого.

— Да уж, — согласился отец, — я, по крайней мере, воздержался бы от такого интеллигентного матроса. На такого и шумнуть-то по-флотски постесняешься. — И, помолчав, подмигнул: — Ну, смотри, дух. Поуродуешься с ломиком, задаст тебе духу старшина вахты. Уголек шуровать — это тебе не передовицы писать.

— Ладно, пап, не пугай. Будто я грузчиком в Егоркине не работал, будто и водоливов не подменял на большерецких баржах.

— Знаю, знаю, — запыхтел трубкой отец, — как вы, нынешние литераторы, в народ ходите за вдохновением.

Тут в разговор вступила Виктория Павловна, появившаяся из ванной комнаты в мохнатом купальном халате.

— Побойся ты бога, Егор Адрианов, перестань мальчика обижать. Дюша наш — истинный пролетарий интеллекта, труженик пера, так сказать.

— Люмпен-пролетарий, — поправил отец, — да, типичный люмпен, то есть личность без определенных занятий. Свойственна таким типам частая смена профессий... Вот и я, бывало, в прежнее время, в проклятое царское, то есть, как теперь пишут, то лес рубал, то плоты гонял, то на флоте служил, то рыбачил да охотничал. Одним словом, босяк, по Горькому. Адриан же,

сын мой, босяк потомственный. — И расхохотался оглушительно.

— Хватит веселиться, Егор, — бросила Виктория Павловна уже из соседней комнаты, прикрывая за собой дверь. — Одевайся, а то опоздаем. Сюртук, пожалуйста, и с регалией.

— А то как же, форма одежды парадная. — За дверью исчез и отец.

Пяти минут не прошло, как он появился снова, уже в двубортной морской тужурке с золотыми пуговицами, в белой рубашке, под воротником аккуратный узел галстука. Тужурка и именовалась батей «сюртук». На левой стороне тужурки алел орден, чуть прикрытый широким лацканом. Боевую свою награду за участие в гражданской войне Егор Адрианович называл не иначе как «регалией». В «сюртуке при регалии» по неписаному домашнему уставу появлялся он не только в праздничные дни, но и просто когда бывал в хорошем настроении.

Сейчас все обстояло именно так. Совнарком утвердил разработанный Полярстроем план первой морской экспедиции в Якутию. Руководить экспедицией поручалось отцу. Одновременно по примеру прошлых лет директор Полярстроя был назначен и уполномоченным правительства по лесоэкспорту через полярное море.

Когда я пришел в «Гранд-отель» — приезжая в Москву, отец останавливался всегда в этой гостинице, — Виктория Павловна, открыв дверь и впустив меня в прихожую, приложила палец к губам. Из-за двери доносился батин голос, шел разговор по междугородному телефону с Новосибирском. Потом, положив трубку, радостно тряхнув меня за плечи, Егор Адрианович сообщил, что завтра утром от Парка культуры у Крымского моста стартует гидроплан Семена Ильича Лазуренко. После гибели Таубе этот пилот заменил его. С Лазуренко отец должен лететь сначала в Архангельск — проверить, как грузятся транспортеры Якутской экспедиции, затем на Большую Реку — готовить Егоркинский порт к встрече иностранных лесовозов. После всего этого назначалась встреча в бухте Сидоровской с кораблями, идущими в Якутию. Оттуда на «Степане Разине» Егор Адрианович намеревался вести караван дальше на северо-восток.

— Только, пожалуйста, Дюш, не торопись с анон-

сами в уважаемой своей газете «Отдай концы», — так отец шутя называл профсоюзный орган «На вахте». — На борту «Разина» информирует тебя капитан Грачев Степан Ермолаич. Но и тут не усердствуй, слышь. Веди себя скромно, как подобает начинающему моряку.

— Ясно, пап.

— Ну хватит, Егор Адрианов, давать указания, — нетерпеливо сказала Виктория Павловна, уже одетая в модное платье, с ярким зонтиком в руках, — ей-богу, опоздаем еще.

Сегодня она проводила с мужем последний вечер в столице, собирались идти в «Эрмитаж» на концерт джазового оркестра Утесова. А на завтра и надолго еще вперед ей, секретарю правления Полярстроя, поручалась «московская вахта»: не одну неделю предстояло ходить по инстанциям с бумагами, подписанными директором, ходатайствами о кредитах, с проектами постановлений, словом, предстояло «толкать и пробивать», как выражался батя.

Принося друзьям этакое шутливое покаяние в «семейственности на Крайнем Севере» — куда ни глянь, всюду Багровы: в авиации — Никита, в службе погоды — Настя, в печати — Адриан, — отец отмечал, что и супруга его, товарищ В. П. Белоручева, немаловажная шестерня в громоздкой машине. Ну а источником энергии той машины Егор Адрианович не без оснований полагал самого себя.

— Жаль, Дюш, не успеешь ты собраться к завтрашнему утру, а то прихватил бы я тебя на гидру, — говорил отец на прощанье.

Мне тоже было обидно, что не удастся воспользоваться быстрым воздушным транспортом: поездом до Архангельска почти двое суток! Но делать нечего, сборы в редакции требовали времени.

Выехал я из Москвы через три дня после отлета отца, и в Архангельске его уже не застал. На моем командировочном удостоверении, отпечатанном на редакционном «навахтенском» бланке, в верхнем углу стояла размашистая подпись начальника Якутской экспедиции. Черкнул батя записку и капитану Грачеву: «Глубокоуважаемый Степан Ермолаевич, попробуйте сего писателя в должности угольщика, парень здоровый, не сачок. Думаю — сдюжит».

По приезде моем в Архангельск выяснилось, что рас-

положением к себе сурового полярного капитана журналист Багров обязан отнюдь не рекомендации высокого начальства. Жарко, душно было в тот июльский день на Мосеевом острове, где ледокол «Степан Разин» пополнял бункера. Поднявшись на корабельную палубу, я столкнулся нос к носу с низеньким бородатым толстяком в сандалиях на босу ногу, в люстриновом пиджачке поверх расстегнутой трикотажной рубашки. Недоуменно оглядев меня и пробежав быстрым взглядом бумаги — направление отдела кадров, командировку редакции и записку отца, — капитан Грачев ничем не выразил своего к ним отношения. Но тут же удивил меня своей памятливостью. Пригласив в каюту, он выдвинул один из ящиков письменного стола, извлек оттуда серый шершавый лист с редакционным штампом «Заполярного большевика».

— Ваша подпись, товарищ Багров, — сказал он. — Винюсь, в долгу перед вами. Так и не написал тогда статью. Хоть и было о чем, неплохо мы прошлогоднюю навигацию провели. Северный-то вариант нам удался тогда, спасибо Таубе, покойнику. — Капитан вздохнул протяжно так, по-стариковски: — Но рука, знаете, не поднялась о победах писать. Этакое горе у сестрицы вашей, да и у всех нас. Настенька, виноват, Настасья Егоровна, слышал я, зимовать отбыла. Вот судьба... А Никита совсем молодцом. Легко ли после такой передряги оправиться? С нами теперь корабельным разведчиком пойдет. Завтра обещались портовики подвезти сюда амфибию с Кег-острова.

А дальше пошли просто чудеса. Капитан Грачев, известный весьма сдержанным отношением к журналистам, мореплаватель, прежде никогда и никому не раскрывавший своих намерений перед началом рейса, усадил желторотого репортера за стол, налил ему ледяного нарзана и стал рассказывать.

Он поведал обо всех особенностях предстоящего плавания. Никогда ведь дотоле через льды полярных морей не проходили к берегам Якутии такие флотилии, как нынешняя: три морских транспорта с грузами, два речных буксировщика и лихтер из Большерецкого бассейна для пополнения Якутского пароходства, армада, ничего не скажешь.

Степан Ермолаевич не просто рассказывал. Он диктовал мне четкие законченные фразы.

— Записывайте дальше: от бухты Сидоровской пойдем генеральным курсом норд-ост.

— Весь караван под предводительством флагмана? — спросил я.

— Под проводкой, — строго поправил капитан. — Под предводительством это разные там команчи в прериях скачут у Майн-Рида и Фенимора Купера. Еще предводители были у дворянства в Российской империи. А судам во льдах надлежит следовать под проводкой ледокола.

Подождав, пока я все записал, Степан Ермолаевич сказал:

— Теперь являйся, парень, к стармеху Василь Захарычу, получай кочегарскую робу, выходи на вахту.

...Прав Егор Адрианович. Отстоишь вахту подручным у кочегара первого класса, повыгребаешь из топки жар, «повираешь мусор», залитый водой, только еще остывающий шлак, и так спину наломаешь, что любое ночное дежурство в типографии покажется развлечением. Да и в кубрике теснотища, повернуться негде. Как это умудряются соседи мои, рослые плечистые парни, втискиваться в узенькие койки, расположенные двумя ярусами? Я так сразу, едва проснусь, тюкаюсь макушкой в нависающий над койкой потолок — вот и тут напутал: не потолок надо сказать, а подволок. Потом спрыгну на пол и должен обязательно вспомнить, что не пол это, а палуба. И еще надо выучить назубок, что нет на судне лестниц, есть трапы.

Старший собрат по перу Ан. Дэр — так подписывает свои творения Анатолий Борисович Дерман, — представляющий ежедневную центральную газету, обучает меня флотскому лексикону непрестанно. Поручни вдоль корпуса он именует только релингами, компас — компáсом, рапорт — рапóртом, кухню — камбузом. Всех его «маринизмов» не перечтешь. Чудаковатый дядя, но образованный. Ко мне, младшему коллеге, относится отнюдь не свысока, часто приглашает к себе в тесную каюту. На второй койке там «квартирует» синоптик. Третья и четвертая койки пока свободны. Они предназначаются авиаторам — Никите и папе Кузе. Только и знаю про них: на Кег-острове с машиной возятся.

Последний год прошел так, что, к сожалению, общались мы с братом сравнительно мало. Видел я, как после катастрофы лежал Никита на носилках, весь в бин-

тах, в лубках. Лицо как маска, глаза закрыты. Стрелой портового крана носилки с Никитой поднимались на причал с палубы рейдового буксировщика. Руководил подъемом Егор Адрианович, в кабину на помощь крановщику он посадил Кузьму Дорофеевича. Надо было видеть двух пожилых, далеких от сантиментов людей, слышать их приглушенные голоса.

Видел я Никиту и в Егоркинской больнице, где он пролежал два месяца, пока стало возможно переправить его в Новосибирск. Там только я навещал брата, не было в ту пору в Егоркине ни Насти, ни Виктории Павловны, а отец ездил по дальним рудникам и лесхозам комбината. Так вот лежит брат, смотрит в потолок и молчит. Если и спрашивал кого о чем-либо, так только докторов: «Летать смогу?»

Смог! Летает! После лечения в Новосибирске и отдыха в санатории снова стал отлично летать. Когда приходил я весной на Кривую протоку встречать его из очередного рейса, всякий раз любовался, с какой легкостью и грацией опускается на речной лед биплан, похожий на большую стрекозу. Но пилот, приподняв колпак кабины, улыбался теперь редко и как-то устало.

Потом, ближе к лету, повеселел Никита. После майских праздников, перед последним своим вылетом из Егоркина сказал: «Поздравь, Дюш, выпросил все-таки амфибию к навигации. Невелик, конечно, аэроплан, у мотора мощь комариная — сотня силенок всего. От корабельного борта летать смогу. Но это не беда, зато в экспедицию попаду, и в какую, в Якутскую».

После того разговора прошло месяца два, и вот мы оба в Архангельске. Не сегодня-завтра корабли отправятся отсюда в Якутию. У причалов Бакарицы и Левого берега грузятся «Щорс», «Котовский», «Чапаев». Чего только не принимают они в разверстые свои трюмы: и мешки с мукой, сахаром, и ящики с мануфактурой, обувью, и тракторы, зашитые досками, тщательно обернутые промасленной паклей.

А ледокол «Разин», уже отбункеровавшись на Мосеевом острове, стал на рейд против городского холодильника для приема жидкого горючего и взрывчатки. Туда же, на рейд, должны доставить на барже самолет-амфибию из аэропорта Кег-острова. Для установки ко-

рабля воздушного на корабле морском за второй трубой ледокола сооружена площадка.

Долгожданная встреча с командиром воздушного корабля состоялась наконец в нашем багровском «гнезде» на Поморской, у бабушки Таисьи Федоровны. Рано утром, отпросившись у стармеха Василия Захаровича на берег, подъехал я на ледокольском катере к городскому рынку и оттуда пошел знакомой дорогой, которой когда-то и в школу бегал, и со знакомыми девчатами в кино ходил. Вот она и Поморская, родная улица! Во дворе ни души, входные двери на второй этаж не заперты. Крадусь, половицей боюсь скрипнуть, сейчас, думаю, нагряну к бабуле как снег на голову. Чудно, однако: двери — и с площадки в коридор, и из коридора в бабушкины две комнаты — настежь. Самой ее что-то не видать, а на диване, одетый, даже не сняв ботинки, спит Никита. На спине спит, как всегда, такая у него привычка с детства.

Я глядел на спящего брата и в который уже раз поражался его сходству с мамой Лией. Жалость, пронзительное сострадание к нему вдруг нахлынули на меня. Никита вздрагивал во сне, чем-то встревоженный, угнетенный. И я подумал со стыдом: ведь не знаю я ничего о брате. Дружны мы с Кит Китычем. Всегда я этой дружбой горжусь, всегда нахожу у него помощь старшего, умудренного житейским опытом товарища. Но вот чем мучается, почему страдает он? Это мне неизвестно.

А каково сейчас Насте, нашей сестре, потерявшей мужа? От хорошей ли жизни отправилась она зимовать? Одна, без близкого человека, в обществе незнакомых, впервые в жизни встреченных людей? Что знаешь ты о сестре своей, Адриан Багров, литератор, «инженер человеческих душ», с позволенья сказать?

Размышления мои прервало появление бабушки. В нарядной новой шали Таисья Федоровна возвратилась от ранней обедни:

— Батюшки-светы, Андреяша, — возгласила она с порога, — стало быть, не шутил Егорушка: «Жди, — говорит, — маманя, еще одного гостя, кочегара второго класса». А я спрашиваю: «Почему это младшенькому внучонку, который газеты печатает, уголек надо шуровать, как покойный дедушка евонный шуровал на Двине да на Сухоне?» Царствие ему небесное, Андреян Вла-

сыч, тяжела была у него рука и чрево необъятное: четвертную казенного вина за обедом с дружком выкушивал. А сынок Егорушка, сибирский губернатор, высоко взлетел, но не забывает старуху мать-то. Вот шаль привез. Говорит, заморская, в энтом, в Роттердаме-городе брал о прошлом лете. Стало быть, год цельный в сундуке держал для мамани. Ну спасибо. А женку-то нову не показывает. Петербургскую взял. На портрете — чистая барыня. И звать чудно — Виктория, будто ягода.

Бабушка извлекла из верхнего ящика комода большой снимок с фирменным клеймом: «Наппельбаум. Москва. Петровка». На снимке отец при полном параде, «в сюртуке с регалией», держал под руку Викторию Павловну в элегантном светлом костюме. Фотографии этой, сделанной вскоре после их бракосочетания, совпавшего с переводом отца из Мурманска в Сибирь, было уже лет семь. Но места для нее на стенке у бабушки не нашлось. Там красовались снимки куда более давние. На одном — Егор Адрианович с Лией Яковлевной: он в бушлате нараспашку, она в пыжиковой дошке. На другом — Егорушка с Дуней, первой женой: он курчавый парень в косоворотке, подпоясанной шнурком, она девка, кровь с молоком, в цветастом сарафане.

Заметив, как я скользнул взглядом по всем трем снимкам, бабушка произнесла:

— Вот... Любят его бабы. Обратно и он их, Егорий-победоносец.

От бабушки я узнал, что отец улетел в сибирское Заполярье позавчера, а Настя уплыла на зимовку тому уже дней восемь. При последних словах Никита заворочался на диване, открыл один глаз, попросил жалобно:

— Бабушка, кваску бы...

«А ну шуруйте, духи!»

Вчера еще корпус «Степана Разина» возвышался над штилевой гладью Северной Двины. А сегодня свежий ветер гонит встречную волну, и белые барашки разбиваются о форштевень. Далеко позади низменные берега Двинского залива, мрачная башня Мудьюгского маяка. Растворился в сырой мгле и Сосновец, пройдено горло

Белого моря. Теперь всюду, куда ни глянь, пляшущие водяные холмы, зеленоватые, как бутылочное стекло. Штормует «старик Баренц». Наблюдать все это с юта, где собирается почесать языки свободная от вахт братва, очень любопытно. Не замечаешь даже, как палуба кренится под ногами.

Иначе чувствуешь себя в такие часы в кочегарке. Во-первых, жарища дьявольская, во-вторых, то и дело подступает к горлу тошнота. И наконец, настил столь стремительно убегает из-под ног, что создается впечатление, будто надвигается на тебя, вот-вот сожрет разверстая огнедышащая пасть топки. И совсем уж становится не по себе, когда выгребаешь раскаленный шлак, заливаешь его водой из шланга. Так и ждешь, что посыплются тебе на голову эти каменюги. Впрочем, ладно, все эти страсти-мордасти буду живописать бабушке по возвращении. А сейчас важно другое: держаться, виду не подавать, что туго тебе, репортер, в кочегарке. Да уж, редакцию «На вахте» с вахтой у топки не сравнишь!

Учусь уму-разуму у старшего напарника Афанасия Кирилловича Драгунова, кочегара первого класса.

— Подкинул лопату-другую, Андреян, возьми ломик, подшуруй, чтобы ровно уголек лежал по всей топке. Так... Теперь топку закрой, в поддувало загляни, давление проверь. А там и подкалывать время.

Афанасий Кириллович щелкает ручкой дверцы, закрывает дутье, отворяет топку. Пышет нам в лицо раскаленный уголь, огненной корой покрывает он колосники. Драгунов берет ломик, загоняет его под кору так глубоко, что руки его в брезентовых рукавицах опускаются на уровень отверстия топки. Потом, почти повиснув на ручке ломика всей тяжестью своего мускулистого, плотно сбитого тела, «подкалывает», отрывает огненный настил от решетки колосников.

— Ты гляди, парень, шпицбергенский-то уголек, он похужее донецкого, шлаку больше. Стало быть, и подкалывать, и шуровать надо чаще. А то залепит колосники, табак тогда наше с тобой дело.

В конце вахты Драгунов выгребает шлак, следит за тем, чтобы я вовремя залил его водой, из шланга, чтобы аккуратно сначала «вывирал» мусор, а потом и «смайнал» его за борт.

После вахты мы моемся в бане и затем, распаренные, довольные собой, степенно выходим на палубу в теплых ватниках и шапках-ушанках. Завидую Кирилловичу, легко ему отмывать просторную лысину от угольной пыли. Не то что мне, в рыжих курчавых моих волосах всегда остается черноватый налет.

Спускаюсь вниз в красный уголок. Там на столе разложен лист ватмана, который разрисовывают корабельные наши художники Петя Сильченко, палубный матрос, и Олег Ковалевский, старший электрик, ребята-хваты, острые на язык. Для юмористического нашего органа, который затеяла издавать в плавании комсомольская ячейка, придумано сразу два названия: «Красный белый медведь» и «Туды, где льды».

Прямо по курсу горизонт прочерчен белесой полосой дрейфующих льдов. Еще накануне я выписал как эпиграф для очерка строки академика К. М. Бэра о суровом пейзаже новоземельских берегов:

«Неизъяснимая грусть овладевает душой всякого человека при взгляде на эти обнаженные области... Мне казалось, что настало утро сотворения мира и юная земля, только отделившаяся от вод, не успела еще одеться в свои пестрые ткани и только ожидала прибытия жизни».

Рядом записал и другое любопытное высказывание, относящееся к тем же примерно временам. «Ледяным погребом» называли полярное море, омывающее берега Сибири, русские мореплаватели в XIX веке.

Сегодня мы уже на пороге этого «погреба». Первые льды, встреченные нами после полудня, редкие белесые плоскости, беззвучно ломались от прикосновения к бортам ледокола. А к вечеру, как раз на нашей вахте, мы, кочегары, познакомились с полярной стихией более основательно. Последние три дня работали с прохладцей, машина давала как раз такую скорость, какая нужна, чтобы транспорты не отставали от ледокола. И вдруг в отсеке, ведущем из машинного отделения в кочегарку, появился вахтенный механик. За ним вихрем ворвался экспансивный наш «дед» Василий Захарович:

— А ну, шуруйте, духи, подкалывайте, гоните к двенадцати атмосферам.

Духи свое дело знают. В раскрытые топки с треском полетел подхваченный лопатами уголь. Машины заработали на «полный вперед».

Находясь метрами тремя ниже ватерлинии, мы только слышали удары корабельного корпуса о лед, удары глухие, как бы смягченные толстым слоем воды. И догадывались: вот корабль распорол форштевнем молодую льдину, вот он всей стальной тяжестью своего корпуса влез на плотное поле, разломил его с треском, как сухарь. Осколки запрыгали по бортам.

А вскоре после вахты я мог наблюдать уже с палубы, как все это происходило.

Туман упал, залег, окутал все вокруг. К утру следующего дня — о смене суток судить можно было только по корабельным часам, ибо солнце, скрытое облаками, не покидало небосвод, — караван встал. Ни «Щорса», ни «Чапаева», ни «Котовского» — ни одного из судов каравана невозможно было разглядеть во мгле, белой, как молоко, плотной, как вата. Да и у нас на палубе неразличимы стали многие предметы и фигуры.

Недаром Егор Адрианович называет Арктику «страной чудес и безобразий». Туман рассеялся столь же неожиданно, как и сгустился. И я записал как набросок для очерка такую фразу: «Солнце ослепительно светит с аквамаринового, — нет, лучше сказать «кобальтового», — небосвода». Ну да ладно, бог с ним, с определением цветовых оттенков, какое там небо, кто его знает? Главное, что дорого нам сейчас, оно безоблачно, идеально чисто. А льды, тут уж сомнений быть не может, уместно сравнить со стерильно белой, туго накрахмаленной скатертью, льды сверкают под солнцем столь нестерпимо ярко, что всем приказано не выходить на палубу без темных очков. И явственно видна на горизонте, там, где льды сливаются с небом, темная, почти чернильная полоса. И вот за кромкой льдов открылись нашему взору пляшущие под ветром невысокие волны, мутноватые, цветом похожие на желудевый кофе слабой заварки.

Казалось бы, путь наш чист до самого острова Сидорова, в бухте которого предстоит встреча с речными судами, идущими в Якутию с Большой Реки, и встреча с начальником нашей экспедиции. Да, казалось бы... Но воспользоваться этим путем смогли пока только морские транспорты «Котовский», «Щорс» и «Чапаев», ледокол на чистой воде им не нужен. Распрощавшись с «Разиным» гудками, они легли курсом на ост.

А мы — опять во льды, на этот раз к норд-весту. Узнаю об этом в кочегарке. После двухчасовой размеренной работы вдруг в середине вахты приходит команда: «Давай шуруй, гони к двенадцати».

Получить более обстоятельную информацию мне удалось лишь после ужина, увидев Никиту и Пузанкова. Оба зачехляли мотор амфибии, укрепляли самолет заново на стояночной площадке. Оказывается, пока я трудился у топки, они успели сделать небольшую разведку к северо-западу.

— От бати вышел такой приказ! В воздухе пробыли час пятьдесят две минуты, — сообщил Никита, — к «Чирикову» путь разведывали. — Заметив мое недоумение, брат продолжал: — Ты, дух, так и погибнешь в невежестве в своей преисподне. Так вот, имей в виду: пять уж суток, оказывается, прошло, как затерло «Чирикова», а капитан все голосу не подавал, хорохорился: без ледокола, мол, обойдусь. Этот, как его, Шалава, Элиава, Настасьин новый поклонник. В таком духе и отцу нашему в Сидоровскую докладывал по рации. Ну а батя любит ухарей, неравнодушен к этому кавказскому полярнику, вот и верил на слово. Но вдруг сегодня после обеда вызывает нашего кэпа к ключу: «Помогайте, Степан Ермолаич, молодому коллеге». Кэп, понятно, нас с папой Кузей пригласил. Только от нашей разведки толку чуть — лед сплоченный, где восемь баллов, а где и все девять. Потому и топаем напролом, теперь больше полагаясь на вас, уважаемые кочегары.

Неприятно поразил меня тон Никиты, непонятна его недоброжелательность к Элиаве, капитану «Чирикова». Как это можно, не будучи знакомым с человеком, так пренебрежительно отзываться о нем.

И еще что резануло мой слух: Никита назвал Элиаву «Настасьиным поклонником», даже «новым поклонником», намеренно подчеркнул. Злобно как-то и глупо, в общем.

После полудня мы расстались с караваном, а к полуночи — августовское солнце стояло чуть выше черты горизонта — ледокол приблизился к этому кораблю, о котором ходило столько разговоров среди полярстроевских работников и в Архангельском порту. Вблизи пароход «Алексей Чириков» выглядел отнюдь не столь примечательно.

— Коробка как коробка, что ты скажешь, Кит? — обратился я к брату.

Мы стояли у поручней на баке «Разина». Никита не ответил. Вооружившись биноклем, он рассматривал приближающееся судно. Точнее, брата интересовал не сам пароход, а люди, толпившиеся на спардеке «Чирикова».

— Вот она, узнаешь, Дюш? — Брат подвинул к моим глазам бинокль, и в окулярах его, точно в кинокадре крупным планом, близко-близко заулыбалась Настя, в теплом платке и полушубке, румяная, заметно загоревшая.

Тем временем оглушающие трели машинного телеграфа буквально пронзили весь ледокол от верхнего мостика до кочегарки. Подав команду «малый ход», капитан Грачев начал неторопливо швартоваться. Аккуратненько подвел своего «Стеньку» к борту «Чирикова». Наши матросы сбросили кранцы. На пароходе приняли концы, завели их за кнехты. И капитан Элиава, жгучий брюнет в полурасстегнутой шинели, сверкавшей золотыми пуговицами, поднес руку к козырьку фуражки:

— Здравия желаю, Степан Ермолаич!

— Привет, Шалико, — кашлянув, ответил наш бородач, одетый, как обычно, в стеганую телогрейку и такие же брюки, на ногах толстенные, домашней вязки носки и ночные туфли из нерпичьей шкуры. — Ну, как джигитуешь?

Потом капитаны обменялись рукопожатиями у трапа, и Элиава повел Грачева к себе, а мы с Никитой вмиг очутились на спардеке «Чирикова» рядом с Настей.

— Здоровы, Багровы! — Настя радостно чмокнула меня в щеку, крепко обняла Никиту.

Потом, зардевшись от смущения, отступила на шаг, начала представлять нас своим спутникам по будущей зимовке: невзрачному, заметно прихрамывающему геологу Ивану Архиповичу, низкорослой, под стать мужу, Валентине Филипповне и второй супружеской чете — Силкиным. Тут уже я впопыхах не запомнил, кого как зовут.

— Все мы «болховчанами» теперь прозываемся,

земляки, значит, по острову Болховского, — довольная, тараторила Настя.

— Да погоди, Егоровна, — забавным дискантом в этаком отеческом тоне журил ее Иван Архипович, — не хвались, матушка, идучи на рать, до острова Болховского нам еще доплыть надо, да выгрузиться там, да построиться.

— Доплывем, Иван Архипыч, — не смущалась Настя, провожая меня с Никитой в четырехместную каюту по левому борту.

Через полчаса капитаны, посовещавшись, приказали: всем «разинцам» и «чириковцам» выходить на аврал, перегружать на ледокол часть угля с парохода, чтобы уменьшить его осадку. Форштевень строившегося в Дании «Чирикова» был не литым, как того требуют условия полярного плавания, а склепанным из двух станин. Причем соединены они как раз на ледовой ватерлинии — в том месте, где судно соприкасается со льдом. Единственный путь к тому, чтобы избежать соприкосновения корабельного корпуса со льдом этим самым слабым местом форштевня, — поднять осадку судна, то есть снять часть грузов.

— Что называется, ахиллесова пята парохода «Чириков», — ворчал в бороду наш Степан Ермолаевич, сочувственно поглядывая на младшего коллегу. — Однако назвался груздем, Шалико, полезай в кузов.

Тот старался ничем не выдавать своей озабоченности:

— Вылезем из кузова, Степан Ермолаич, с вашей помощью вылезем.

Насыпая углем бадьи, застропливая их к стрелам лебедок, я работал вместе со всеми по восемь часов подряд, старался не отставать от товарищей. Я даже успевал делать кое-какие записи в блокнот, но вскоре я начисто забыл о своих журналистских обязанностях. Мне невольно бросилась в глаза какая-то странность в отношениях близких мне людей — Насти и Никиты. Их радость при встрече в первый момент, когда был подан трап, их смущение, скованность, растерянность, едва оставались они вдвоем. Хотя таких минут за трехсуточный аврал выпало немного, но именно они запали мне в память. Один раз Настя сидела в каюте на краю

своей койки, опустив голову на руки, а Никита смотрел в открытый иллюминатор.

Он сказал: «Я все прочитал, Настя. Все помню наизусть». Она переспросила: «И понял? Все, все понял, Кит?» Он кивнул головой: «Да... И ты знаешь, мне захотелось написать тебе еще больше. Только, наверно... я не знаю, не понимаю...» Она спросила: «Так кто же виноват, что у нас так?» Он развел руками и, заметив, что в каюту вошел я, попросил меня тоскливо: «Дюш, дай закурить, что ли...»

Закурить? Никогда прежде Никита не проявлял ни малейшего интереса к табаку, да и меня, помнится, еще в школе усиленно отговаривал от курения. И вдруг: «Дай закурить». Я, конечно, достал папиросы. Но Никита не взял. Только вздохнул и снова повернулся к открытому иллюминатору.

Потом в кают-компании «Чирикова» мы пили чай. Настя хозяйничала, сидя слева от капитана. Элиава поглядывал на нее прямо-таки влюбленно, что-то вполголоса напевал. А старший мой брат смотрел на этого симпатичнейшего в общем-то парня с откровенной антипатией. И порол явную чушь:

— Нет, Шалва Луарсабович, ваш батумский чай — это пойло... Как хотите, но это так. Пить его могут только алкоголики, да и то в холодном состоянии.

Капитан, воспитанный человек, старался не замечать грубости.

— А вы прилетайте к нам в Батуми, Никита Егорыч, и Настасью Егоровну привозите с собой. Такую устроим в субтропиках зимовку, куда там Арктика! — Потом вполголоса, с грустью он спросил Настю: — И зачем вам этот остров, а?

Тогда Настя, неожиданно встав из-за стола, сказала:

— В самом деле, зачем?

И, рывком открыв дверь, вышла из кают-компании.

...Тоскливо было у меня на душе в час прощания. Расцеловав нас обоих, Никиту и меня, так и сыпля по своему обыкновению шутками, Настя вдруг расплакалась.

Она долго стояла у поручней, пока «Разин» разворачивался во льду, а «Чириков» подстраивался ему в кильватер. Потом корабли пошли, ледокол выводил пароход за кромку.

Заступать на вахту мне было позже, я стоял на корме рядом с братом. Оба мы смотрели назад, видели одинокую фигурку Насти на полубаке «Чирикова». Она зябко куталась в полушубок, махала нам рукой.

И такие бывают рандеву

«Начальник Якутской экспедиции Е. А. Багров прибыл на ледокол «Степан Разин» и принял командование» — в таких примерно выражениях были составлены две радиограммы в Москву в редакции газет: большой, центральной и органа водников «На вахте». Этому сообщению предшествовала картина, на наш с Ан. Дэром журналистский взгляд, весьма впечатляющая. В бухте острова Сидорова было тесно, «от вымпелов в глазах рябит», как отметил верный своим «маринизмам» мой старший коллега. В бухте стояли на якорях три морских транспорта: «Котовский», «Щорс» и «Чапаев» — и три речных судна: пароход «Сибирский партизан» и теплоход «Встречный план» с лихтером, крупной высокобортной баржей на буксире. Вдали под самым берегом покачивался пришвартованный к бочке большой гидросамолет «Полярстрой-2». Взад-вперед бегали юркие катера местной полярной станции. И наконец, на внешнем рейде, в узком проливе между островом и материком, стал линейный ледокол «Степан Разин», ему большая осадка не позволяла войти в бухту.

Загремела якорная цепь на баке, и все, кто был на палубе ледокола, увидели приближающийся теплоход «Встречный план». Рядом с капитаном на мостике стоял Егор Адрианович, в распахнутом реглане, приветственно подняв руку. У парадного трапа на «Разине» его встречал капитан Грачев, выглядевший очень торжественно, сменивший свой обычный потертый ватник на новенькую морскую форму.

Легко взбежав на борт ледокола, отец обменялся рукопожатием с капитаном и с синоптиком Дзяволтовским, после чего прошел в приготовленную для него каюту. Через полчаса, когда два спецкора принесли ему «на визу» свои сообщения, Егор Адрианович сидел за столом над картами и метеосводками, по своему обыкновению нещадно дымя трубкой.

— Итак, значит, ком-мю-ни-ке, — усмехнулся он. — Пресс-бюро экспедиции уже трудится. — Пробежав глазами оба листка, он аккуратно сложил их и опустил в ящик стола. — Воздержимся от рекламы, которая, как известно, двигатель торговли. Торговать нам пока еще нечем. Факт поселения моего в походной каюте «Разина» не столь уж существен для покорения Арктики. Борьбу со стихиями начнете описывать, когда войдем во льды. А пока что прошу вас, Анатолий Борисович, — он повернулся к Дерману, — обратите внимание на людей. Вы у нас летописец полярный, говорить умеете не хуже, чем писать. Вот и расскажите народу, я имею в виду пассажиров «Котовского», что к чему. Куда это их везут, где им судьбой уготовано жить-зимовать, какой порт строить на якутской земле.

Заметив мое удивление, отец и ко мне обратился столь же официально, впервые в жизни назвав по имени-отчеству:

— А вам, Адриан Егорыч, от этого только польза будет в порядке, так сказать, самообразования. Да и не только вам, думаю. Кое-какие сведения пригодятся и некоторым начальникам.

Последние слова относились к двоим, вошедшим за нами в каюту. Сначала в полумраке каюты я не обратил на них внимания. Но потом, приглядевшись, узнал обоих. Один, в железных очках, в ватнике и ушанке, оказался давним моим руководителем, редактором «Заполярного большевика» Трофимом Никодимовичем Кочкиным по прозвищу «Едига», второй, в драповой, перепоясанной крест-накрест ремнями шинели без петлиц, с маузером в деревянной кобуре, был тем уполномоченным, который приезжал два года назад в Егоркино.

Я недоуменно смотрел на них. Какое отношение они имеют к предстоящему походу кораблей в Якутию? И, наконец, что за пассажиры едут на «Котовском»?

Отец, не обращая никакого внимания на вошедших, говорил Дерману:

— Об амнистии высланным вы, конечно, знаете, Анатолий Борисыч. За ударный труд многие бывшие кулаки восстановлены в гражданских правах, что может подтвердить товарищ Кочкин, недавно вручавший им билеты членов профсоюза.

Кочкин приосанился, поправил на носу очки, точь-в-

точь как в Егоркине, когда я приносил ему газетную полосу на подпись.

— Та-ак, — отец посмотрел на меня, — теперь о следующем поколении, о твоих, Адриан, сверстниках. Им всем выданы паспорта. А тех, кто имеет желание трудиться на Крайнем Севере, Полярстрой направляет в Якутию. Работы там хватит. Во-первых, суда наши в бухте Стадухина разгружать. Затем порт строить. Помогать геологам, большая разведка на нефть начинается близ Стадухинской бухты.

Сделав паузу, отец весело посмотрел на Дермана, взявшегося было за карандаш:

— Только, Анатолий Борисыч, никаких пока «Заполярных Баку», ясно? А то ведь вы, журналисты, распишете.

— Хорошо, Егор Адрианыч, — улыбнулся Дерман.

— Ну вот, едет егоркинская молодежь, полноправные советские граждане, зимовать в Стадухино. Едут парни и девчата, там уже кое-кто успел пожениться. Понимают, конечно, что на якутской земле ждет их не санаторий, но не унывают, знают, что нужны они там, в Якутии. Вместе с тем и море и льды — все им впервой, в новинку. Разместили мы их на «Котовском» в твиндеке, сами понимаете, комфорт не ахти.

— Ясно, Егор Адрианыч, коли так, необходимо среди них политмассовую работу развернуть, так сказать, образовать, — не выдержал, подал голос Кочкин.

— Именно, — согласился отец, — однако про обострение классовой борьбы в реконструктивный период ты, Трофим Никодимыч, им разъяснять погоди. Это они усвоили на практике. А вот про русских мужиков на Севере желательно рассказать им, чтобы знали они свою родословную, ну, скажем, от Ермака Тимофеевича. Рассказать о Семене Дежневе, о Михайле Стадухине, чьим именем бухта в Якутии окрещена. — Отец бросил взгляд на Кочкина: — Ну а ты сам, будущий вождь стадухинских портовиков, что на сей счет знаешь?

Кочкин пожал плечами, снял очки, стал протирать стекла.

— Ладно уж, — милостиво согласился отец, — Якутия далеко. Может быть, тогда интересовался ты, Трофим, кто такой был Сидоров? Островок этот с бухточкой почему Сидоровским зовут?

— Слыхал что-то, Егор Адрияныч, — забормотал Кочкин, — вроде был тот Сидоров купец сибирский, промышленник, капиталист, стало быть...

— Да, познания твои, Трофим, о Сидорове, как говорится, на уровне сидоровой козы, — усмехнулся отец. — А Сидоров Михаил Константинович, замечательный человек, русский патриот, радетель Сибири. Все свое состояние истратил, пытаясь наладить плавание Северным морским путем. Умер, между прочим, в бедности тот капиталист. В восемнадцатом в Архангельске, как сейчас помню, один ледокольный пароход так и назвали «Михаил Сидоров» в его честь. Да только потопили беляки тот корабль. В общем, как я понимаю, многим будет полезно послушать, — помолчав, сказал отец. — Так вот подгребайте вы, Анатолий Борисыч, на «Котовский», проводите там беседу с будущими зимовщиками, просвещайте их по истории нашей Арктики.

— Все, что смогу, сделаю, Егор Адрианыч. — Дерман поднялся.

— Да и младшего коллегу с собой прихватите. — Отец взглянул на меня. — Если, конечно, он от вахты сейчас свободен. Тебе, Адриан, учиться надо вести пропаганду не только печатно, но и устно.

В каюту начальника экспедиции вошли капитан Грачев и синоптик Дзяволтовский. В открытый иллюминатор было слышно, как стучит мотором катер у борта «Разина». На предстоящее совещание прибыли капитаны остальных судов.

— Так, с массовыми мероприятиями все ясно. — Отец распрощался с Кочкиным и его спутником, шутливо подтолкнул к двери Дермана и меня. Очень хотелось нам обоим хоть краем уха послушать «совет богов», но дисциплина обязательна и для журналистов.

Впрочем, не менее интересным оказался наш визит на пароход «Котовский». Пассажиры его, молодые парни и девчата, жили в твиндеке первого трюма. Надо отдать должное заботливости здешнего капитана Александра Петровича Тихомирова: трюм, предназначенный для перевозки штучных грузов, он оборудовал в уютное жилое помещение. Вместо сплошных нар стояли койки, правда, расположенные в два яруса, но отделенные друг от друга невысокими барьерчиками.

Девушки-пассажирки — их было немного среди будущих зимовщиков — отгородили себе уголок цветастыми занавесками. Второй такой же импровизированный отсек, отделенный мягкими, колышущимися от малейшего сквозняка переборками, занимали четыре супружеские пары. У входного трапа, ведущего на палубу, стоял грубо сколоченный, накрытый клеенкой стол с двумя покосившимися скамейками.

На столе мы с Дерманом сначала разостлали большую географическую карту, прихваченную из красного уголка «Разина». Но потом сообразили, что беседу лучше вести на палубе, благо погода стояла солнечная, тихая. Карту повесили на борт кунгаса, предназначенного для рейдовых грузовых операций, наглухо задраенного, и накрытого брезентом. Вместо указки Дерман вооружился здоровенным шестом, который он одолжил у боцмана.

Кочкин объявил:

— Граждане молодые полярники, мы приглашаем вас послушать известного московского журналиста товарища Дермана.

Анатолий Борисович заговорил. К моему удивлению, излюбленными своими «маринизмами», обильно уснащавшими очерки и заметки Ан. Дэра, он в своем выступлении не злоупотреблял. Про Гольфстрим и паковые льды, про парусные кочи поморов и современные ледоколы рассказывал просто, будто речь шла о речках и полях, о крестьянских избах и телегах. Знаменитых первооткрывателей и землепроходцев называл по имени-отчеству, будто с каждым из них съел по пуду соли. Для пущей убедительности время от времени добавлял: «отчаянной жизни мужик», или «забубенная головушка», или «одно слово — казак». Вспомнил вместе с Ермаком атамана Ивана Кольцо, возглавлявшего посольство Ермака к Грозному после завоевания Сибирского царства. Добрым словом помянул Ерофея Хабарова, напомнив, что город на Дальнем Востоке и целый край названы его именем и что даже станция такая есть на железной дороге в Забайкалье — Ерофей Павлович.

Аудитория вела себя на редкость внимательно. Ребята и девушки, сидевшие на люке второго трюма, стоявшие вдоль бортов, прислонившись к кунгасу, слуша-

ли, как говорится, разинув рты. Посмеивались частым шуткам лектора. Одобрительно переглядывались, подталкивали друг друга, когда Анатолий Борисович время от времени произносил: «Итак, товарищи», или «Вы, товарищи, о своих славных предках еще многое можете узнать». По всему видать, такое неожиданное для них вежливое обращение было им приятно. К перепоясанному ремнями уполномоченному и к профсоюзному руководителю Кочкину они обращались не иначе как «гражданин начальник».

Трофим Никодимович время от времени шептал мне: «Ты скажи, Андреян, какой эрудированный писатель-то».

— Как, будут вопросы к лектору? — спросил он слушателей, после того как Дерман закончил рассказ.

— Не, какие вопросы, спасибочко вам! — разноголосо загудела молодежь.

— Ну, тогда похлопаем Анатолию Борисовичу. — Кочкин с чувством пожал руку Дерману, затем пригласил нас к себе в каюту. Там извлек из шкафчика поллитра спирта, развел водой из крана, плеснул пахучее пойло в стаканы, вскрыл финским ножом банку с консервами:

— Со свиданьицем, значит, дружки. А мы, Анатолий Борисович, такую газетину печатали в Егоркине, на Большой Реке, такую газетину, только держись.

И вскоре, разомлев от выпитого, проговорился, что в Якутию собрался он после того, как прокатили егоркинские портовики его кандидатуру в профсоюзный комитет.

— Не оправдал, выходит, доверия масс. Однако не горюю. В экспедицию сам директор меня взял ответственным исполнителем по грузам. Ну и культработу мне поручил заодно. Да-а, а в Стадухино придем, останусь там зимовать. Новый-то порт кому-то надо строить. Как ты думаешь, Андреян?

— Надо, надо, Трофим Никодимыч. На ветеранах вся Арктика держится, а вы-то известный ветеран.

— Ты, стало быть, меня уважаешь, Андреян. А уж я-то тебя знаешь как, зна-ешь... Нам бы с тобой на одном судне́ в поход иттить.

— Не на судне́, а на су́дне, Трофим Никодимыч. — Дерман осторожно поправил ударение.

— Не имеет значения. Главное, вперед, во льды!

Курс не изменен

Начало плавания якутского каравана я описывал в радиограмме, которую удалось все-таки отправить в Москву, получив предварительно визу начальника экспедиции:

«После дальней разведки на гидросамолете ПС-2, совершенной пилотом Лазуренко, ледокол «Степан Разин» поднял якоря и лег курсом на северо-восток. Вслед за флагманом в кильватерном строю идут транспорты «Щорс», «Котовский», «Чапаев». Речная часть экспедиции оставлена пока в бухте Сидоровской из-за неблагоприятной обстановки — льды, обнаруженные с воздуха на большей части разведанного самолетом пути, могут стать серьезным препятствием и для морских судов. Ближайшие дни покажут, насколько это препятствие преодолимо».

— Этого, пожалуй, хватит пока для осведомления твоих читателей, Адриан, — сказал отец, нещадно зачеркнув все остальное, отнесенное им к «литературным красотам». — Нам еще плыть и плыть, написать еще успеешь.

Протянув мне листок, отец тихонько вздохнул, глянул на стоявшего рядом, заметно поскучневшего Дермана. И его сообщение, куда более пространное, чем мое, карандаш Егора Адриановича обкорнал столь же беспощадно. Против обыкновения отец с нами не шутил, выглядел усталым, рассеянным. Не радовали начальника экспедиции результаты разведки. Недоволен он был и тем, что сроки, намеченные по плану, заметно отодвигались. Вместо первых чисел августа, как предполагалось первоначально, движение судов от Сидоровской на северо-восток началось лишь шестнадцатого августа. Причиной тому и задержка погрузки в Архангельске, и поздний подход речного каравана, доставившего пассажиров из Егоркина, и вынужденное возвращение «Разина» во льды на выручку «Чирикову».

Двухнедельное опоздание беспокоило и капитана

Грачева. Во второй половине августа солнце в этих широтах уже не светит круглые сутки. А в сумерки — хоть они и непродолжительны пока — вести большой караван путем, известным доселе лишь по одиночным плаваниям экспедиционных судов, вести даже по чистой воде рискованно. Можно и на мель сесть, и подводным камнем корпус пропороть. Это пусть журналисты восторгаются, что, мол, раньше плавали здесь только Нансен и Толль, Вилькицкий, Свердруп и Амундсен, а теперь, извольте видеть, советский ледокол сразу целую флотилию ведет. Капитану Грачеву, повидавшему на своем веку почти все моря и океаны планеты, было не до романтических ощущений.

Так определили мы с Анатолием Борисовичем настроение нашего бородача, когда поднялись на верхний мостик, где, завернувшись в тулуп, стоял Степан Ермолаевич.

Недовольными выглядели и подошедшие к нам авиаторы. Никита молчал, явно завидуя Лазуренко, чей большой гидросамолет совсем недавно прошел над нашими мачтами, возвращаясь в бухту Сидоровскую. Корабельному разведчику Багрову о таких дальних вылетах нечего и мечтать. Хмурился и Пузанков, недолюбливавший Лазуренко, новичка в полярной авиации.

— Куда ему до покойника Густавыча, пижон, — бурчал он себе под нос. — Почему только восемь часов был сегодня в воздухе, ежели горючего на гидре на полсуток без малого? Страхуется, осторожничает.

— Ладно, «механер-аншеф», — Никита обнял папу Кузю за плечи, — и наш воробей пригодится еще начальству.

— Точно, Егорыч, — круглолицый Пузанков весь лучился бесчисленными морщинками, — мы с тобой, командир, орленка вырастим из нашего воробушка.

И оба авиатора пошли на корму к площадке, на которой стояла амфибия.

Дерман шепнул мне:

— Не терпится им. Поскорей во льды хотят, чтобы их в разведку послали.

Терпеть нашим авиаторам пришлось недолго. Всего только сутки шел караван по чистой воде. Не сбавляя восьмиузлового хода, ледокол вспарывал форштевнем

желтоватую воду, особо не спешил, чтобы не отставали идущие в кильватере транспорты.

Пустынные, голые, лишенные растительности, плыли вдали сибирские берега, местами коричневатые, местами в грязных потеках снега, начавшего было таять, но затем схваченного ранними августовскими морозами.

А на вторые сутки, как раз на моей вахте, ледокол встал. Вокруг стлался густой молочный туман. Когда туман рассеялся — я только что поднялся из кочегарки, — всюду, насколько хватал глаз, тянулись поля с редкими разводьями, тут и там пересекавшиеся невысокими торосами. Корабли стояли, потеряв былую строгость кильватерного строя: справа «Щорс» и «Чапаев», слева, ближе к нам, «Котовский». На палубе его было людно. Парни и девушки, пассажиры первого твиндека, одетые по-зимнему, толпились у бортов. Некоторые, узнав меня, замахали руками, закричали что-то. Но мое внимание было занято другим. Наш боцман хлопотал у лебедки, матросы заводили стропы под амфибию, а на льду, выбрав самое просторное и ровное поле, с шагомером, сколоченным из двух шестов, озабоченно шагал Никита.

— Площадочка подходит. Разрешите, Егор Адрианыч? — спрашивал он отца, стоявшего у поручней рядом с капитаном Грачевым и синоптиком Дзяволтовским.

— Со льда хочешь? — переспросил отец. — А может, полынью поищем поблизости?

— Никак нет, — Никита отвечал твердо, держа руку у козырька пилотского шлема. — Полынья может закрыться после взлета. Да и, в конце концов, амфибия у нас для чего?

— Ну, тебе видней, — Егор Адрианович кивнул и, сойдя на лед, начал подавать команды лебедчику. Придирчиво проследил за тем, чтобы матросы оттащили в стороны небольшие ропаки на взлетной площадке, чтобы скололи пешнями все неровности льда.

Никита залез в кабину. Рядом с ним уселся штурман ледокола Гуляев. Пузанков крутанул пропеллер, гаркнул: «Контакт!» Никита ответил: «Есть контакт!» И амфибия, прочертив лыжами мягкий снег, после короткого разбега оторвалась от льда, пошла ввысь.

Наверное, потому, что это был уже второй полет Никиты с борта ледокола, я не испытывал особой тревоги.

Спокойно вел себя и Кузьма Дорофеевич. Проводив взглядом улетающий самолет, он пошел в кают-компанию. А вот отец... Все эти два с половиной часа Егор Адрианович не уходил с палубы, часто поглядывал то на небо, довольно-таки хмурое, то на синоптические карты, которые не уставал развертывать перед ним Дзяволтовский. Едва вновь появился на палубе Пузанков, начальник экспедиции подошел к нему, недовольно сказал:

— А плохо это, Дорофеич.

— Что плохо, Егор Адрианыч? — не понял тот.

— А то, что нет рации на аэроплане вашем.

Пузанков развел руками:

— Оно конечно, в воздухе всегда надо бы иметь связь. — И добавил укоризненным тоном: — Эх, товарищ директор, Никите Багрову в самый раз большой «гидрой» командовать, там и рация, и штурман-радист, все честь по чести.

— Нет, нет, для большой машины молод парень, — почти рассердился отец. — Как еще на этой-то вытянет?

И сразу изменился в лице, весь прямо-таки побурел — такой у него румянец, у рыжеватого нашего бати, — когда амфибия загудела, скрытая облаками, и мгновением позже, вынырнув из серой пелены, прямо над нашими головами пошла на посадку.

— Однако тянет мой командир неплохо, — приятельски подмигнул бортмеханик Егору Адриановичу и пошел зачехлять мотор амфибии.

Карту с результатами разведки штурман Гуляев разложил на столе ходовой рубки перед капитаном Грачевым и начальником экспедиции. Разведчики хоть и не нашли нигде поблизости чистой воды, но обнаружили большие акватории с мелкобитым льдом. Туда и двинулся ледокол, форсируя ледовые поля, выводя за собой транспорты.

Заглядывая вместе с Дерманом в вахтенный журнал, мы переписывали в свои блокноты пометки штурманов.

«1.05 минут. Впереди сплошное ледяное поле. Слабый туман. Выбрали лаг и лот. Развернулись, тихим малым ходом обходим поле».

«1.35 минут. Остановились, чтобы подтянуть отставший караван. Идем переменными курсами и ходами по указаниям капитана, выбирая путь во льду».

«3.35 минут. Густой туман. Стоим. Машины в пяти-

минутной готовности. За вахту прошли по курсу 5,5 мили, фактически 12 миль. Широта... долгота... Определились по радиопеленгам береговых раций. В течение вахты туман с переменной видимостью от 1 до 2 миль. Лед от 5 до 9 баллов, мелко- и крупнобитый, обломки полей. Суда следуют за ледоколом. С 3.35 стоят во льду в тумане».

Многое изменилось за последнюю декаду нашего плавания. И самое главное — лед уже не тот, что был прежде. Здесь уж не встретишь зеленоватых плоских обломков, рассыпающихся от прикосновения форштевня. Поля сплоченные, паковые, смерзавшиеся не одну зиму. Плотный снег толщиной в добрую четверть метра покрывает лед. От удара о такую льдину корабль весь дрожит, временами его бросает в стороны. Разводья-майны встречаются редко. Озерца чистой воды разделены крепкими ледовыми перемычками. Местами майны затянуты молодым ледком, прозрачным, как стекло иллюминатора. Погода изменилась. По словам синоптика, нордовый ветер гонит лед из центральной части Арктического бассейна сюда, в прибрежные полярные моря, по которым проходит наша судоходная трасса.

В результате всего там, где дальняя разведка Лазуренко пять суток назад обнаружила большие полыньи, теперь их нет и в помине. Эх, прийти бы нам сюда тогда вместе с гидросамолетом. До южного острова Ледяной Земли, конечной точки полета Лазуренко, еще добрых две сотни миль. А дальше за архипелагом, что там?

На мостике настроение мрачное. Ждут нового вылета Лазуренко из Сидоровской, новой разведки. А в Сидоровской, как на грех, то штормило три дня кряду, то густой туман.

Степан Ермолаевич, кажется, забыл о существовании своей каюты. Так и живет в ходовой рубке и на мостике, куда буфетчица Даша приносит ему термос с крепчайшим чаем. Кэп дует стакан за стаканом, пыхтит, бубнит себе в бороду: «Кто пьет чай, тот отчаянный». А стоящий рядом начальник экспедиции, пряча в карман дымящую трубку, чтобы не портить кэпу аппетит, посмеивается: «В нашем деле, Степан Ермолаич, без отчаянности нельзя».

Молча стоят на мостике синоптик Дзяволтовский и корабельный разведчик, пилот Багров. Знаю: мало от

них толку, хорошей погоды не закажешь, амфибию с битых льдов в воздух не поднимешь.

Наше кочегарское дело проще. Отстоял вахту — можно отдыхать. Втиснувшись в койку, засыпаю под хруст ломаемых форштевнем льдин.

Просыпаюсь от внезапной тишины. Ледокол стоит. Вдруг слышу грохот сапог в железном коридоре. В открытую дверь вижу старпома, бегущего к машинному отделению. Ничего не могу понять — редкий гость тут старпом.

Слышу, как он приказывает:

— Водолаза, да живо!

Спрыгнув с койки, быстро одевшись, сталкиваюсь в коридоре с машинистом Дмитриевым, возбужденным до крайности.

— Не иначе обломан левый винт, — кричит он, бурно жестикулируя. — Ты понимаешь, как завертелась наша левая, сразу сто пятьдесят оборотов дала. Шли-то мы на восьмидесяти. Так, думаю: нет винта. Сразу деду в каюту — звяк. Ну, остановили машины...

Вслед за Дмитриевым, помчавшимся по трапу, поднялся на ют и я. О том, что было дальше, пусть расскажет мой репортаж в «На вахте». И пусть не сетуют читатели на излишние подробности и взволнованный тон. Поломка винта во льдах — ЧП высшей степени!

«На юте шли приготовления к спуску водолаза. У левого борта, в узенькой полынье чуть покачивалась шлюпка. В ней хлопотал молодой матрос Толя Шелепихин. С кормы шлюпки он опускал железный трап. Я видел, как синеют Толины руки, как покрываются тонким ледком верхние ступеньки трапа. Подняв воротники полушубков, стояли на юте ледокола стармех Василий Захарович, судовой врач Шишмарев, второй механик Борисенков. Из люка поднялся водолаз Птицын, румяный, кровь с молоком, крепыш в плотном свитере и рейтузах, в вязаной шапочке на круглой голове. Доктор взглянул на него пристально, пощупал пульс, спросил:

— Ни на что не жалуешься?

— Порядок, Сергей Андреич, — водолаз сделал грудь колесом.

— Ну валяй.

Птицыну подали «доспехи» — тяжеленные уродливые сапоги на свинцовой подошве, резиновую робу,

скользкую, как лягушачья кожа, медный шлем, похожий на глобус, — все вместе это называется скафандром. С помощью двух матросов Птицын облачался неторопливо, обстоятельно, как «архиерей перед службой», так шутливо выразился стармех.

Потом водолаз спустился в шлюпку, пошел по железному трапу в воду, держась за трос, продетый под кормой ледокола. Люди на юте затаили дыхание. Бледные, с вытянутыми лицами, стояли матросы, машинисты, механики. Доктор, облокотившись на поручни, смотрел на секундомер. В тишине, натянутой как струна, тикал часовой механизм.

«Семь... Семь сорок... Восемь... Восемь восемнадцать...» Пузыри из-под кормы пошли чаще. Рядом со ступеньками железного трапа заблестел над водой медный шлем. Водолаза подняли, сняли шлем, открыли голову. Тяжело дыша, отдуваясь, он заговорил:

— Ни лопастей... Ни вала... Был винт, и нет винта... Вот так. — Птицын с досады чертыхнулся, скрипнув зубами.

А мы слушали его и молчали. Белая равнина, вздыбленная торосами, простиралась окрест. Пронизывающий ветер слезил глаза. Жестоким, злым казалось прежде всегда приветливое солнце, только начинавшее сейчас подниматься над горизонтом. Кроваво-красные лучи восхода ложились на снег тревожным заревом. Мы слушали водолаза и молчали. Всем было ясно: без одного из трех гребных винтов корабль стал инвалидом. Неужели сорвется первый морской поход в Якутию, неужели полярный ветеран «Степан Разин» повернет назад и потащится домой бесславным путем калеки?»

Да, это были тревожные минуты.

Что происходило в это время в каюте начальника, в штурманской рубке, не знаю. Но не прошло и часа, как на лебедку застропили самолет. Спустили его с правого борта на воду, после того как матросы на шлюпке растащили в стороны плавашие там небольшие ледяные обломки, измерили полынью в ширину и длину. Никита и Пузанков, посовещавшись, решили: такой акватории хватит для взлета.

На этот раз в кабину рядом с пилотом сел начальник экспедиции. Плотно застегнув реглан, повязав шарф поверх поднятого воротника, Егор Адрианович уселся

на правое кресло, потеснив немного Никиту. Усмехнулся:

— Виноват, товарищ командир.

Наблюдать взлет мне не удалось, надо было идти на вахту. Там, у топки, можно и погреться и отдохнуть, благо ледокол стоит. Однако и не работая, устал я за эту «ленивую вахту так, как не выматывался никогда при самом форсированном ходе корабля.

О чем, собственно, волновался, и сам не пойму. Ну полетели на разведку, так не в первый же раз! Ну отец в кабине — значит, так надо. Не новичок он в воздушных странствиях — летал и с Таубе, и с Лазуренко, и с другими полярстроевскими пилотами. Почему же все-таки так боязно, тревожно мне? Сказалась, наверное, общая нервная усталость от бесконечной этой толкотни во льдах. Да и авария — как обухом по голове. Здраво рассуждая, именно от разведки зависит сейчас все: найдут Никита и отец чистую воду — пойдем дальше. Ясно, пойдем! А не найдут, тогда что?

В прибрежной полосе, где стоял наш караван, начиналась подвижка взломанного припая. Усиливающийся норд-вестовый ветер гнал лед к берегу. Поля, налезая друг на друга, громоздили торосы. Ледяные валы придвигались к самым бортам. Корпус «Разина» яйцеобразной формы, рассчитан конструкторами на возможность таких осложнений. Льды выдавливали ледокол, чуть приподнимали его. Не беда! А вот транспортам, чьи обводы корпуса рассчитаны лишь на то, чтобы преодолевать сопротивление волн, приходилось совсем плохо. Острые грани ледяных обломков вдавливали внутрь металл обшивки, давили на шпангоуты, «корабельный скелет». О вмятинах и двух лопнувших шпангоутах, об одной даже пробоине тревожными гудками сообщали капитаны «Щорса» и «Чапаева».

Степан Ермолаевич повел своего «Разина» на выручку, начал обкалывать транспорты по очереди.

Надо было видеть, как степенно, без малейших признаков суетливости расхаживал бородач по мостику, поглядывая за борт, подавая команды сигналами машинного телеграфа и просто голосом.

— Полный вперед! Стоп. Малый ход. Самый малый назад... Право руля... Право на борт. Так держать... Одерживай... Одерживай!

Могучий капитанский баритон, усиленный мегафоном, громыхал надо льдами, точно иерихонская труба. Рулевые, работая вдвоем, едва поспевали поворачивать громоздкий штурвал. Но ни разу не услышали они ни одного сердитого слова. Иногда, правда, кэп от полноты чувств звал их «голубчиками», когда гневался, иногда «ребятушками», когда оставался доволен.

Разинцы, все, кто оставался на палубе, готовы были расцеловать своего капитана, так мастерски маневрировал он аварийным ледоколом, оставшимся при двух винтах, потерявшим, строго говоря, почти половину мощности. Черт знает какая ледовая кутерьма творилась в эти минуты под кормой «Разина», грозя новыми поломками двум еще целым винтам.

Я понятия об этом не имел, точно так же, как и все остальные разинцы, — ведь не видно с палубы того, что скрыто под льдами, под водой. А Степан Ермолаевич будто знал все наверняка, будто видел он стариковскими своими глазами, всегда красными от склероза и недосыпания, сквозь ледяное месиво и бурлящую воду все, что происходило в глубине пучины.

Может быть, с годами и удастся понять мне закономерности движения полярных льдов. Но пока все происходившее представлялось полнейшим хаосом, в котором катастрофа столь же вероятна, как и благополучный исход.

В самом деле, ну как объяснить, почему «Котовский», шедший третьим в караване и на стоянке оказавшийся чуть мористее, дальше от берега, чем остальные суда, при начавшемся сжатии подвергся наименьшему ледовому натиску? От капитана его Александра Петровича Тихомирова не поступило ни одного сигнала о вмятинах корпуса или повреждении шпангоутов. Какой игре ветров обязаны котовцы и вместе с ними все моряки каравана тому, что минут сорок спустя, когда подвижка льда прекратилась, за кормой «Котовского» появилась изрядная полынья, овальная по форме, вытянутая с вест на ост, — этакое озерцо, чистое даже от мелких обломков? Этого тоже никто не знал. Но всех радовал сам факт: коли есть разводье, будет где опуститься самолету по возвращении.

Все происходило куда быстрее, чем я пытаюсь излагать эти события в записях. Амфибия Никиты показалась над караваном спустя четыре часа после старта.

Все мы знали: горючего на самолете в обрез. И смотрели с тревогой на снижающуюся амфибию и на воду в полынье, вдруг снова зарябившую под ветерком. Смотрели и молча гадали: дотянет ли, успеет ли сесть? Не закроется ли полынья?

Никита приводнился с ходу, не сделав традиционного круга, горючее у него кончалось. Плюхнулся в полынью, подняв веер брызг. Они захлестывали края льдин, постепенно сужавших полынью. Случись посадка на четверть часа позднее, вряд ли осталось бы что-нибудь от амфибии и двух человек в ее кабине.

А теперь оба они, Никита и отец, усталые, в лицах ни кровинки, с трудом взбирались по штормтрапу на борт «Котовского». Грузовая стрела парохода тянула хрупкую миниатюрную машину, тянула уже с битого льда, куда успели вытащить амфибию мокрые до нитки котовцы. Потрудились тут и моряки, и пассажиры первого трюма, вчерашние жители Егоркина на Большой Реке, завтрашние строители Стадухинского порта в Якутии.

Но главным героем события оказался капитан «Котовского» Александр Петрович Тихомиров, болезненно бледный человек, постоянно сосущий какие-то лечебные леденцы. Его распорядительности обязаны были мы быстрым подъемом самолета из полыньи, которую заносило битым льдом.

Расцеловав Тихомирова, Егор Адрианович приказал выдать всем котовцам — и морякам и пассажирам — по пятьдесят граммов спирта и по банке консервов.

Возвратившись на борт «Разина», посовещавшись со Степаном Ермолаевичем, начальник экспедиции распорядился сигналить гудками: «Судам каравана следовать за ледоколом в прежнем кильватерном строю». Капитан Грачев взялся вести корабли дальше курсом норд-ост, но значительно мористее, чем шли мы до сих пор. Вести ледокол на половинной мощности машин! Вести к чистой воде, обнаруженной воздушной разведкой на большом пространстве вплоть до южного подхода к Ледяной Земле!

Спецкоры Якутской экспедиции, Дерман и я, в четыре руки строчили сообщения в редакции своих газет.

Полетная карта, разложенная Никитой на столе каюты, казалось, шелестела под свежим ветром, такой ди-

намичной, стремительной выглядела вычерченная на ней курсовая черта, пронзающая градусную сетку.

А Никита храпел на нижней своей койке, лежа по обыкновению своему на спине. Заснул, едва коснулся головой подушки.

Из кочегарки в трюм

Поговорки, которыми мне хочется начать эту главу, в большой чести у нашего отца и у бабушки. Егор Адрианович, принимая решение, которое зависит от стечения обстоятельств, говорит иной раз, будто себе в утешение: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». А Таисья Федоровна не прочь добавить всем нам, молодым, в назидание: «И-и, милые, что господь бог ни делает, все к лучшему».

Вспоминаю все это после существенных перемен, произошедших за последние дни в моей жизни. Прежде всего я уже не разинец, не угольщик в нижней команде линейного ледокола. Вместо узкой железной койки на втором ярусе кочегарского кубрика подо мной теперь койка широкая, сколоченная из досок. Упирается она в сырой и холодный борт, за которым урчат, плещут волны. Они захлестывают сверху, гуляя по люкам трюмов, которые застелены брезентом, нет-нет да и попадают к нам, в первый твиндек парохода «Котовский».

В море шторм, и это как-то странно, непривычно после льдов, которыми долго-долго шел наш караван. Теперь вот уж третьи сутки льда не видать. Да и наш караван перестал существовать — все корабли Якутской экспедиции идут порознь. Где-то впереди, милях в ста пятидесяти к востоку, штормует «Чапаев». На нем штаб экспедиции: отец, синоптик Дзяволтовский, летчики Никита и Пузанков вместе со своей амфибией, кинооператор Черняев и спецкор Ан. Дэр.

Далеко за кормой, тоже милях, пожалуй, в ста, но к западу, — пароход «Щорс», задержавшийся из-за пополнения угольных запасов за счет бункера ледокола «Разин», который перестал быть флагманом. «Не подобру, не поздорову», — заметил в этой связи капитан Грачев, соглашаясь, однако, с решением начальника экспедиции: идти судам дальше на восток без

ледокола. Там на пути к якутским берегам встречи со льдами не ожидаются. Таковые результаты новой дальней разведки, совершенной Лазуренко. Его гидроплан не вернулся в Сидоровскую. Опустился у полярной станции Северо-Восточного мыса и там пополняет запасы горючего из бочек, которые доставили и сгрузили наши суда. За разведку авиаторам спасибо. Да и синоптикам хочется сказать доброе слово за хороший прогноз. Циклон, идущий навстречу нам, в последние дни разогнал льды не только между Северо-Восточным мысом и якутскими берегами, но и западнее, на тех участках пути, которые с таким трудом преодолевал недавно наш морской караван.

Теперь начальник экспедиции рассчитывает, что благодаря облегчению ледовой обстановки этим путем смогут пройти речные суда. Потому вызвал он радиограммой теплоход «Встречный план» и пароход «Сибирский партизан». Послал навстречу им «Разина», а сам перешел на «Чапаева».

Все эти организационные дела мой старший коллега Ан. Дэр изложил обстоятельно, со свойственной ему образностью: «Вымпел начальника экспедиции поднят на «Чапаеве». Ну и так далее, хотя никаких вымпелов Егор Адрианович, понятно, с собой не таскает. Просто перебрался он вместе с чемоданами с палубы «Разина» на палубу «Чапаева». Прошагал по трапу, точно по лестничной площадке из квартиры в квартиру.

Переводу моему с «Разина» на «Котовский», с кочегарской должности в экспедиционный состав, предшествовали события, по-своему тоже значительные.

Чтобы все было понятно, возвращусь на несколько дней назад, к тому времени, когда морской караван еще был единым целым. Разведка, произведенная Никитой, помогла найти чистую воду, к которой вскоре и вышли все суда во главе с «Разиным». Настроение у моряков стало прямо-таки праздничное. Еще бы! В частых разрывах высоких облаков светило солнце. Навстречу изредка попадались лишь мелкие ледяные обломки. Слева по горизонту белым зигзагом едва просматривались далекие глетчеры Ледяной Земли. Справа в бинокль можно было различить темную змейку материкового берега.

«Северо-Восточный пролив, главные ледовые ворота

будущей великой судоходной трассы, открылись перед кораблями Первой Якутской экспедиции», — сочинял я радиограмму в свою редакцию, понимая, однако, что получить на нее визу будет не так-то просто. И совершенно не был готов к повороту в собственной судьбе.

Уже начинало смеркаться, когда корабли отдали якоря в виду Северо-Восточного мыса, отметив протяжными гудками достижение этой крайней точки материка. Начальник экспедиции вышел из своей каюты заметно посвежевшим, впервые выспавшись за последнюю неделю. Авиаторы хлопотали вместе с матросами у кормовой площадки, готовясь перегружать амфибию на «Чапаева», который швартовался к «Разину». По внутреннему трапу взад-вперед бегали Дерман и Черняев, поднимая из каюты на палубу свой объемистый багаж. Я начал было им помогать, но потом, оставшись на минуту в пустой каюте, как-то растерялся, заскучал. Страх до чего показался я сам себе одиноким, всеми забытым. Ужасную неловкость ощутил вдруг перед редакцией профсоюзного органа «На вахте» — вовсе не нужен водницкой газете мой кочегарский пост у топки, если «Разин» перестанет быть флагманом экспедиции. Грош цена будет моим сообщениям с борта «Разина», поскольку он явно застревает на полпути.

Пока был я внизу в четырехместной каюте, наверху развернулись события, для всех неожиданные. От «Котовского» подошел к нам катер. На нем прибыла целая делегация. Первым поднялся на палубу капитан Тихомиров, держа в руках что-то завернутое в газету. Затем по штормтрапу вскарабкался Кочкин. С явной неохотой, отдуваясь, за ним последовал уполномоченный, перетянутый ремнями. Сразу бросилось в глаза, что маузер в деревянной кобуре не украшает более его фигуру.

В каюте начальника экспедиции капитан Тихомиров, развернув газету, положил на стол маузер, после чего произнес тоном рапорта:

— Действуя по закону, согласно коему капитан судна, находящегося в плавании, осуществляет государственную власть, я был вынужден обезоружить и арестовать этого человека.

Уполномоченный негодующе запыхтел, стал возражать. В каюте поднялся гвалт. Отцу удалось навести

порядок лишь после того, как он гаркнул: «Молчать!» — и хватил кулаком по столу. С трудом удалось выяснить, что произошло.

После спасения самолета на судне начался пир горой. Пассажиры-начальники, уполномоченный и Кочкин, «набрались» больше всех. Кочкин, напившись, заснул, а его собутыльник пошел в первый трюм в поисках развлечений. Там схлопотал сначала пощечину от приглянувшейся девушки, а затем и оплеуху от ее кавалера. По привычке схватился за маузер, но успел выпустить всего одну пулю, угодившую в стальной бимс.

«Дальнейшее не замедлило последовать» — так не без юмора комментировал капитан Тихомиров. Боцман с двумя матросами связали буйного пассажира, водворили его в канатный ящик—каморку, расположенную на носу корабля. Соседство с якорной цепью, а также свежий ветерок и соленые брызги встречных волн быстро отрезвили уполномоченного.

— Больше половины понял, — хмуро сказал отец. — Капитану Тихомирову спасибо, а вам, гражданин хороший, срам, — последние слова относились к уполномоченному. — И поскольку вы теперь по уши в дерьме, поезжайте-ка отмываться на «Щорс». Отмоетесь в баньке, там пассажиров нет, поскучаете в одиночестве. А пищаль вашу, — отец сунул маузер в ящик стола и запер на ключ, — передам в Стадухине представителю якутских органов. Встретит нас там кто-нибудь, не сомневаюсь. Ну все.

Но тут неожиданно подал голос молчавший дотоле Кочкин:

— Никак нет, Егор Андреяныч, не все. Народишко на́ш на «Котовском», значит, успокоить надо опосля скандала етого.

— Ты и успокаивай, Трофим Никодимыч.

Но Кочкин замахал руками:

— Не-ет, ерудиции не хватает, особливо супротив товарища писателя. — Он почтительно глянул на Дермана.

Отец развеселился:

— А этот вопрос надо с редактором центральной газеты согласовать. Да, да, согласовать и увязать. Начальнику экспедиции центральный спецкор не подчиняется.

— Куда уж нам до центрального? — Кочкин смутился. — Может, хоть товарища Багрова Андреяна откомандируете мне в помощь? Мы с ним еще в Егоркине сработались. Он, Андриян-то, массовит, боевит...

Не знаю уж, каких еще комплиментов в мой адрес наговорил бы Трофим Никодимович, если бы отец не прервал его:

— Известна мне ваша старая дружба. — И, сняв телефонную трубку, вызвал каюту старшего механика: — Василь Захарыч, не могли бы вы откомандировать угольщика Адриана Багрова на пароход «Котовский»? Говорят, нужен он там. Что? Ну да, это вы здраво рассудили. — И, окончив телефонный разговор, рассмеялся добродушно. — Стармех у нас человек веселый, «после поломки гребного винта, — говорит, — можно и штат нижней команды малость сократить».

Так решилась судьба сцекора газеты «На вахте». Став пассажиром «Котовского», я неофициально вновь оказался «под едигой» давнего своего руководителя Т. Н. Кочкина.

«Конкретно, не взирая на личность»

При всем своем демократизме Трофим Никодимович умеет соблюдать дистанцию между собственной личностью и подчиненными. И это мне в нем нравится больше всего. В Егоркине, выпуская два номера газеты в шестидневку, я лицезрел своего руководителя не чаще чем раз в три дня. И никогда свидания наши не бывали долгими. За полчаса Кочкин быстро пробегал глазами заголовки в оттисках газетных полос, приносимых мною на редакторскую подпись, озабоченно хмыкал, строго смотрел на меня и наконец ставил на полосе свою авторитетную закорючку. Да к тому же и его кабинет в профсоюзном комитете порта располагался в одной части городка, а редакция с типографией — в другой, примерно километрах в полутора. Так уж получилось, но свободу моей журналистской инициативы он там особенно не стеснял. А теперь, на борту «Котовского», я поначалу, признаюсь, побаивался, что руководство станет более непосредственным, хотя бы в силу территориальной нашей близости. От кормовой каюты второго механика,

резиденции Трофима Никодимовича, до твиндека первого трюма, где поселился я, расстояние измеряется всего десятками метров.

Но моряк предполагает, а Нептун, повелитель стихий, располагает. Сильный шторм надолго разобщил нас. Волны так и гуляли по палубам между судовыми надстройками. И Трофим Никодимович, дабы не подвергать себя риску быть смытым за борт, не покидал своего дивана даже в часы приема пищи, когда надо было идти в кают-компанию. Ответственный исполнитель по грузам питался индивидуально всухомятку, чем заслужил неуважение всех членов команды, особенно судового кока, одессита Жоры Живодерова:

— Вот начальничек с береговой конторы, не люблю таких чудаков, — заметил он как-то, беседуя со мной доверительно. — Ты, кореш, у нас в Одессе бывал? Приедешь, сразу греби на Примбуль к Потемкинской лестнице. Дюк там стоит, грубой такой памятник, ну как в музее статуя. У одесситов поговорка такая, если кого на понт берут: «С Дюка получай, Дюк погрузит». А недавно на рейде в Сидоровской принимали мы с лихтера пассажиров в первый твиндек, парней, девчат, ну и дома разборные грузили для Стадухина в кормовые твиндеки. Как-нибудь боцман наш знает, куда чего ложить. Так нет. Начальничек с береговой конторы стал ценные указания выдавать: то ему не так, это не так. А боцман — он, между прочим, выдержанный, аккуратный насчет словесности—отодвинул его малость плечиком, отойти попросил. Не очень далеко, правда: «Иди ты, — говорит, — к Дюку». Начальник с береговой конторы сразу в бутылку, кэпу жаловаться: «Что еще за Дюк, не потерплю оскорблений». Ну, смеялись мы с того чудака, ну смеялись. Так он и звание у нас получил: «Дюк».

Давать указания Трофим Никодимович старается и мне. Всякий раз, когда я появлялся у него в каюте, весь мокрый от соленых захлестов волн, Кочкин наставлял меня:

— Ты, Андреян, с ребятами там контакты налаживай. Сын за отца не отвечает. Новая обстановка, новые задачи. Одним словом, доверяй, но и проверяй, ясно?

Куда уж ясней! Призыв Кочкина — «налаживать контакты» — кажется мне несколько надуманным, особенно если живешь с людьми рядом, под одной кры-

шей — точнее сказать, под одной палубой, поскольку речь идет о трюме, — и хлебаешь из одного котла — это уж в буквальном смысле, потому что разливать суп, доставляемый сюда с камбуза, или раскладывать по тарелкам кашу — занятие по меньшей мере невозможное в условиях качки. Познакомился я с соседями без особых со своей стороны усилий. Разговорчивым парнем оказался дюжий Грицко, уроженец Харьковщины, работавший в Егоркине плотником. Щедро потчевал меня махоркой из необъятного кисета приземистый землекоп Кеша, коренной сибиряк из степного Алтая. Я не раз заслушивался, как поет мелодичные, раздольные свои песни чеченец Хусаин, по молодости лет еще безусый, но с особым щегольством носивший потрепанный бешмет, который достался ему от дяди; какие «страданья» заводит на гармонике белоголовый — волосы что твой лен— пскович Серега. Переглянулись мы раз-другой с Оксаной, кругленькой кубанской казачкой. Однако на палубу подышать свежим воздухом она, к моему сожалению, предпочитает выходить в обществе Ахмета, красивого парня с черными огненными глазами. Лиза и Семен, поженившиеся совсем недавно, зазывали меня к себе в гости, в дальний уголок трюма.

В разговорах выяснилось, что пассажиры твиндека на «Котовском» помнят меня не только по кратковременной встрече на рейде в бухте Сидоровской, как спутника «московского писателя, который много чего знает», но и по Егоркину: «Как же, видали тебя и в клубе и на катке. Ты, Андреян, еще на байдарке ходил по Кривой протоке. А брательник твой, летчик, прошлый год побился. Однако сей год летает опять, крепкий, видать, двужильный. И сестру твою помним Настасью. Ветер, пурга — ей все нипочем, глядим, идет к площадке своей, отчаянная девка. Где же она теперь-то? А, на острове зимует. Ты гляди, ученая».

Но никто из парней и девушек не интересовался газетной моей работой. Не расспрашивал, с чего это вдруг потянуло егоркинского репортера в кочегары на ледокол. С какой это радости сменил он оседлый, благоустроенный в общем-то быт на моряцкую бродяжью жизнь.

Нет, никто таких вопросов мне не задавал.

Я даже обиделся, пренебрежительно думал: «Где им понять беспокойную душу странника, что им романти-

ка?» Но потом, как-то ночью, ерзая на раскачивающейся койке под отсыревшим одеялом, рассудив здраво, понял этих людей. «Дурень ты, Адриан. Для твоих соседей все твои мечтания — чистейшая блажь, баловство. Ну какая особенная доблесть в том, что вчера шуровал ты уголек в топке, сегодня мерзнешь на сырой койке, а месяца через три будешь небрежно рассказывать обо всем этом в Московском Доме печати?

Ты свободен в своем выборе. А они? Они ведь находятся в таких условиях, что не могут распоряжаться собой».

В трюме было тихо. За холодным металлом борта у самой моей головы мерно и тяжко плескались штормовые волны. Из сырой тьмы доносились до меня сонное бормотанье, чья-то приглушенная беседа, озабоченный шепот.

К утру шторм начал стихать. Молчаливый и болезненный наш капитан старательно ловил секстантом солнце, чуть проглянувшее из-за низких поредевших туч. К обеду появился в кают-компании Кочкин, совсем позеленевший от качки и долгого питания всухомятку. Однако, подкрепившись горячей пищей, он пожаловал к нам в трюм с новостями, которые не могли не радовать. Определившись по солнцу и радиопеленгам, капитан впервые за последние пять дней установил точное местонахождение судна. «Котовский» зашел несколько дальше на восток, чем требовалось, и теперь курсовая черта на штурманской карте ломалась круто на юго-запад, к бухте Стадухина.

Оттуда пришла радиограмма с борта «Чапаева»: отдали якоря, готовятся к выгрузке. «Встречный план» и «Сибирский партизан» с помощью ледокола прошли недавним нашим путем, прошли успешно, без поломок и пробоин, и теперь приближались к мысу Северо-Восточному. Капитан Элиава с борта «Чирикова» радировал Егору Адриановичу: после нескольких дней дрейфа во льдах корабль вышел на чистую воду у острова Болховского, начинает высаживать зимовщиков будущей полярной станции. Один только Лазуренко прислал тревожную радиограмму: льды в Северо-Восточном проливе прижали гидросамолет к берегу, и потому он не может подняться в воздух.

Все рассказав, Трофим Никодимович закидал меня вопросами.

— Ты, товарищ Багров Андреян, с народом беседовал? Ну, как политико-моральное состояние? В норме. Полный, так сказать, вперед!

— Скучновато все-таки в трюме, Трофим Никодимыч, — заметил я. — Нам бы игры какие достать, пинг-понг, бильярд, домино, что ли. Мы же в Архангельске все это погрузили в кормовые твиндеки...

— Отчего же не достать. Действуй, Андреян, даю «добро».

Действовать оказалось не так просто. В кромешной тьме третьего твиндека, куда отправился я с двумя парнями, ящики с культинвентарем были заложены бочками с бензином и соляром. Пока мы втроем копались там, боцман, стоя наверху у открытого люка, грозно покрикивал:

— Щщупай, щщупай. Свету не вздумай запалить. Спичкой, упаси бог, не чиркни.

Разыскивать ящики на ощупь в такой тьме было невозможно, и я на несколько минут отлучился попросить у старпома электрический фонарик. Когда я вернулся, у открытого люка стояли три ящика. Как уж сумели их найти мои помощники, не знаю, но ребята вылезали из трюма довольные, радостно улыбаясь.

Боцман задраил, затянул брезентом люк. Мы перенесли ящики с настольными играми в первый твиндек, распаковали их. Укрепили на широченном дощатом столе бильярд, чуть подальше натянули сетку для пинг-понга. Доминошники тут же устроились на койках, застучали костяшками.

— Культурненько, — сиял Кочкин, вооружившись кием, — а ну, молодежь, с кем разыграю пирамидку?

Настил под нашими ногами почти не кренился, шторм совсем стих. И такая поднялась вокруг стола веселая толчея, столько нашлось завзятых игроков, болельщиков, что кок Жора, принесший в трюм два объемистых бака, ухмыльнулся:

— Имею вопрос: ужин не отменяется?

Поужинали с аппетитом, снова взялись за игры. Шумели бы всю ночь напролет, да заглянул в твиндек капитан, напомнил, как всегда, назидательно:

— Судовой распорядок обязателен и для пассажиров. Да-с. Время спать.

Только не пришлось поспать этой ночью ни пасса-

жирам, ни команде парохода «Котовский». А ночь после пятидневной непогоды выдалась тихая, безоблачная, пожалуй, даже теплая, если такое понятие применимо к семьдесят второй широте.

Я стоял у трапа, ведущего на спардек, когда мимо стрелой промчался матрос, взбежал на полубак, бешено заколотил в рынду: «Тревога». Не прошло и минуты, как над входом в первый твиндек нависло перепуганное лицо Кочкина:

— Пожар в кормовых трюмах! Все мужчины на корму!

В суматохе, которая, естественно, поднялась тотчас же, меньше всего были повинны пассажиры. Людям, впервые попавшим в море, трудно сохранять спокойствие после такой команды. Одеваясь на ходу, парни мчались по трапам на спардек, оттуда вниз к кормовым трюмам. Несколько человек поднялись на ботдек к шлюпкам. Кто-то повис на талях. Кто-то едва не сорвался в море, зацепившись, на свое счастье, ватником за шлюпбалку.

Кочкин подбадривал: «Скорей, скорей», кидался к открытому иллюминатору радиорубки, подгонял радиста: «Стучи же SOS, стучи!»

И вот тогда-то из своей каюты вышел заспанный капитан Тихомиров. Надо было видеть Александра Петровича, как всегда, посасывающего лечебные леденцы, неторопливо запахивающего стеганый халат, поправляющего теплый вязаный колпак на голове. И надо было слышать его голос, вдруг зазвеневший металлом:

— Боцман! Пассажиров от шлюпок убрать! Радист, никаких SOSов!

В самом деле, кому адресовать сигналы бедствия в пустынном полярном море? Если кто и услышит нас, то только суда Якутской экспедиции: «Чапаев» и «Щорс». Но от каждого из них до «Котовского» более сотни миль, около суток хода.

Суматоха улеглась быстро. Парни виновато толклись на месте, переминались с ноги на ногу. Девушки, стайкой собравшиеся у выхода из первого твиндека, заревевшие было в голос, испуганно примолкли. А капитан сказал теперь уже в мегафон, сказал спокойным твердым тоном:

— Надеть спасательные пояса!

Не скажу, что я был настроен браво в эти минуты. Нет, конечно. Туго завязывая тесемки, чтобы пробковые пластины, обтянутые брезентом, плотно прижимались к груди и спине, подумал: «Н-да... А водичка тут небось градусов семь». Невольно вспомнил, как в Егоркине прошлой осенью выносили покойников с корабля-спасателя, пришедшего в порт после шторма в Большерецком заливе; все покойники были в спасательных поясах. И еще вспомнил, что сегодня 31 августа, а день моего рождения — 9 сентября.

Не знаю, о чем думали мои сверстники и соседи по первому твиндеку. Но вели они себя достойно, быстро выполняя все команды. Капитан разделил пассажиров на группы, руководимые моряками. Они готовили к спуску на воду шлюпки и кунгасы. Все двести пассажиров оказались, что называется, при деле.

А вот двести первый... Трофим Никодимович то кидался от одной группы к другой, то мчался к третьему трюму. Там, приподняв все люки, машинисты направляли в глубь судовых недр мощные струи из брандспойтов. Но дым продолжал валить из трюма.

Старший механик приказал наглухо задраить люк, чтобы прекратить доступ свежего воздуха в трюм. Но где был очаг пожара — толком никто не знал. Где-то в одном из кормовых трюмов.

Прямо от котлов по трубам, идущим в трюмы, пустили пар. Но и паротушение ничего не дало, тоннель гребного вала не остывал.

Обо всем этом я узнал по отрывочным репликам капитана, стоя рядом с ним на мостике. Одно смущало, скажу по совести: приведется ли рассказать об этих событиях читателям газеты «На вахте»?

— Если бы поблизости были хоть какие-нибудь банки, открыли бы кингстоны в кормовых трюмах, сели бы на мель кормой, а нос на плаву... — говорил вполголоса вахтенный штурман, парень моего возраста, шаря взглядом по карте, пронзенной курсовой чертой.

Черта шла по белому пятну, только в трех-четырех местах цифры глубин темнели тут этакими мушками. Большие цифры — десятки метров! Капитан поглядывал на своего помощника снисходительно: «Чем бы дитя ни тешилось...» Но вот, в очередной раз запросив об-

становку в машинном отделении, отойдя от переговорной трубы, кэп произнес едва слышно:

— Остывает вал. Вроде бы начал остывать.

И, перегнувшись через поручни мостика, громко заговорил со старпомом. Тот командовал спуском кунгасов и шлюпок, погрузкой в них хлеба, бочек с пресной водой, ящиков с консервами, мешков с сухарями и концентратами. Теперь пароход наш, почти неподвижный, чуть дрейфующий на мертвой зыби, окружала целая флотилия мелких судов. В них сидели люди в полушубках поверх спасательных поясов. Тепло оделись на тот случай, если придется все-таки расстаться с бедствующим кораблем и плыть на шлюпках к далекому берегу. Вряд ли, конечно, доплывешь — тут и под парусом, наверное, неделя добрая ходу.

«Тот случай» представлялся мне все еще весьма вероятным. Не только потому, что у страха глаза велики, но еще и потому, что после недавнего визита в трюм за «культимуществом» я был хорошо осведомлен о расположении грузов в обоих твиндеках, третьем и четвертом. Рядом с деталями разборных домов, брусом, тесом для крыш, оконными рамами и прочей «столяркой» стояли бочки с бензином, с соляром и маслами. Доски могут медленно тлеть, но бочкам-то достаточно нагреться — и тогда взрыв. Тогда уж не совладать с пожаром никакими силами.

Откуда же все-таки мог появиться в трюмах огонь? Не чиркнул ли кто-нибудь впотьмах спичкой, пока я отлучался к старпому за фонариком?

Да, мог чиркнуть в нетерпении, хоть боцман и предупреждал, запрещал. Надоело копаться впотьмах, вот и чиркнул... Но кто же это сделал? Я и лица забыл этих двоих парней, которые помогали мне в поисках этого распроклятого пинг-понга.

Ну а если так, если ты не помнишь, Адриан, то и отвечать за пожар придется тебе. Ты же первый полез в трюм, а потом отлучился за фонариком. И если взорвется, сгорит, потонет «Котовский», ты будешь в этом повинен.

Час от часу не легче. Нет уж, лучше не доискиваться причин. Пожар и пожар. Морское происшествие. Вот погасим, тогда и разберемся. Должны погасить!

Гляжу: капитан повеселел. Вот и стармех поднялся

из машины, смеется, дует себе на пальцы. Неужели удалось паром затушить огонь?

Удалось! После тревоги, объявленной ударами в рынду, прошло более четырех часов, когда наконец гребной вал в машинном отделении начал остывать. Значит, температура вокруг тоннеля в кормовых трюмах снизилась. Еще через два часа люди в шлюпках и кунгасах стали разламывать буханки, вскрывать ножами консервные банки. Пришло время завтрака. Солнце, поднявшееся над спокойным морем, светящее сквозь легкую дымку, возвестило о наступлении утра.

Капитан Тихомиров, сменивший стеганый халат на полушубок и ночные туфли на валенки, завтракал на мостике согласно диете, предписанной врачами, — стакан чая и две галеты. А стармех, наскоро вытерев ветошью кисти рук, зашел даже в кают-компанию и потребовал от кока Жоры двойную порцию своей любимой яичницы с беконом.

Только мне было не до еды, особенно после разговора с Кочкиным, снова пытавшимся взять руководящий тон. Сняв с впалой груди спасательный пояс, расстегнув ватную телогрейку, он отдувался точно после бани. И бубнил, бубнил начальственно:

— Прошляпил ты, товарищ Багров Андреян, потерял классовую бдительность, это точно. Схалостически мыслишь, отсюда и сурпрезы.

При всей нервозности обстановки я не смог сдержать улыбку: «схалостика» и «сурпрезы», так же как и «едига руководства», — самые ходовые слова в лексиконе Трофима Никодимовича — всегда потешали меня.

— И отставь ты свои ухмылочки, не по-комсомольски это. — Кочкин уже повышал голос. — Что же это, товарищ Багров, пассажиров, арестантов вчерашних, повел за собою в трюм. Одних там оставил, да мысленно ли такое дело?

Разговор принимал угрожающий оборот, и, увы, не только для меня:

— Они, твои пассажиры, и подложили огоньку в третьем твиндеке. Кому же еще? Типичная вылазка кулачья. Месть недобитков.

Я молчал, хотя нелепость такого предположения была совершенно очевидна. Ну кто они такие, наши пассажиры, которые едут зимовать в Стадухино: раскольники допетровских времен, самосожженцы, фанати-

ки, что ли? Ведь если допустить, что пароход умышленно подожжен в открытом море, то решиться на это мог только безумец — он ведь и себя обрекал на гибель.

Очень хотелось мне двинуть Кочкина по уху, но возражать язык не поворачивался. Не поворачивался потому, что небрежность в обращении с огнем в трюме, которая и привела к пожару на корабле, к сожалению, могла иметь место. А поскольку неизвестно, кто в этом повинен, отвечать перед следствием по всей строгости закона придется мне.

Удивительная это вещь, когда один из собеседников говорит вслух точно такие же слова, которые другой только что произнес мысленно.

— Да уж, по всей строгости закона надо будет ответить за вредительство, за диверсию. Ну ладно, в Стадухине найдется кому дело вести. Вот придем в Стадухино, там разберемся.

Но разобрались не в Стадухине, до которого еще нужно плыть и плыть, а здесь, на корабле. Разобрались гораздо быстрее, чем этого хотелось бы Кочкину.

О возникновении и ликвидации пожара капитан Тихомиров радировал начальнику Якутской экспедиции вечером того же дня, после того как на борт «Котовского» были подняты все кунгасы и шлюпки, а пассажиры первого твиндека разместились по своим койкам. «Котовский» продолжал путь на юго-запад, к якутским берегам. На мостике сменялись повахтенно штурманы и рулевые, в машине — механики и машинисты. А в кают-компании капитан вместе со старпомом, боцманом и старшим матросом оформляли акт обследования кормовых трюмов.

В акте говорилось, что наряду с железными бочками, которые нагрелись, к нашему счастью, не очень сильно, были повреждены некоторые детали разборных домов, аккумуляторы радиостанции для будущего Стадухинского порта. Дома, принятые с речного лихтера на рейде бухты Сидоровской, погрузили наспех, небрежно. Аккумуляторы уложили кое-как, разбив сосуд с серной кислотой. Возникло самовозгорание. Огонь, вначале едва тлевший, постепенно набирал силу, а когда охватил сухое дерево, то и вовсе заполыхал. Сначала он распространялся по четвертому твиндеку, самому близкому к корме, а потом и по смежному с ним треть-

ему, расположенному рядом с машинным отделением. К переборке, отделяющей трюм от машины — там-то и были сложены бочки с бензином, — огонь дойти не успел.

Отмечен был в акте и виновник небрежной погрузки, отмечен «конкретно, не взирая на личность», как любит выражаться Трофим Никодимович. Личностью этой в данном случае оказался он сам, «ответственный исполнитель по грузам Кочкин Т. Н.», руководивший передачей разборных домов с речного лихтера на борт «Котовского».

Подписав акт, капитан Тихомиров посмотрел в упор на Трофима Никодимовича, который, естественно, при сем присутствовал. И сказал громко:

— Чтобы я вас больше не видел в кают-компании. Порядочные люди не сядут с вами за один стол.

А боцман, пожав сутуловатыми плечами, резюмировал:

— Дюк, он и есть Дюк.

Не спалось мне в эту ночь, хоть и устал я за день зверски. Обдумывал для «На вахте» очерк под заголовком «Рейс продолжается». Скромный такой заголовочек, будничный, зато расскажу-то о каких делах!

Наконец-то долгожданная земля

Исторические аналогии прямо-таки одолевают спецкора газеты «На вахте». Воображаю себя то матросом Колумба, заоравшим с мачты каравеллы: «Земля, земля!», то лихим ушкуйником из артели Михайло Стадухина.

Пишу в путевом дневнике: «Якутия, долгожданная земля, синеет на горизонте. Зигзагами проходит по носу корабля береговая черта, далекая горная гряда. Мягкими отблесками ложится на воду закат. Капитан Тихомиров, уже доказавший, что ни льды, ни шторм, ни даже пожар на корабле в открытом море ему не страшны, осторожен, осмотрителен у незнакомых берегов. Вахтенный матрос на полубаке поминутно измеряет лотом глубины. Вот синие горы потянулись уже с левого борта, а с правого едва заметной каймой показалась песчаная отмель».

За последним изломом береговой черты, ярко осве-

щенный прожекторами, стоит на рейде на якорях наш «Чапаев». Видны открытые трюмы, стрелы лебедок, поднимающие на стропах связки ящиков, мешков и затем опускающие их на палубы пришвартованных к пароходу речных баржонок.

С катера, идущего навстречу нам, сигналят ракетами, что-то кричат в мегафон. Узнаю голос отца — хрипловатый, властный, по-боцмански зычный. А вот и он сам, в реглане с поднятым воротником, с трубкой в зубах, легко прыгает с катера на парадный трап «Котовского», взбегает на спардек, жмет руку капитану Тихомирову. Следом за отцом поднимается незнакомый человек в военной форме с двумя ромбами на петлицах.

— Добро пожаловать, — улыбка делает его скуластое лицо еще шире, — капсе, как у нас говорят.

Мы уже знаем, что «капсе» — традиционное приглашение к беседе.

Егор Адрианович рекомендует капитану своего спутника:

— Товарищ Подымахин Прокопий Лукьянович, представитель правительства Якутской АССР.

Взбираются по трапу Никита и Дерман. И сразу начинают насмешничать:

— Ну, погорелец, не уберег корабль.

По дороге в кают-компанию Дерман рассказал, что выгрузка «Чапаева» идет вторые сутки силами команды, моряки устали, вымотались.

Капитан Тихомиров развернул на столе перед начальником экспедиции небольшой чертеж — план выгрузки «Котовского», расстановку людей.

— Сотню пассажиров отправляю сейчас на «Чапаев» — это четыре бригады на выгрузке, остальных ставлю по своим трюмам. Сначала нашими кунгасами будем выгружать на берег все для стадухинских зимовщиков — оборудование, топливо. А грузы, которые пойдут по реке дальше, уже потом.

— Толково, Александр Петрович, — согласился отец. — Что ж, тоннажем рейдовые бригады обеспечены, а вот с буксировщиками пока худо. Пока, потому что дня через два ожидаем подхода речной части нашей экспедиции. «Встречный» и «Партизан» уже выведены «Разиным» на чистую воду.

Тихомиров обрадовался:

— Да ну, Егор Адрианович, сибирские речники какие молодцы!

— Мало сказать молодцы. Просто герои! — с гордостью сказал отец. — Знай наших!

Он повернулся к Дерману и ко мне:

— Ну, писатели, хотели сенсацию, вот она вам. Тысячу миль на речных судах во льдах, в шторм. Одним словом, вострите карандаши.

Замолчал на минуту, вспоминая что-то, затем тронул за локоть Подымахина:

— Прошу вас, Прокопий Лукьяныч, пока будем ожидать речную часть, вы ознакомьте товарищей журналистов с азами, так сказать, якутской географии и экономики. Вам, хозяевам здешних земель, сам бог велел судить о пользе наших моряцких затей.

Подымахин оказался гостеприимным хозяином и увлекательным собеседником. Сначала мы побывали у него в каюте на причаленной к берегу брандвахте. Он вынул из ящика стола крошечную лодочку из бересты с еще более крошечным тряпичным гребцом, хитро прищурился.

— Вы думаете, это игрушка якутских детей? Нет! Сия штуковина имеет высокое назначение. Когда в море шторм, рыбаки с Коровьего мыса, расположенного здесь неподалеку, бросают подобные изделия в воду, вроде как жертву приносят, чтобы умилостивить злые силы природы. Вот оно как! И это, друзья, происходит на восемнадцатом году революции, во второй пятилетке социалистического строительства. А все почему? Потому что отстала наша республика, отдалена, оторвана она от всей страны.

Подымахин рассказал нам, в какую копеечку обходится каждая тонна, доставляемая в Якутию самосплавом от Транссибирской магистрали. Перевозки полярными морями при всех расходах на ледоколы и авиаразведку будут вдвое дешевле.

Бухте Стадухина я посвятил такие строки: «Здесь, у морских ворот бездорожного края, жизнь зарождается на воде. Грузы уложены на галечной косе: бочки с цементом, кирпич, доски, ящики с продовольствием. И рядом горы леса, плавника, вынесенного реками из далекой тайги, прибитого к берегу морскими волнами».

Вслед за «Чапаевым» и «Котовским» пришел «Щорс». Праздничным стал для всех нас этот серый дождливый день, когда на горизонте показались три черные точки. С моря к бухте приближались речные суда экспедиции.

Красавец теплоход «Встречный план», недавно построенный на одной из сибирских верфей, шел полным ходом под развевающимся вымпелом Полярстроя. На длинном буксирном тросе следовал за теплоходом лихтер — крупная высокобортная баржа с грузовыми стрелами и лебедкой, с небольшой судовой электростанцией на борту. Куда скромней выглядел большерецкий пароход «Сибирский партизан», посудина, по моим понятиям, древняя, построенная чуть ли не в прошлом веке.

Бес репортерской непоседливости снова одолел меня: «Эх, черт возьми, почему я не кочегар на «Партизане»?» Вот бы был материал для газеты. Конечно, всюду не поспеешь, но журналисту нужно везде поспевать. Впрочем, не все потеряно. Можно попроситься в команду «Партизана», пойти с речным караваном в глубь Якутии.

Отец, думаю, не откажет. В крайнем случае напомню ему, что завтра день моего рождения, имею полное право на «подарок».

Но напоминать не понадобилось. Вечером отец вызвал меня к себе. Едва я вошел в капитанский салон «Чапаева», отец и Никита, с нетерпением ожидавшие меня, проскандировали хором: «Но-во-рож-ден-ному мно-га-я ле-та» — и взяли меня за уши.

Открыв чемодан, Егор Адрианович показал мне набор изделий из мамонтовой кости: трубку, портсигар, разрезной нож для книг, чернильницу с крохотной статуэткой оленя.

— Гляди, Дюш, якутские товарищи премировали Егора Багрова как ударника второй пятилетки. Выбирай, что тебе по вкусу.

Я выбрал портсигар и, воспользовавшись благожелательным настроением бати, сказал:

— Пап, я хочу в Якутию идти с речниками. На «Партизана» возьмут меня кочегаром? Помоги мне в этом, пожалуйста.

И просто обалдел от счастья, увидев довольную улыбку отца.

— Иди, разбойник пера, репортерская твоя душа. Только имей в виду: дело это долгое, в Москву раньше Нового года не вернешься.

Никита, рассматривая портсигар, пожал плечами:

— И что за сласть в табачище вашем? Не пойму!

— Где тебе, Кит. Ты у нас в покойного деда Якова, — сказал отец. — Вот истинный праведник был, ни куревом, ни спиртягой не баловался.

— Ну, последнее уж зря. Тут я с дедушкой не согласен. — Никита полез в шкаф.

— Разрешите, Егор Адрианович, поднести новорожденному. — Он извлек из недр шкафа объемистую флягу и сухую копченую колбасу.

Отец налил всем троим по граненому стакану, сказал:

— Аромат оценили? Бабушкина забота.

Еще бы не оценить — или мы не Багровы? Так настаивать водку на черносмородинном листе умеет только Таисья Федоровна.

Пили глотками — первый за новорожденного с пожеланиями удачи в речном странствии, второй за ненаглядную нашу «бабушку Федю».

— Третий за Настенку. Чтобы зимовать ей хорошо! — Отец осушил свой стакан, вытер губы, пожевал ломтик колбасы. — Вот и вся гулянка, парни.

И, набив старую свою, прокуренную трубку, раскрыл папку с бумагами: необходимо было ответить на радиограммы, принятые радистом «Чапаева» из Новосибирска, Егоркина, с кораблей, находящихся в плавании, с полярных станций от пилотов ледовой разведки.

Мы с Никитой поднялись, но батя нас остановил:

— Куда? Водки больше ни грамма. Предел, его же не прейдеши, — он ткнул пальцем себе в левую сторону груди, — просто так посидите, парни, потравите баланду, мне работать будет веселей.

Но ни меня, ни брата не тянуло на разговор. Жест отца, показавшего на сердце, озадачивал: никогда прежде он о своем здоровье не упоминал, а способностью пить не хмелея удивлял всех знакомых и друзей. Он обладал редкостным умением сосредоточиваться, не замечать окружающих, когда бывал занят делами. А сейчас вот, читая радиограммы, составляя ответы — по нескольку строк на прозрачных голубоватых лист-

ках, — делая пометки в толстенной книге, похожей на бухгалтерский гроссбух, он рассеянно поглядывал в нашу сторону, временами посасывая потухшую трубку, так и не разжигая ее. И еще приметил я, что виски и затылок крупной, рано полысевшей головы отца, прежде всегда тщательно выбритые, теперь заметно щетинились серыми короткими волосами. Да, серыми от седины, я только сейчас заметил, как поседел отец.

Никита думал о чем-то своем. Вдруг он встал, подошел к открытому иллюминатору, глянул наружу, сказал:

— Красотища... Огни. Кораблей полно. Жизнь!.. А там сейчас пустынно, пурга метет.

— Ты о чем, Кит Китыч? — не понял я.

— О чем, о чем. — Никита рассердился. — Об острове этом, будь он неладен. Каково там Насте нашей одной-то? Выпили за нее и забыли. Эх вы, мужики.

Отец перестал писать, поднял голову от бумаг. В голосе Никиты звучала не просто обида, было в нем странное раздражение, чуть ли не озлобленность на кого-то.

— И за каким дьяволом там зимовку создавать, да и вообще открывать островишко этот, имя Болховского ему присваивать? Точно духа вызывать с того света.

Отец осуждающе покачал головой:

— Салага ты, Никита, мало каши ел. А Болховской Юрий Андреич это была личность. Нельзя так говорить о человеке, не зная его.

Он пристально взглянул на нас, что-то припоминая.

— На «Восходе» у него я по первому году служил. Как раз из Финского залива выходили. Зовет меня командир к себе, наливает чарку: «Ну, боцман, с днем ангела, тезки мы или нет?»

— Погоди, пап, — недоумевающе спросил Никита. — Какие тезки? Ты Егор, его Юрием звали!

Отец фыркнул:

— Вот сразу видно, что не учили вас, атеистов, в церковноприходской школе, святцы православные не знаете. Да что Юрий, что Егор, все едино, Георгий будет...

Никита смутился, но по строптивости, которая порой находила на него, продолжал спорить:

— Еще чего, святцы знать. Да и странно мне, о Болховском ты так говоришь, будто и врагом твоим не стал этот белый офицер, будто и вины его не было перед Советской властью.

— Скажи, какого прокурора я вырастил! — усмехнулся Егор Адрианович. — Своя вина есть у каждого. На свете безгрешным не проживешь. А Болховской смертью свою вину искупил.

Тут уж я не мог оставаться только слушателем. Любопытство, не журналистское, просто мальчишечье, неприличное для человека, которому исполнился двадцать один год, обуяло меня:

— Пап, расскажи, что знаешь про Болховского.

Отец нахмурился, ничего не ответил. Вытянув ноги, откинув голову на спинку мягкого кресла, он, казалось, дремал.

Раздался стук в наружную дверь. С палубы вошел вахтенный:

— Егор Адрияныч, двадцать три ноль-ноль. Все собрались, ждут вас на совещание.

Отец поднялся с кресла, потер лысое темя, потянувшись, хрустнул суставами. Неприятный, никогда прежде не слышанный звук этот заставил меня вздрогнуть. Отец сказал:

— Отложение солей доктора определяют. Вот, парни, век живи, век учись. — Он застегнул китель на все пуговицы, чиркнул спичкой, разжег трубку: — Ложитесь, парни, тут, время позднее.

— А как же ты, пап?

— Мне до утра дел хватит. Отзаседаемся — на катере по рейду пройдусь, капитанов проведаю. Да и на воздухе надо побыть, голова что-то тяжелая. — Он шагнул к выходной двери, тяжело затопал по трапу своими сапогами.

Проводив отца взглядом, Никита сказал в раздумье:

— И металл устает. Есть такое понятие в науке — усталость металла.

Потом, чуть прикрыв иллюминатор, чтобы осталась щель для притока свежего воздуха, плотно затворил дверь, выключил свет:

— Верно, Дюш, спать пора. Не пойду вниз к себе, шумно там от лебедки. Ты, Дюш, к переборке подвинься, я с краю, ладно?

Когда легли, брат положил мне на затылок не-

большую, но увесистую свою пятерню, погладил по волосам.

— Спать давай, Дюш.

Никита сразу же захрапел. Он повернулся против обыкновения на бок, лицом ко мне. А я долго еще не мог уснуть, ворочался, перебирая в памяти события минувшего шумного дня. Не заметил, как начал дремать.

И вдруг услышал всхлипы. Ничего не понимая, открыл глаза. И совсем растерялся, увидев, как мелкая дрожь пробирает мускулистые, будто литые плечи Никиты, как по щекам его из-под плотно закрытых ресниц текут слезы. Да, слезы... Мне стало не по себе. Если и случалось раньше, в пору детства, видеть плачущим старшего брата, то это было связано с мальчишечьими потасовками на дворе. А теперь плакал взрослый парень, плакал во сне. Что же это за наваждение посетило его в эти минуты, чем он так взволнован, потрясен?

Никита вдруг зашептал, повторяя одно какое-то слово. Я прислушался. «Настенька, Настенька», — бормотал брат.

И я вспомнил наш разговор о зимовке сестры на далеком острове Болховского, высказанную Никитой тревогу о тамошнем житье-бытье, о Настином одиночестве. Видно, мысли эти не покидают брата и во сне, когда, казалось бы, сознание выключается.

Никита повернулся на спину, затих, стал дышать ровно и глубоко.

Осторожно, чтобы не разбудить его, я выбрался с дивана, подошел к иллюминатору, распахнул настежь, так нестерпимо душно показалось мне в капитанском салоне.

Небо над бухтой, темное, в низких снеговых тучах, заметно бледнело. Свет прожекторов над раскрытыми трюмами выглядел уже не таким ярким. Ворчали лебедки, вытягивая из корабельных недр связки ящиков, мешков. Стрекотанье мотора катера, вначале далекое, постепенно приближалось. Вот мотор затих, видно, катер пристал к нашему борту. Раздался голос отца, негромкий вопрос его, обращенный к капитану «Чапаева»:

— Заканчиваете, кэп? Добро. Котовцы и щорсовцы догоняют вас.

Ответ капитана я не расслышал, опять раздался голос отца.

— Сегодня когти подорвем. Зима торопит!

Жаргонный моряцкий оборот, привычный Егору Багрову и на посту директора Полярстроя, требует пояснения: «подорвать когти» означает «поднять якоря».

Так, значит, на сегодня начальник экспедиции назначает выход морских кораблей в обратный путь на запад. Надо торопиться и мне с переходом на «Партизан», с оформлением в речную часть экспедиции.

Весь этот день отплытия морского каравана прошел для меня в каком-то бешеном, я бы сказал, кинематографическом темпе. Пожалуй, и нашему Черняеву не угнаться, хоть и старается он все поймать в свой объектив. Надо было и ящики напоследок потаскать, и собственное барахлишко переправить из трюма «Котовского» в кочегарский кубрик «Партизана», и новому речному начальству представиться. Так и не успел до прощального митинга на палубе «Чапаева» поговорить с отцом и Никитой. Но осталась в памяти отцова речь, слова его, обращенные к первым стадухинским зимовщикам:

— На мускулистой спине грузчика вырос на Большой Реке сибирский заполярный порт Егоркино. Вашим трудом, товарищи, забиты первые сваи будущих причалов у морских ворот Якутии. Спасибо вам скажет Родина!

Сняв шапку, Егор Адрианович поклонился всем низким поясным поклоном.

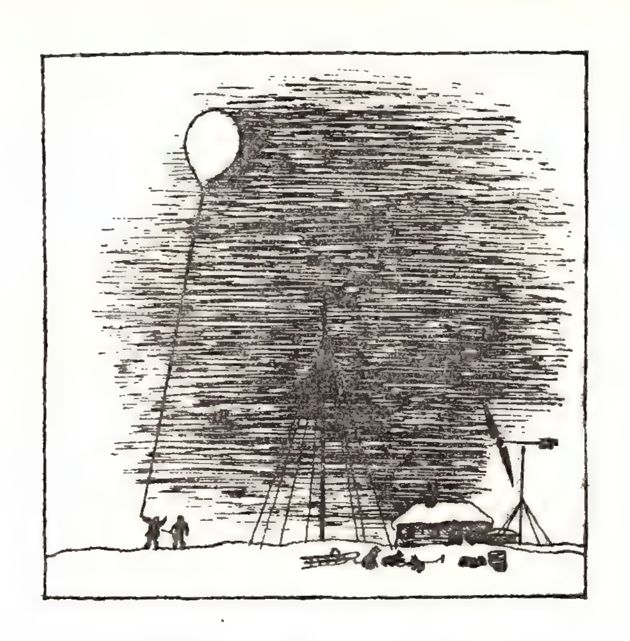
Расцеловался на прощанье с Прокопием Лукьяновичем Подымахиным. Спускаясь вместе с ним по трапу на спардек, едва кивнул Кочкину и его спутнику, все еще в шинели, перепоясанной ремнями, но уже лишенному грозного маузера в деревянной кобуре. Оба эти деятеля поступали под начало к Подымахину, обоим надлежало следовать в Якутск «за непригодностью к использованию в условиях Арктики». Так говорилось в приказе директора Полярстроя.

Со спардека отец поискал кого-то глазами. Наверное, меня. Но я был уже на другом судне, на палубе «Партизана». Крикнул что было мочи: «Счастливо, отец!» Но вряд ли он расслышал меня в реве гудков.

И Никиту я видел только издали — как хлопотали они с Пузанковым на задраенных люках «Чапаева». Проверяли, сколь надежно укреплена амфибия, на которой им предстоит еще потрудиться в полетах, разведывая льды на обратном пути. Путь нелегкий, думалось мне при взгляде на проплывавшие мимо высоко поднятые корпуса транспортов. Лопасти винтов просвечивали из-под воды, шутка ли: идти во льдах без груза, да еще поздней арктической осенью.

Расставаться надолго с отцом и братом вошло у меня в привычку. И никаких особых предчувствий я не испытывал, ничего сверхъестественного от будущей нашей встречи не ожидал. Не сомневался, что она состоится. А где, не все ли равно: в Москве ли, в Новосибирске ли, в Ленинграде или в Архангельске, но встретимся обязательно.

Не знал я тогда, что вижу отца в последний раз. И представить себе не мог, что через год Никита вернется из Арктики с молодой женой.



ГЛАВА 7
НОВОСЕЛЬЕ НА ОСТРОВЕ

Пишет Настя Багрова

Вот какова она, эта земля, на которой мне предстоит прожить целый год. Неприветливая, неласковая... Остров, открытый гидрографом Болховским, представляет собой участок суши, вытянутый с юго-запада на северо-восток и возвышающийся над уровнем моря на пятнадцать-двадцать метров.

Сначала мы высадились на плотно смерзшийся припай. Добрый час брели, обходя торосистые нагромождения, часто проваливаясь по пояс в наст. Усталые, вымотанные, мы с трудом вскарабкались на высокий мыс, одиноко стоящий посреди ледяной пустыни. Стоя на вершине, осматривая остров, мы увидели полосу чистой воды. Мы вернулись на корабль с твердым решением высаживаться там. С тем же упорством и терпением, с какими он вел корабль среди дрейфующих льдов, капитан Элиава начал обходить припай. Изрядно повертелся грузный неповоротливый «Чириков» в редких раз-

водьях, раздвигая своим широким корпусом едва приметные трещины между полями, пока наконец не выбрался на чистую воду у галечной отмели. Тут в полукилометре от берега корабль встал на якорь. Спустили с борта шлюпку с подвесным мотором, кунгасы, благо глубины позволяли им вплотную подходить к берегу. Очень хорошо! Иван Архипович Минаев потирал руки с довольным видом. А Джигит, наш капитан, явно нервничал. Еще бы, как-никак начало сентября. Времени на выгрузку в обрез. Было решено строить дом не на возвышенности — таскать туда тяжеленное оборудование дело долгое, — а прямо на отмели, надежно защищенной от моря двухметровым галечным валом.

Прежде чем разметить стройплощадку колышками, Иван Архипович обратился ко мне:

— Как, синоптик, насчет ветров не ошибемся?

Я чувствовала себя польщенной. Моим мнением интересуется человек, с десяток лет зимующий в Арктике. Ну, кто я такая перед Минаевым? Девчонка... Но скидок мне на возраст никто не делал. Перед работой все равны. Метеорологу надо быть и грузчиком, и землекопом, и подручной у плотников, строивших наш скромный дом из деревянного бруса.

Над ровной, слегка заглубленной площадкой поднялся первый венец. За ним второй, третий. Суток не прошло — полностью выведены стены, настланы пол и потолок. Архангельский печник, весь перемазанный в глине, с ловкостью мастера кладет плиту, снисходительно выслушивая наставления нашей поварихи Раисы Панфиловны. А между кораблем и берегом исправно курсируют импровизированный паром, два спаренных кунгаса, покрытых дощатым настилом, которые тащит на буксире моторная шлюпка. Выгружаем из трюмов все по списку: ящики, контейнеры, мешки, тюки. Одного продовольствия набралось на двадцать шесть тонн. Потом грузим дрова, уголь, бочки с керосином и бензином. Потом перевозим собак для упряжки. Ощутив под ногами твердую землю, они резвятся, визжат, затевают драки.

Спать некогда. Да и не хочется. Тут, за 78-й параллелью, еще лето, светло круглые сутки. Но приближение зимы уже дает о себе знать. Термометр показывает от нуля до минус трех. Временами начинается снегопад, потом внезапно заметает поземка. Оглядываясь вокруг,

не перестаю удивляться: сколь различно ощущаешь время в зависимости от обстоятельств. На «Чирикове», пока мы плыли сюда, незаметно сменявшиеся сутки сливались для меня в один бесконечно длинный день, то слепивший солнцем, то давивший туманной мглой. Здесь всего четвертые сутки идет выгрузка, но мне кажется, что прошло уже несколько недель.

Дом наш уже почти готов. Покрыта крыша, зашиты лбы фронтонов, поставлены переборки, отделяющие тесный закуток с рацией от двух чуть более просторных жилых комнат и кухни. Воздвигнута, закреплена и зацементирована у основания радиомачта. Монтаж самой рации — дело будущего. Однако новая научная станция на острове Болховского, отныне принадлежащая радиометеорологической сети Института Севера, уже вступила в строй. На торжественной церемонии открытия станции был поднят государственный флаг СССР. Взволнованный Иван Архипович Минаев обратился к морякам, сказал, что впервые в истории корабль достигает берегов этого острова. Моряки, стоя в строю, дружно гаркнули «ура». Только бравый наш кэп выглядел грустным и усталым. Осунувшийся, с мешками под глазами, Шалва Луарсабович произнес в ответ одну только фразу: «Счастливо зимовать, друзья!» На прощальном обеде в кают-компании он был молчалив, не острил, не рассказывал за столом анекдоты про тбилисских кинто. Капитан поцеловал мне руку и едва слышно сказал:

— Жаль, поздно менять профессию. Но, если бы было можно, стал бы летчиком, как ваш брат Никита. И обязательно прилетел бы сюда зимой.

Я не удержалась, расцеловала кэпа в обе щеки. Эх, дружище Джигит! При всей своей несхожести с Бруно — и внешностью и характером — чем-то неуловимым ты напоминаешь его. И мне подумалось: быть бы тебе, Джигит, моим братом вместо Никиты, а ему зимовать бы на острове вместе со мной.

Но достаточно лирики, слишком много впереди дел.

Нервы нервами, чувства чувствами, но физическая усталость всегда возьмет свое. Сколько же мы проспали на полу, среди нераспакованных тюков после того, как корабль ушел? Проснулись за полночь. Пыльные, еще не вымытые стекла наших новеньких окон горели пунцовым отблеском, не поймешь, то ли позднего заката, то

ли раннего восхода. Стрелки на циферблате показывали половину первого по новосибирскому поясному времени. Настал первый день нашей зимовки на острове. Что ж, вахтенный журнал новой полярной станции Иван Архипович начнет точной датой. А я в своей тетрадке отнюдь не собираюсь вести дневник. Не всегда выберешь свободную минуту для регулярных записей, когда столько хлопот по хозяйству.

Прежде всего сортируем, убираем в склад многочисленное и разнообразное наше оборудование. А то налетит пурга, и все занесет снегом. Да и жилье надо утеплять, благоустраивать. Стены из деревянного бруса сначала обтягиваем изнутри кошмой, затем обиваем фанерой. Пол застилаем линолеумом, потом проще будет мыть. Щели на оконных рамах заклеиваем плотной бумагой. Из досок сколачиваем нары для каждой супружеской пары в отведенных им шестиметровых комнатушках. Мне досталась узенькая коечка в углу отсека радиорубки. С трудом выкраиваю место для рабочего столика под окном. Книжные полки размещаем в супружеских «будуарах» — библиотеку в Ленинграде нам подобрали хорошую. В кухне ставим большой стол. В углу умывальник, бак ведер на двадцать и шкаф.

Все эти бытовые подробности, на взгляд горожанина, как будто несущественны. Но для зимовщиков каждая деталь здесь просто жизненно необходима.

С благодарностью думаю об Иване Архиповиче. Наш дом из соснового, тщательно просушенного леса изготовлен в Маймаксе на заводе по его чертежам. Хоть и невелик он площадью — всего-навсего тридцать шесть квадратных метров, хоть и неказист снаружи, но зато очень уютен внутри.

Заботы по домоустройству возложены на женщин, тем более что нас как-никак шестьдесят процентов от общей численности населения на зимовке. Иван Архипович даже пошутил, что опасается возрождения матриархата. А Валентина Филипповна в тон ему прикрикнула:

— А ну, вон из пещеры, на охоту пора!

Мясо морского зверя заготавливаем на зиму впрок, оно нужно для собак. Сами же псы пока сидят на привязи, жалобно поскуливая. Волю им сейчас давать никак нельзя, того и гляди от нерпичьих освежеванных туш останутся только обглоданные кости.

Зная неуемные собачьи аппетиты, Павел Семенович пристраивает к северной стене дома специальный мясной амбар. Раиса Панфиловна усердно конопатит щели на чердаке и в сенях. Мы с Валентиной Филипповной помогаем ей. Попутно я узнаю от Минаевой, бывалой полярницы, многое для себя полезное.

Оказывается, тут, в высоких широтах, только в летнее штилевое время снег падает хлопьями, состоящими из мелких шестиконечных звездочек. Зимой же, при сильных морозах влага осаждается игольчатыми кристаллами в сотые доли миллиметра. Иголочки эти, гонимые ветром, сталкиваются друг с другом, измельчиваются в снежную пыль, которая во время пурги проникает всюду.

— Такова проза жизни, Настенька, — философствует Минаева, поправляя пенсне на остром птичьем своем носике. И тут же отдает дань и поэзии: — Разве не прелесть, а? — показывает она на розовых чаек.

Они в изобилии появились у нас после того, как юго-западный шторм взломал припай и вокруг острова засверкала чистая вода. Чайки кружат над скалистым мысом, опускаются к его подножию, куда прибой выбрасывает мелкую морскую живность. От Валентины Филипповны я узнаю, что этот вид пернатых встречается в Арктике чрезвычайно редко: норвежцы наблюдали розовых чаек на Земле Франца-Иосифа, да русские путешественники обнаружили однажды их гнездовье близ устья Колымы.

Биологу Минаевой не терпится добыть для своей коллекции хотя бы одну розовую чайку. И она в сердцах поругивает наших охотников: куда запропастился ящик с патронами для дробовиков. Ящик наконец нашли. Но розовые чайки, увы, исчезли, едва юго-западный шторм сменился северным ветром и снегопадом. Вокруг дома намело сугробы, на гальку лег ровный плотный снежный покров.

Наши мужчины начали проверять собак в упряжке. Причем делали это после долгих споров. Иван Архипович, зимовавший раньше на Чукотке, считает, что запрягать псов в нарты лучше цугом, то есть попарно. А Силкин, давний зимовщик Новой Земли, решительный сторонник упряжки веером. Тогда собаки идут рядом, бок о бок. Крайний правый пес именуется коренным, а крайний левый — передовым.

Пробные поездки по заснеженной отмели помогли выявить и некоторые особенности собачьих характеров. Наиболее подходящим для роли коренного оказался лохматый черный Помор, пес несколько флегматичный. Передовым решили пустить Ропака, рослого, остроухого, резвого кобеля, издали впрямь напоминающего «ропак» — белый, обдутый ветрами, чуть обтаявший ледяной холмик. В упряжке поначалу закапризничала красавица Леди, пользующаяся неизменным успехом в мужском псином обществе. Но Силкин быстро смирил ее нрав, отлупив Леди сыромятным ремнем. Гораздо большую терпимость проявил наш радист-механик — он же по совместительству и каюр — к другой собаке, ленивой, не в меру прожорливой и хитрой псине по прозвищу Шинкарка. Хозяйски оглядев ее после первых выездов, он заметил озабоченно:

— Этой в декретный отпуск пора. Может, еще толковый приплод принесет.

При всем рационализме суждений и строгости характера Павел Семенович привязан к собакам не меньше, чем к своему сложному и громоздкому радиотехническому хозяйству.

Перетаскивая в дом и распаковывая ящики, монтируя аппаратуру, он часами не произносит ни слова. Меня добродушно зовет «квартиранткой» или «угловой жиличкой».

— Коечку, Егоровна, пологом занавесь, так вот. Будет тебе тут вроде девичьей светелки. Скоро спать привыкнешь под мою трескотню. Потом, глядишь, и за ключ возьмешься, если придет охота.

Последнюю фразу Силкин произносит с добрым смешком. Я завоевала его симпатии еще на корабле, сказав, что я знаю азбуку Морзе.

— Что ж, ученая дамочка, — улыбается Силкин, — а не зазорно тебе в подручные к мастеровому человеку пойти, а?

Я ответила, что совсем незазорно. Радист-механик шутливо предупредил:

— Ну, гляди. Вахту ветродуйскую отстоишь, сразу сюда топай.

«Ветродуйская» моя вахта на метеоплощадке. Через каждые четыре часа я записываю в журнал скорость и направление ветра, атмосферное давление, температуру и влажность воздуха. А в остальное время помогаю

Павлу Семеновичу. Задыхаюсь в дыму, глохну от грохота, когда он в сенях запускает движок для зарядки аккумуляторов. В кровь обдираю руки на сборке хитроумного ветродвигателя.

Завидую сноровке другого добровольного помощника, механика Ивана Архиповича. Он по профессии горный инженер, работал в молодости на шахте. И на короткой ноге со всякого рода железяками.

Втроем мы закапывали в грунт, укрепляли оттяжками деревянную мачту, монтировали к ней решетчатую башню из углового железа.

Мой практический опыт пока равен нулю, но знания в объеме самого минимального техминимума постепенно приобретаются. Вечером, после ужина, мы впервые слушали радиопередачу. Наш восьмиламповый радиоприемник, смонтированный и настроенный Павлом Семеновичем, отлично принимал Ленинград. После «Последних известий» передавали запись концерта, состоявшегося в филармонии.

Потом всю ночь я, свернувшись калачиком на своем «прокрустовом ложе», гуляла во сне то по Невскому, то по каналу Грибоедова, то шла от Зимнего дворца к Таврическому саду.

А Силкин, сидя этой ночью у передатчика, выкурил добрых две пачки «Беломора». Только под утро, когда рядом за кухонной переборкой начала громыхать посудой Раиса Панфиловна, встал ее супруг с табуретки, развернул ссутулившиеся плечи и радостно гаркнул: «Поймал все-таки. Ответили молчуны!»

Так мы узнали, что остров Болховского наконец-то вышел в эфир. На позывные Силкина откликнулись давний его приятель на борту «Разина» дядя Ваня Чудихин и незнакомый до сей поры радист с Северо-Восточного мыса. Затем Силкиным был передан рапорт в Ленинград в Институт Севера с копией радиограммы на ледокол директору Полярстроя. Вместе с рапортом ушла и первая метеосводка с нашей полярной станции, подписанная Минаевым и мною. Знаю: на Мойке прочитает ее сегодня и улыбнется суховатый, корректный профессор Губин. А на «Разине» отец скажет: «Ну, ну! Так держать, Настек!»

Где-то «Разин» сейчас? Наверное, уже вывел из льдов караван? Еще бы, ведь на исходе сентябрь: пора кораблям покидать арктические воды.

Молча, почти не притрагиваясь к еде, сидели мы за ужином. Никого не радовали поздравления и приветы из Ленинграда. Не могли обрадовать, ибо очень уж печальными оказались вести, принятые в тот день от радистов Арктики. «Разин», правда, уже подходит к чистой воде, но один, без каравана! Подходит израненный, потеряв в борьбе со льдами два гребных винта из трех. Морские транспорты Якутской экспедиции он оставил зимовать у южной оконечности архипелага Ледяная Земля...

В еще худшем положении пароход «Алексей Чириков». Сменив зимовщиков на материковой станции в бухте Мамонтовой, он не смог пробиться обратно на запад. Стиснутый торосистыми полями, корабль дрейфует.

Лаконичное сообщение обо всем этом, переданное с парохода «Котовский», было подписано начальником Якутской экспедиции. Прочитав депешу вслух с томительными паузами, Минаев сказал, не глядя на меня:

— Ясно... С кораблями остался товарищ Багров. Иначе поступить он не мог. Так у Егора Адриановича всегда — семь бед, один ответ.

Я не могла говорить.

И вовсе не потому, что боялась за отца. Бывалый он полярник, зимовать ему не впервой. Ошеломляло, сбивало с толку обилие неудач, свалившихся на всех нас.

Неужели все-таки Арктика сильней человека? Нет, не хочу, не имею права так думать!

Но тогда почему? Кто виноват? Перебираю в памяти минувшую навигацию: опоздание за опозданием. Поздновато вышли транспорты из Архангельска — раз. «Разин» задержался в самом начале своего пути на восток, выводил изо льдов «Чирикова» — два. Но, с другой стороны, выводить-то было необходимо. «Чириков»-то ведь не ледокол! Еще удивительно, что, расставшись с «Разиным» и не получая помощи от авиаразведки, он пробился все-таки так далеко, к острову Болховского. И только благодаря умению капитана Элиавы! Но ведь тоже: сколько времени он потерял, выискивая дорогу во льдах, часами просиживая на марсе, в этом «вороньем гнезде». Бывало, спустится оттуда весь какой-то лиловый от холода, зайдет в кают-компанию, едва зубами не стучит. Клара, буфетчица, уж и не знала, какими чаями-кофеями отпаивать обожаемого своего кэпа.

Я понимаю: была бы на разведке не одна большая «гидра», а две, как в прошлом году, летал бы старшим в авиагруппе пилот Таубе, тогда уж, наверное, и Лазуренко не отсиживался бы на якоре в бухте Сидоровской, не возвращался бы из разведки, едва встретив туман, испугавшись обледенения.

Впрочем, возможно, я несправедлива к Семену Ильичу Лазуренко. Возможно, моя антипатия основана на личной неприязни к нему со стороны Никиты. Хотя и не говорил Кит об этом прямо, я понимала, чувствовала: недоволен он скромной должностью корабельного разведчика, обидел он Полярстрой, доверив вместо большой «гидры» всего только малютку-амфибию.

Кит, сколько писем, написанных тебе, я порвала, сожгла, уничтожила. Каким стыдом мучилась, в какие вздорные выдумки пускалась. И зачем?

Уверена, убеждена: Никита не ушел с ледоколом, он будет зимовать вместе с отцом. А я тут одна, и так далеко. Думаю: если бы мне зимовать вместе с ними, тогда, может, моим родным было бы и полегче на душе, и чуточку теплее в этом вселенском холодище.



ГЛАВА 8

«НЕ ВЗЫЩИТЕ, РЕБЯТА, АРКТИКА...»

Пишет Никита Багров

Эх, отец, уважаемый директор Полярстроя, начальник Якутской экспедиции. До чего же обидно мне за тебя. Понимаю, что расстроен ты вынужденной зимовкой, что досадной «околицей» стал для тебя обратный путь морского каравана от Стадухинской бухты на запад. И вместе с тем нередко усмехаюсь про себя твоему желанию делать хорошую мину при плохой игре. Ведь изо всех сил ты стараешься уверить всех нас, своих подчиненных, что никаких осложнений, ничего особенного не произошло. И даже наоборот, будто бы зимовка кораблей будет служить дальнейшему углубленному освоению Арктики.

Так отец старался представить положение дел, по крайней мере, передо мною:

— Повезло тебе, пилот Багров. Самым первым из всех летчиков-северян начнешь зимнюю разведку льдов. И притом где, на подступах к высоким широтам.

А в это время ледокол «Степан Разин» долбил своим литым форштевнем береговой припай у Южного острова Ледяной Земли, готовил место зимней стоянки для трех транспортов каравана. В том, что здесь мы поселяемся надолго, как минимум на год, сомнений уже не могло быть. И, вполне понятно, всех нас угнетали приметы ранней, стремительно надвигавшейся зимы. На припае и прибитых к нему ветром дрейфующих полях поземка наметала сугробы почти вровень с торосами. Стужей веяло от молодого льда, который быстро намерзал вдоль корабельных бортов. Мороз начал пощипывать носы и уши настолько, что на ртутный столбик термометра никто, кроме метеонаблюдателей, уже не смотрел.

Очень неприветливо выглядело все вокруг нас. На сером фоне низких давящих облаков чернели береговые скалы, недалекие, отчетливо видные с корабля. Но призрачными, нереальными казались дальние очертания ледников, венчающих горную цепь архипелага, цепь, уходящую на север. Вершины ледников временами выныривали из клубящейся мглы, потом исчезали вовсе, будто растворялись в воздухе. Когда темнело, небосвод становился сначала черным как сажа, потом расцвечивался сполохами: белесыми, зеленоватыми, бледно-желтыми. Сполохи то метались в самой вышине, то спускались к горизонту, едва не опутывая своей искристой вуалью мачты наших кораблей и торосистую, будто перепаханную гигантским плугом, поверхность замерзающего моря. Фантастическое это зрелище мои товарищи комментировали каждый на свой лад.

— Будь тут какой-нибудь поп, беспременно изрек бы чего-нибудь мудреное насчет конца света, — бубнил в поднятый воротник тулупа судовой плотник Харлампиевич, проверяя, надежно ли принайтовлены шлюпки, плотно ли укрыты брезентом лебедки.

— Да уж, картина, достойная кисти, — задумчиво высказался Кузьма Дорофеевич Пузанков, обметая веником снег с плоскостей и фюзеляжа нашей амфибии, стоявшей на плотно задраенных трюмах.

Папа Кузя смахивал снег небрежно, с этакой ленцой, показывая свое полное равнодушие к некогда любимому «воробью». Но что толку в машине, на которой так и нельзя было взлететь с мелкобитого льда. Оба мы старались как-то себя утешить: что строго спрашивать с корабельного разведчика, если на трудном обратном пути

столь же бесполезной для экспедиции оказалась и большая двухмоторная «гидра», летающая с береговых баз.

Сначала из-за скопления плавучих льдов в Северо-Восточном проливе Лазуренко со своим экипажем вытащил лодку на галечную косу. А затем, едва появились там разводья, взлетел, лег курсом на юго-запад к Сидоровской бухте, не дожидаясь подхода наших кораблей с востока. Все мы, «якутяне», знали, что иного выхода у Лазуренко не было. Отлет его санкционировал Егор Адрианович. Тогда же он приказал капитану Грачеву поставить караван на зимовку, а самому на «Разине», что называется, уносить ноги подобру-поздорову. Было очевидно, что ледокол, потеряв один за другим два гребных винта, не сможет вести транспорты в сгущающихся льдах. Как бы и сам, чего доброго, не застрял в дрейфе.

«Разин» ушел, забрав часть команд со «Щорса», «Чапаева» и «Котовского», их штаты на время зимовки были сокращены. Моряки, которые оставались зимовать, выстроились на льду, молча слушали начальника экспедиции.

— Не взыщите, ребята, Арктика... Пока мы с вами в Арктике гости. Вот обживемся, будем хозяевами.

Все это происходило во второй половине короткого осеннего дня. В сумерках тоскливо прозвучали отходные гудки «Разина».

Когда вечером я зашел к отцу в капитанский салон парохода «Котовский», тут, как и в других каютах, матросы обивали кошмой переборки, утепляли помещение. Вместо привычной электрической светила керосиновая лампа. Едва переступив порог, я тотчас уловил слухом бульканье воды в пышущих жаром трубах и батареях отопления. И сразу стало мне по-домашнему тепло, уютно после кромешной тьмы и ледяного ветра на палубе. Отец сидел на диване, смотрел на меня, скупо улыбался. Это по его приказу все жилые помещения судов, соединенные трубопроводом, начинали теперь отапливаться от одного котла.

— Ну, что скажешь, Кит? — отец подмигнул мне. — Этак, пожалуй, веселей будет, чем камельки по каютам ставить, угольную копоть разводить.

Я молча кивнул.

— То-то вот, — продолжал отец, — моряки ведь

чем всегда сильны? Артельностью своей, коллективным духом. На зимовке все члены команды должны жить вместе, как и в плавании. За батареями, трубами, за котелком каждый зимовщик будет следить — каждому охота тепло сберечь. А с камельками знаешь как: один у себя в каюте затопил, другой поленился. Потом, глядишь, лентяя-то зависть и одолеет: почему это у соседа теплей? Не иначе он себе уголек получше припас, кто-то ему блатует. Вот тебе и сплетня и склока. Так и запсиховать недолго, и от болезней, той же цинги, не убережешься.

— Ну, знаешь, пап, — возразил я, — в Егоркине позапрошлую зиму как раз наоборот получилось. Там, если кто и психовал, то только с отчаяния от этой цинги. А до цинги кто народ довел?

— Та-а-ак. — Егор Адрианович зло усмехнулся. — Ясное дело, кто, начальство. Знаю, уважаемые критиканы, много вы грехов числите за директором Полярстроя. Что ж, — отец помолчал, выбивая пепел из трубки, — что ж, придет время, за все отвечу сполна. В Москве отвечу.

— Не пойму я, пап, с чего ты в обиду ударился?

— Ладно, — Егор Адрианович вычертил трубкой в воздухе нечто вроде креста, — потолкуем лучше о делах, пилот Багров. Хватит на твоей машинке горючего, чтобы покрыть галсами Северо-Восточный пролив?

Я пожал плечами.

— Трудно сказать. Пойду позову Дорофеича, вместе все обговорим.

Не прошло и получаса, как на рабочем столе в штурманской рубке мы расстелили чертежи самолета-амфибии. Обводя тупым концом карандаша отсеки, сочленения трубопроводов, поглядывая на отца, Пузанков говорил:

— Бачок дополнительный пристроим вот тут. Даст он нам керосинцу еще верст на полтысячи. Так что не только пролив облететь сможем, но еще и ближние острова.

На следующий день в пустом трюме за переборкой машинного отделения открылся «самолеторемонтный цех». Скрежетал металл, вспыхивало и гасло пламя электросварки, звучали возбужденные голоса спорщиков. При всем уважении моряков к папе Кузе, «механер-аншефу», каждый мастеровой человек из судовых ко-

манд, будь то механик, машинист или кочегар, обязательно предлагал свои конструктивные решения по установке дополнительного бачка. Кузьма Дорофеевич выслушивал все советы терпеливо, за помощь благодарил, но свое мнение не изменял никогда.

Моряки расчистили от застругов и ропаков площадку на припае. Мы с отцом — оба в кухлянках, меховых штанах, торбасах, теплых рукавицах, — закрыв лица пыжиковыми масками, уселись рядом в кабине.

Подбитые дюралем лыжи мягко заскользили по ровному льду. После короткого разбега я дал газ, взял ручку на себя. Машина плавно пошла вверх. Летим!

Сначала под нами был береговой припай, сплошные торосы прямо-таки частоколом отгораживали стоянку кораблей. Потом внизу потянулась однообразная мозаика плавающих льдов. Были видны скованные морозом сероватые обломки многолетних полей и отливающие голубизной, слабо припорошенные снегом молодые льдины. Дальше за припаем унылой пустыней открылся нам архипелаг Ледяной Земли — острова, лишенные всякой растительности. И таким нечеловеческим холодом пахнуло оттуда, что я впервые в жизни наглядно представил себе значение термина, слышанного от геологов, — «ископаемый лед». «Возможно, — подумал я, — целиком ледяные тут не только «сахарные головы», проглядывающие из облаков. Весь этот чертов архипелаг, чего доброго, сложен изо льда».

Термометр за ветровым стеклом показывал всего минус двадцать девять. Но никогда прежде в полетах я не замерзал так, как за эти два с половиной часа в открытой кабине амфибии над Северо-Восточным проливом.

Ветер раздвинул тяжелую завесу туч. На западе в разрыве облаков проглядывал край пунцового солнечного диска. Уже завтра мы не увидим и его. Добрых три месяца здесь, за 77-й параллелью, не будет всходить солнце. А много ли можно увидеть в воздухе из кабины в полярные сумерки, даже если в небе висит луна? Да и как еще взлетать и садиться в темноте? Очень не по себе стало мне от таких мыслей.

Полярная ночь... Расставаться с солнцем на несколько дней кряду, наблюдать то серый полумрак, то розовые полосы на востоке, то лиловую, как разведенные чернила, полумглу мне не раз случалось в Егоркине, куда я регулярно прилетал, работая зимой на Больше-

рецкой авиалинии. Там «отлучение от светила» продолжалось недолго. После трех-четырех дней, проведенных в шестидесятых широтах, я очередным рейсом возвращался почти на две тысячи километров к югу. А вот здесь, у берегов Ледяной Земли, предстоит прожить в буквальном смысле в потемках добрых три месяца.

Но ко всему привыкает человек. Недели через две после нашего с отцом полета, первого и последнего до наступления ночи, густая плотная тьма держалась уже круглые сутки. Если бы не общий распорядок дня, установленный приказом по экспедиции, обязательный для всех зимовщиков, мы давно стали бы путать числа календаря. Каждое утро ничем не отличалось от предшествовавшего ему вечера. Ежедневно в восемь утра звучал гонг, сигнал побудки, а затем радиотрансляция разносила по каютам «Марш веселых ребят». Ребята наши, выбегавшие по команде на заснеженный лед для гимнастических упражнений, выглядели в общем-то бодро.

Но все же постепенно вкрадывалось в наш зимовочный быт нечто на первый взгляд неуловимое, но весьма близкое по настроению к зимней спячке медведей. Люди становились менее подвижны, все чаще тянуло их на боковую, все меньше находилось охотников перекинуться мячом, пробежаться на лыжах.

Молодых моряков, парней моего возраста, от спячки спасала учеба. Ну скажите, какому кочегару или матросу не захочется пройти за год зимовки сокращенный курс морского техникума? Начальник экспедиции не ошибся, когда, посоветовавшись с капитанами, учредил своим приказом такое учебное заведение на караване. В курсанты записались почти все рядовые моряки. Они регулярно приходили на занятия в кают-компании «Щорса» и «Котовского». Уроки по навигации, морской практике, мореходной астрономии, судовым двигателям и вспомогательным механизмам, по радиосвязи и радиотехнике вели капитаны, механики, штурманы, радисты. В программу были включены также беседы начальника экспедиции на общегосударственные и народнохозяйственные темы.

Все моряки слушали Егора Адриановича охотно; каждую тему, так или иначе связанную с Арктикой, он иллюстрировал примерами из собственной жизни. Много интересного узнали слушатели о дореволюционной гидрографической службе в России, о становлении рыбного

промысла на Мурмане уже в советское время, о том, как в первой пятилетке строился и развивался сибирский комбинат Полярстрой. Присутствовал на каждом таком собеседовании и я. Мне очень хотелось, чтобы батя рассказал морякам и о Якутской экспедиции. Тогда, возможно, он вспомнит и историю исследований Ледяной Земли, которая меня очень интересовала. Когда я однажды заикнулся об этом, отец недовольно отмахнулся:

— Успеем еще. Год целый впереди. Вот начнем с тобой, Кит, над проливом, над островами летать. При хорошей погоде попробуем и на остров Болховского махнуть. Настю проведаем, как она там насчет погоды колдует.

Отцовы слова показались мне обидными. Вспомнил все-таки Егор Адрианович свою дочь, волей судеб заброшенную на край света. Но почему вспомнил именно сейчас?

Да только потому, что лежат на его рабочем столе рапорт Минаева о вступлении в строй новой полярной станции и первые метеосводки с острова Болховского. Как хотите, сухарь он, дорогой наш родитель.

А я просто теряю способность рассуждать здраво, когда речь заходит о Насте. Ведь мои к ней чувства, в которых я сам себе боялся признаться, пока не получил ее письма в Архангельске, мои чувства к единокровной сестре, естественны ли они с общепринятых позиций морали? Не безнравственны ли, строго говоря?

Перечитав фразу, едва не вычеркнул. Оставил все-таки: не только людям, себе самому всегда надо говорить правду. Я хорошо помню, как тогда на рыбалке тетка Аксинья и Настя вытащили меня, посиневшего от холода из-под коряги. Тетка потом куда-то ушла, а мы, Настя и я, лежали рядом на сухих, горячих под солнцем бревнах причаленного к берегу плотика. Лежали голые. Я дрожал не от холода, отнюдь нет. Дрожь пробирала меня от стыда. Я стыдился своей «гусиной» пупырчатой кожи, пальцев с грязными, давно не стриженными ногтями, слипшихся косм на патлатой голове, шершавых, покрытых «цыпками» ступней. Впервые устыдился я своей наготы.

А Настя ничуть не стыдилась, и просто потому, что не принимала меня всерьез. И это для мальчишки было самое мучительное, самое обидное.

Отсюда и пошли мои замашки озорника, так пугавшие дома бабушку. Отсюда и бранные клички в адрес Насти, все эти «рыжие кошки», «конопатые ведьмы». Настя взрослела, становилась все более самоуверенной, жила в своем особом мирке, мне решительно непонятном и потому враждебном. Я демонстративно не здоровался с ребятами-старшеклассниками, все чаще приходившими к нам на Поморскую готовить уроки вместе с Настей. И совсем уж возненавидел троих хлыщей из мореходки, которых бабушка окрестила «кавалерами-провожальщиками». Временами мне казалось, что с теми тремя Настя состоит в каком-то заговоре, тайном и для нее опасном. Но когда однажды Витька Хохлин, мой одноклассник и сосед по парте, высказался об этом с нарочито хулиганским цинизмом, я подрался с ним до крови, рассорился навсегда. Я тогда не только заступился за Настю, нет; я почувствовал, что оскорбление нанесено и мне, пятикласснику, и всей семье Багровых.

Ну а дальше? Дальше было все так, как рассказывала Настя в первом своем письме, полученном мною много лет спустя в Архангельске.

Эти письма так памятны мне... Вижу каждую неровную строчку, каждое зачеркнутое, исправленное слово. Не получи я эти письма от бабушки, не прочти их сразу, никогда не написал бы того, что пишу сейчас. Смелости не хватило бы.

Я ведь парень робкий, стеснительный, когда по земле хожу, не то что за штурвалом, в полете.

Я хорошо помню тот случай... Что же было тогда на Поморской у бабушкиных ворот, когда, я, пацан, успел с маху, с налету «врезать» троим великовозрастным балбесам, за что и был ими основательно поколочен? Ревность?

Впрочем, нет, пожалуй, еще не ревность. Просто досада на собственную мальчишескую незрелость, желание как-то самоутвердиться. И еще двигала мною тогда жалость к Насте, самонадеянной и беззащитной.

Ревность пришла потом, когда Настя, устыженная бабушкой, исчезла из дому и только после розысков, месяца через два, мы узнали, что она нанялась уборщицей на траулер. Ничего не зная ни о старпоме, ни о тралмейстере, ни о коке, корабельных Настиных ухажерах, совсем не представляя себе проходимца-доцента, ставшего в конце концов ее избранником, я просто рев-

новал ее к рыбакам, ко всем, кто находился с нею рядом.

Потом в Москве, когда она училась в университете, а я — в школе пилотов, мы, если и виделись иногда, то лишь мельком, урывками, на ходу. У каждого были свои заботы, свои дела, казавшиеся самыми важными на свете. Выпущенный наконец в самостоятельный полет, я почувствовал себя по-настоящему взрослым парнем. Дурацкое самодовольство настолько переполняло все мое существо, что я и думать позабыл о своих близких. И еще кружили голову новые знакомства, привязанности, увлечения.

Только теперь, наедине с раскрытой тетрадкой, способен я понять и осудить свой эгоизм той поры, бездумное свое равнодушие к жизни сестры, в ту пору особенно одинокой.

Став пилотом-инструктором, я впервые почувствовал себя на равной ноге с Настей. Но все же, больше по привычке, завидовал ей в чем-то. Прежде всего в том, что она уезжала на Крайний Север. Однако утешал себя: скоро догоню! Вот отпустит меня осоавиахимовское начальство, стану и я полярником.

Догнал-таки... Первый полет над Большой Рекой в составе экипажа Таубе запомнился не только новизной впечатлений чисто профессиональных: не сравнишь тяжелую двухмоторную «гидру» с легкими учебными бипланами. Восхищала и сибирская природа — дремучая тайга, скалистые обрывы берегов, неоглядный речной разлив. Что-то новое, доселе не испытанное входило в мою жизнь. Все это так.

Но человек, сидевший рядом, на командирском кресле, безукоризненно пилотировавший машину, вез в Заполярье огромный букет полевых цветов. Вез для моей сестры, своей невесты... Когда Бруно Густавович впервые произнес это слово — «невеста», — папа Кузя, механик, и Лева Балабан, штурман, одобрительно заулыбались. А я на какое-то мгновение почувствовал острую неприязнь к ним. Будто сообща, сговорившись заранее, отняли они у меня тайком что-то очень для меня драгоценное, принадлежавшее до той поры одному только мне.

В полете не было времени, чтобы осмыслить это смутное переживание. За полусуточное пребывание в воздухе Таубе не раз передавал мне штурвал. Командир

испытывал новичка, второго пилота, и так и эдак. А новичок из кожи лез вон, лишь бы не ударить лицом в грязь.

Ни одного замечания не получил я от Бруно Густавовича в дальнейшем: ни в линейных рейсах, ни на ледовой разведке над морем, ни во время стоянок в аэропортах. Но всегда какая-то незримая черта, нечто неуловимое и необъяснимое разделяло нас.

В пилотской, сидя рядом, я следил за каждым движением командира, старался по выражению лица догадаться, о чем он думает, что решает, как будет реагировать на ухудшение погоды, как начнет заход на посадку, если внизу волна. Словом, будучи в воздухе, в полете, я учился у мастера. Учился и благоговел.

А вот на земле... Стыдно признаться: не видя командира, я тотчас же представлял себе Бруно Густавовича рядом с Настей. Однако ревности, озлобления против него я не испытывал. Оставались только обида и грусть. Обида на судьбу: почему родился ты, Никита, в семье боцмана Егора Багрова в зимовье на Кривой протоке, а не у часовых дел мастера Густава Таубе на Васильевском острове в Петербурге?

Теперь и вспоминать те мысли смешно. Теперь я думаю о другом: о странном стечении обстоятельств. Надо же было случиться так, чтобы тогда, в урагане, моторы нашей «гидры», вырвавшись из своих гнезд и упав сверху на пилотскую кабину, насмерть поразили Бруно Густавовича, а меня, сидевшего рядом, смерть обошла стороной. Мог ведь и второй пилот Багров найти вечное пристанище на дне Большерецкого залива.

А Бруно Густавович остался бы жив, счастливый супруг Настасьи Егоровны летал бы по-прежнему в ледовую разведку, разыскивая дорогу морским кораблям. Летал бы, конечно, мастерски, всегда находил бы чистую воду. Да, пожалуй, командуй Таубе разведкой в Якутской экспедиции, караван бы не зимовал на обратном пути. А уж Насте-то при живом муже, конечно, и в голову не пришло бы уезжать на зимовку, да еще в такую даль.

Интересно, что сказал бы отец, попади ему в руки мои записи?

Как-то зайдя в капитанский салон, я застал его сидящим над раскрытым учебником по аэронавигации. Рядом с книгой лежала толстая тетрадь в клеенчатом

переплете. Там на разлинованных в клетку страницах были аккуратные небольшие чертежики и формулы, выписанные очень тщательно, буква к букве, цифра к цифре.

Внимание мое привлекло и другое: на носу Егора Адриановича плотно сидели большие очки в роговой оправе, которых раньше я не видел.

— Что, Кит, на бюрократа стал похож твой отец?

Он снял очки, утомленно опустил веки: что поделаешь, плоховато стал видеть вблизи. После минутной паузы, открыв глаза, подмигнул мне:

— Вот, товарищ командир, не теряет времени твой штурман, потихоньку повышает квалификацию.

И, тяжело вздохнув, помянул добрым словом покойного Леву Балабана, первого своего наставника в аэронавигации. Тут я и вспомнил давний Левин рассказ о любознательности Егора Адриановича, когда летали они вместе над обширным хозяйством Полярстроя. «Ты понимаешь, Никита, такой уж он человек, директор, не хочет, не может оставаться на борту пассажиром, То карты ему с прокладкой подай, то поправки к компа́сному курсу вычисли, то сам за секстант берется».

Прав был Лева: многое знает отец, хотя никаких вузов и не нюхал.

— А ну, командир, проэкзаменуй штурмана, — пододвинув мне учебник и тетрадь, отец сказал тоном, исключающим возражения. — Не ленись, не стесняйся, задавай вопросы.

С того дня и пошло. Регулярно проверять его знания по аэронавигации Егор Адрианович вменил мне в обязанность.

— Ученье свет, как известно, особливо во тьме полярной ночи. А то, гляжу я, дрыхнуть больно здоровы некоторые товарищи из рядового и командного состава.

Сказано это было батей хоть и в шутку, но и довольно строго, со ссылками на маститые авторитеты. Дескать, не злоупотребляли сном на зимовках ни Норденшельд, ни Амундсен, ни Толль, ни Нансен. Тут я начал возражать, что именно Нансен, зимуя на Земле Франца-Иосифа спал часов по двадцать в сутки в норе, сложенной из камней, утепленной мхом и мехами. И при всем этом отнюдь не страдал цингой.

Разговор шел в кают-компании после обеда. Только что мы с аппетитом похлебали кислые щи, сжевали гу-

ляш из консервированного мяса. Любителей отхватить на боковой «минут этак сто двадцать» после сытной трапезы нашлось немало. Все они дружно поддержали меня. Но отец не сдавал позиций:

— Об одном забыли, уважаемые сони: чем питался тогда Нансен? Сырым мясом, если мне память не изменяет. Да, да, когда нерпичьим, когда моржовым, когда медвежьим. Вот и я, если желаете, могу приказ отдать, чтобы для вас коки установили такой же рацион. Да заодно, чтобы все уж было у нас по Нансену, предложу вам переселиться из кают на снежный бережок. Стройте там себе берлоги, живите как пещерные люди. Кто первый? Ты, Никита, а?

Кандидатов на возвращение в каменный век, естественно, не нашлось. Все якутяне-зимовщики продолжали есть горячую пищу в кают-компании, не переставая хвалить наших судовых кулинаров. И уж волей-неволей подчинялись установленному ранее распорядку дня, в котором на сон отводилось восемь часов.

Однако с тем большей охотой погружались люди в сон, ища хотя бы в сновидениях возможность как-то разнообразить унылый зимовочный быт. И потом откровенно рассказывали друг другу, что кому приснилось. Меня, например, избрал своим собеседником мой сосед по каюте, почтенный механер-аншеф Кузьма Дорофеевич.

Укладываясь после отбоя на своей нижней койке, он укрывался с головой, храпел до сигнала побудки, лежал в одной позе, так и не повернувшись с бока на бок. А проснувшись, почти всякий раз донимал меня одними и теми же разговорами.

— Слышь, Егорыч, обратно Нюшка привиделась, — папа Кузя молодецки крякал. Взлохмаченный, он походил на старого ежа, вылезшего из кучи сухих листьев. Сладко потягиваясь, зевая во всю свою щербатую пасть, механер-аншеф считал нужным все же отметить нынешний возраст своей давней деревенской зазнобы: — Да уж полсотни, не меньше... Сынов, дочек, внучат, поди, полдеревни. Пожалуй, повстречай я сейчас Анну свет Игнатьевну, и не признал бы ее в личность. Старуха, конечно. И сама, поди, не помнит, какой раскрасавицей была в девках-то.

Затем, влезая в меховые штаны, он продолжал:

— Баб опосля той Нюшки у меня было, не хвастаясь

скажу, легион. А вот поди ж ты, не одна не снится как Нюшка.

Высказавшись, папа Кузя хитровато поглядывал на меня, ожидая уже моего рассказа. Но я предпочитаю отмалчиваться.

А снится мне всякое. Больше всего почему-то Москва, улицы с трамваями, троллейбусами. Людей всюду тьма. Особенно тесно на движущихся лестницах в метро — на эскалаторах этих. Их почему-то больше всего запомнил я в метро, в котором был всего один раз вскоре после его открытия. Только и успел прокатиться от Крымской до вокзалов. Еще вижу во сне Ленинград, речным трамваем по Неве катаюсь. И театры вижу, и ресторан, в котором устраивали мне проводы осоавиахимовские ребята, когда переходил я в полярку. Снятся мне и девчата, конечно.

Но вот недавно стал повторяться странный какой-то сон. Будто в каюту сюда на зимовку Таня пришла. Потом вдруг вместо каюты самолетная кабина. И Таня в комбинезоне с двумя парашютами — один на спине, другой спереди — выходит на крыло. Знаю: она идет на затяжной прыжок, рекорд будет ставить. Боюсь за нее ужасно. Смотрю вниз: камнем падает. Ищу глазами секундомер. Ищу и не могу найти. Дальше полная ерунда: ни лесочка, ни поля внизу. Мгла какая-то, как при лесных пожарах. Таня раскрыла парашют. Но где? Рядом со мной. Гляжу, стропы за самолетный хвост зацепились. Кто под куполом там висит, разобрать не могу, лица не видно. «Таня, — кричу, — Танюша!» Оборачивается парашютистка ко мне — не Танино у нее лицо, Настино. Бледное-бледное, все в слезах. Страшно ей! Мне еще страшней. Просыпаюсь, стыдно сознаться, тоже плачу.

Слышу, как на нижней койке храпит Пузанков, а за переборкой снаружи мерно шагает кто-то. Наверное, вахтенный.

Как-то ночью я никак не мог уснуть, долго ворочался, потом оделся, вышел на спардек. Гляжу: отец ходит взад-вперед, завернувшись в мохнатую собачью доху, под нос себе что-то мурлычет. Прислушался, ага, «нелюдимо наше море».

Дошел Егор Адрианович до трапа, ведущего вниз, обратно пошел по спардеку. Увидел меня, пошутил:

— Вахтенного заменяю на общественных началах.

Ему, молодому парню, самый сон сейчас, а мне чего-то не спится.

— Погоди, пап, а ты здоров ли?

— Как тебе сказать, — отец вздохнул, распахнул доху, полез за кисетом и трубкой. Похлопал меня по плечу, прогнал обратно в каюту.

Я ушел, ни о чем больше не расспрашивая.

Вскоре, суток трое спустя, очнувшись от сна, услышал я знакомые шаги за переборкой и, выйдя на спардек, снова увидел отца.

Егор Адрианович не жаловался на бессонницу, не спрашивал у судового врача никаких снотворных капель или пилюль. Каждый день поднимался по сигналу утренней побудки, вместе со всеми выбегал на лед делать зарядку. К завтраку приходил свежевыбритый, подтянутый. Но ел как-то вяло, чай свой любимый, крепчайшей заварки, неохотно так потягивал. А иногда отодвинув стакан, закрывал глаза, будто дремал какую-то долю минуты, прервав неожиданной паузой начатую было фразу. И тут же мгновенно сбрасывал дремоту, снова как ни в чем не бывало продолжал беседу.

После завтрака отец приглашал капитана Тихомирова за шахматную доску и почти всегда проигрывал ему партию. Но не огорчался этим, спокойно благодарил победителя. А Тихомиров, наш молчаливый и обходительный Александр Петрович, никогда, однако, не заискивавший перед начальством, обыграв директора Полярстроя, говорил ему будто в утешение:

— В комбинациях вы, Егор Адрианыч, сильны. Но рассеянность вам мешает.

Я от шахматных интересов далек. Не знаю, может быть, тут капитан и прав. Но во всем остальном отца нельзя назвать человеком рассеянным. Наблюдая его на зимовке изо дня в день, я всегда завидовал его собранности, сосредоточенности.

И тут, вдали от Большой земли, продолжал он руководить предприятиями комбината, почти ежедневно обменивался радиограммами: с правлением Полярстроя в Новосибирске, с заводами и портом в Егоркине, с рудником за Каменной Грядой, с Институтом Севера в Ленинграде и с полярными станциями. Приходили и радиограммы из Москвы: из Госплана, Внешторга, Наркомата водного транспорта — о подготовке к следующей навигации, о ремонте судов, о фрахтовании ино-

странного тоннажа под экспортно-импортные перевозки. Из Цеквода — Центрального комитета профсоюза водников — интересовались: «Как там у вас зимовщики Якутской экспедиции? Все ли живы-здоровы?» В ответ профсоюзникам, которых он не то чтобы недолюбливал, но откровенно не принимал всерьез, отец писал обычно два-три слова: «Спасибо. Порядок. С приветом». Почти всегда, передавая радисту депешу, говорил:

— У нас на стоянке иначе и быть не может. А вот как у дрейфующих дела? Там всякие возможны ЧП. Ты, Серега, вызывай капитана Элиаву почаще.

— Есть... — отвечал радист. — Да только сами знаете, Егор Адрианыч, трудно пробиваться отсюда к «Чирикову». С Болховским островом связь надежнее. Жду вот Силкина. Он напрямую с чириковским радистом работает.

— Ладно, — кивал отец. — Силкину и всем болховчанам поклонись от меня, Серега.

Дело в том, что между нами и пароходом «Алексей Чириков», дрейфовавшим к северо-западу, лежал гористый архипелаг Ледяной Земли. Горы-то, видимо, и служили помехой радиоволнам. А рация острова Болховского по своему местоположению оказалась в более благоприятных условиях. Оттуда радист Силкин уверенно держал связь не только с нашим зимующим караваном, но и с дрейфующим «Чириковым».

Но вот однажды, незадолго до Нового года, когда стояли самые лютые морозы, наш Серега пришел в кают-компанию взволнованный.

— Молчит Болховской что-то. Может, какая неисправность там у Семеныча.

Рация острова Болховского не отвечала на вызовы ни на второй, ни на третий день. А на четвертый, когда удалось наконец связатьсся с островом, Сергей ворвался в кают-компанию сам не свой, выпалил залпом:

— Слышу, морзянка какая-то сбивчивая. Почерк незнакомый. Спрашиваю: да кто у вас там, на Болховском, на ключе? Отвечают мне: «На ключе метеоролог Багрова, заменила заболевшего Силкина».

Передохнув, Сергей закончил, обращаясь к Егору Адриановичу:

— А дочка-то у вас боевая, товарищ начальник.

Отец молча кивал, долго перечитывая радиограмму с острова. И он и все, кто был в кают-компании, теря-

лись в догадках: что же там произошло? А я думал о Насте: каково-то там ей сейчас?

Почти каждую ночь снится мне теперь заснеженная избушка на островке, который наблюдал я однажды с воздуха, в том так печально закончившемся полете.

Тогда было лето, кругом виднелись лужицы талой воды. А теперь наверняка сугробы нанесло вровень с крышей. Антенна вся заиндевела, радиомачта гнется под ветром, и такая вокруг пустыня, такая тьма. А внутри избушки теснота. За тонкой переборкой, должно быть, стонет больной радист. А Настя у аппаратов одна. Как-то с непривычки она с ними ладит? Старается, знаю. Но все-таки дело новое. Нервничает, поди, злится на себя. Это у нее в характере — с людьми ровна, приветлива, а себе спуску не дает.

Просыпаюсь и места себе не нахожу. Так мне хочется, Настя, идти к твоему острову пешком по морю. Глупость, конечно, нелепица: туда и лётом не доберешься, не долетит мой «воробушек».

Я все время думаю о тебе, Настя...



ГЛАВА 9

СОЛНЦЕ УШЛО НАДОЛГО

Пишет Настя Багрова

Ушло, скрылось за горизонтом, на целые три месяца покинуло нас солнце. День ото дня короче становятся полярные сумерки, окрашенные скупыми угасающими зорями или вовсе беспросветно серые. И таким малым, стиснутым темнотой стал наш затерявшийся в ледяной пустыне мирок — домик, приземистый склад и собачник.

Незадолго до последнего захода солнца мы с Иваном Архиповичем вдвоем совершили объезд острова Болховского. Метеовахты на это время приняла у меня Валентина Филипповна.

Вдоль всего побережья одометр, велосипедное колесо, привязанное к задку нарт, показал более сотни километров. Остановились на отдых, разбили палатку. Ночью тихая погода сменилась пургой, внезапно налетевшей от норда. К утру палатку занесло снегом почти доверху.

Мы с Минаевым недовольны, а нашим собачкам хоть бы что: спали себе мирно под слоем снега, не слышно было ни рычания, ни визга, столь надоедавших нам каждое утро на зимовке.

Мы накормили собак, сами выпили чаю, вскипяченного на примусе. Поехали дальше к северо-восточной возвышенной части острова. На холмах темными проплешинами зияла каменистая земля. Снег не держался на склонах, сдувался ветром. Там нашли изгрызенную песцами — так определил Минаев — нижнюю челюсть медведя.

Погода стояла ясная, черное, усыпанное матово-серебряными звездами небо, на котором четко просматривались созвездия, будто зависло над нами. Мы сделали несколько остановок для астрономических наблюдений и к концу вторых суток возвратились домой. Встречавшая нас Валентина Филипповна благодарила за то, что мы пополнили ее зоологическую коллекцию. Раиса Панфиловна потчевала горячими пирожками. А Павел Семенович привычно ворчал, возясь с радиоаппаратурой: беспокоят его магнитные возмущения в верхних слоях атмосферы, которые мешают прохождению коротких волн.

Треск электрических разрядов, скрежет и вой в эфире, заполнившие радиорубку и заглушавшие энергичные высказывания радиста, не помешали мне мгновенно уснуть. Так устала с дороги.

Да, территория острова кажется огромной по сравнению с тесным, убогим нашим жильем. Когда еще снова удастся отправиться в подобный вояж. Не раньше чем появится солнце. Но этого еще ждать и ждать. А пока дни убывают просто стремительно. В пасмурный день сумерки устанавливаются только в самый полдень на какие-то полчаса. Но вот исчезли и эти полчаса. Непроглядная плотная тьма стоит круглые сутки.

Кроме метеоприборов, смонтированных нами сразу после ухода корабля, мы соорудили и оборудовали магнитный павильон для Минаева, он ведь не только геолог, но и магнитолог по совместительству. Павильон возводили в сотне метров от жилого дома и склада, там, где не может сказаться возмущающее действие железа и электрического тока.

Довольный успехами в капитальном строительстве,

Иван Архипович, кажется, и спать не ложился, все время сидел за вычислениями точных географических координат нашего острова.

«Теперь и наша территория получила вид на жительство», — шутил он, просвещая меня насчет сложных явлений погоды, характерных для Центральной Арктики.

Никогда прежде, зимуя на севере Сибири, не встречала я такой пурги, какая часто метет здесь, на острове Болховского. При скорости ветра в пять-шесть метров в секунду тончайшая снежная пыль струится по гребням сугробов, точно рябь по воде. А если ветер усиливается до семи-восьми метров, то поднимается сплошная, похожая на туман пелена сначала в рост человека, а затем мутно-снежная завеса растет на несколько десятков метров вверх. И настолько она плотная, эта мгла, что в ста метрах не разглядишь перед собой решительно ничего: ни людей, ни собак, ни строений.

А небосвод чист: ни облачка на нем. Называется это «светлая пурга».

Но куда хуже «темная пурга». Небо заволакивается сплошными облаками, из которых непрестанно сеются снежные иглы. Настоящий хаос, объявший землю. При ветре девять-десять метров в секунду все вокруг скрыто в клубах снега. Стену дома не увидишь, даже если стоишь в полуметре перед ней. Снежные иглы секут лицо, колют глаза. Сильный ветер, поток морозного воздуха забивает дыхание, валит с ног. Если надо двигаться в такую пургу, обязательно поворачивайся к ветру спиной, а то и ложись на землю и ползи.

Одна такая пурга, бушевавшая несколько дней кряду в полной тьме — солнце уже не всходило, — доставила нам немало забот. Едва выйдя из дому, обнаружили: повалены треноги электропроводки, порваны провода. Устранять повреждения пришлось при свете фонаря. Стойки треног мы вкапывали, потом вмораживали. Работа адская. Такой каторги я раньше и представить себе не могла.

Как-то ранним утром, задолго до звонка будильника, все мы проснулись от сумасшедшего лая и визга. Выскочили наружу. Там в сплошной тьме перед нами вырос сероватый силуэт огромного медведя. Все три женщины с воплями кинулись обратно в дом. Самым хладнокровным оказался Силкин. Сорвав со стены карабин, успев

даже набросить на плечи кухлянку, он подошел к дверям и, спокойно прицелившись, несколько раз выстрелил в зверя. Глухо зарычав, медведь свалился. Собаки продолжали еще тявкать в темноте.

Когда Силкин с Минаевым подошли к зверю, он был мертв. Но одна из пуль, выпущенных Павлом Семеновичем, поразила насмерть и Чижика, маленького, неопределенной породы, но отчаянно смелого пса, который первым бросился на медведя.

Как и остальные «болховчане», я дежурила по дому, помогая Раисе Панфиловне. Если выпадала ясная погода, заготавливала дрова, уголь, керосин и лед, из которого затем натапливала воду. Дрова, употреблявшиеся по соображениям экономии только на растопку, необходимо было наколоть, напилить, сложить в сенях. Затем накопать у наружной стены хозяйственного склада уголь, который лежал под толстым слоем снега. Далее перекачать керосин в расходный бидон из бочки, которая тоже стоит у склада. Если не сделаешь всего этого заблаговременно при тихой погоде, то в пургу обязательно поморозишь руки и лицо. Не совсем просто и добывать лед на припае в морских торосах. Торосы, правда, прошлогодние, соль из них вытекла в теплое летнее время, так что можно не сомневаться, вода будет пресная. Но пока наколешь ледку, столько уйдет времени и сил...

Много возни и с хлебопечением. Поскольку духовка наша маловата, всего на четыре формы, в первый день мы выпекаем черный хлеб, а во второй — белый. Накануне вечером разводим в ведре болтушку, опару, густую как хорошая сметана. Для брожения добавляем старую закваску, еще сохранившую в тепле кухни дрожжевые грибки. Затем ведро с тестом помещаем на ночь около плиты, чтобы болтушка забродила.

— Станови, Настюша, к печке не впритык, но и не далече, а то либо перекиснет тесто, либо совсем не поднимется. Разумеешь? А теперь и в духовку можно. Там уж он, хлебушко-то, дойдет, — советует мне Раиса Панфиловна.

Она строго следит и за тем, чтобы не нарушалось меню наших завтраков. Я подаю к столу в завтрак вместе с хлебом и сливочным маслом сыр и яичницу на огромной сковородке. Медвежатина, добытая Павлом Семеновичем, считается у нас деликатесом. По части

отбивных, ростбифа и рубленых котлет Раиса Панфиловна непревзойденная мастерица.

Перечисляю все эти гастрономические утехи с наслаждением. Хоть я и «ученая ветродуйка», моя ученость не мешает мне любить домашние хлопоты. Думаю, мне пригодится школа Раисы Панфиловны дома, на Большой земле. Если только будет у меня когда-нибудь свой дом и своя семья...

Дежурная три раза в день подметает пол, убирает со стола, моет посуду, в конце недели драит пол горячей водой с мылом — именно «драит», люблю это вкусное моряцкое словцо.

Следуя примеру бывалых полярниц, Валентины Филипповны и Раисы Панфиловны, замачиваю свое белье сначала в холодной воде, потом кипячу с мылом и наконец стираю. После того как белье высохнет, все глажу своим «персональным» утюгом — подарок бабушки Таисьи Федоровны.

Наши мужчины рассматривают глажение как «буржуазный предрассудок», явно излишний в суровом зимовочном быту. А мы осуждаем как «пережиток проклятого прошлого» неистребимое пристрастие Минаева и Силкина к табаку. Папиросами, самокрутками они дымят круглые сутки, правда не забывая приносить извинения дамам. К тому же от керосиновых ламп— зажигаем их в тихую погоду, когда ветряк не работает, — а также после хлебопечения и стирки жарища в доме поднимается отчаянная, градусов до тридцати.

Наступил декабрь, самый темный месяц в Арктике. Хотя «темный» здесь понятие относительное. Почти не заходит за горизонт полная луна, и когда небо безоблачно, у нас «ночью» светлее, чем «днем».

Погода стоит сухая, тихая, морозы умеренные. Иной раз выйдешь из дому и любуешься сказочной картиной. Торошеные морские льды, низменный берег, крутой мыс — все засыпано снегом, искрящимся в лунном свете. Домик наш только самой крышей выглядывает из окружающих сугробов, к входной двери прокопана траншея.

Начиная вахту на метеоплощадке, я порой чувствую себя точно на другой планете. Думаю: да существуют ли вообще где-нибудь большие города, шумящие под ветром леса, зеркальная гладь озер, пробегающая

рябью. Льются ли где-то дожди, светит ли солнце, грохочет ли гром? Не приснилось ли мне все это когда-то очень давно, еще в детстве?

Но медвежьи следы на снегу напоминают: наша «микропланета», именуемая островом Болховского, обитаема. Когда иду к метеоплощадке, обязательно беру с собою карабин.

Как-то выйдя на остервенелый лай собак, Павел Семенович едва не столкнулся нос к носу с медведем. Косолапый самозабвенно копался в нашей помойке, видимо, уже давно, «находясь в рассуждении, чего бы покушать». Силкин выстрелил в воздух, собаки зашлись в неистовом лае, и мишка бросился наутек, потешно перебирая лапами и испуганно оглядываясь.

Часто ловлю себя на восторженной девчоночьей влюбленности в этого пожилого человека, по возрасту годящегося мне в отцы. Как и родной мой батя, как и я сама, Павел Семенович коренной северянин, помор. Больше половины своей жизни провел в плаваниях и на зимовках. Стоит Павлу Семеновичу надеть наушники, послать в эфир позывные, как сразу же откликаются ему многочисленные друзья, каждого из которых узнает он по «почерку»:

— Это вот Костька Сысоев с Трехстолбового... А это уж не иначе Серега Петров на «Котовском», зимует вместе с отцом твоим, Егоровна. Серега из молодых да ранний, повезло капитану Тихомирову на такого «маркони». У Джигита на «Чирикове» Титаренко слабей, хоть и плавает куда дольше Петрова. Стареет он уже, Титаренко, все мы не вечные...

Судового радиста Титаренко на пароходе «Алексей Чириков» я совсем не помню, хоть и встречалась с ним за столом кают-компании изо дня в день добрых три недели. А он приветы мне шлет как старый знакомый. Волей-неволей Титаренко приходится отстукивать многословные послания своего капитана, явно нарушая правила радиопереписки. Джигит, симпатяга Шалико, остается верным моим воздыхателем. В радиограммах от него знакомые поэтические строки. Кажется, какое далеко время — в кают-компании я читала капитану на память Есенина и Пастернака. Он внимательно слушал, записывал в записную книжку.

А теперь вот сижу рядом с Силкиным в тесной нашей

радиорубке, читаю свои любимые строчки, выводимые его узловатой рукой на бланке радиограммы:

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.

Или еще:

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
 Носил я с собою и знал назубок.
 Шатался по городу и репетировал.

Записывая все это, Павел Семенович поглядывает на меня искоса, хмыкает себе под нос. Но все-таки не ворчит, не ругает ни меня, ни капитана. А я невольно краснею. Временами хочется послать Шалико с его лирическими излияниями ко всем чертям. Да не могу. Ведь каково ему, бедолаге, там, в дрейфе, на занесенном снегом, стиснутом льдами корабле? Какие только петли не выписывает «Чириков» по воле ветров и течений, представляю, как часто подается там команда «полундра!», когда на борта и палубу лезут ледяные валы.

А все-таки тщеславная ты женщина, Настасья. Льстят тебе ухаживания бравого капитана.

Но хватит, ерунда все это.

Воспользовавшись тихой морозной погодой, дня за два до Нового года Силкин отправился на собаках осмотреть капканы, расставленные им по всему острову. Прошли почти сутки, он не вернулся. Начиналась пурга. Иван Архипович встревожился, начал готовить вторую упряжку на розыски, но выехать не успел. Силкинская упряжка вдруг вынырнула из снежной мглы. Усталые псы едва тащили нарты с неподвижным телом.

— Пашенька, родимый, что за напасть такая? — закричала Раиса Панфиловна.

Мы втащили Силкина в комнату, ножом вспороли заледеневшую окровавленную кухлянку, меховую рубаху и увидели огромную рваную рану на мускулистом плече. Разжав ножом стиснутые зубы радиста, влили ему в рот

разведенный спирт. Только после этого Павел Семенович открыл глаза, произнес шепотом:

— Вот... И на старуху проруха.

Осмотрев рану, Минаевы, в медицине сведущие, сразу определили: пулевое ранение. Пуля разворотила мышцу, перебила правую ключицу, порвала нерв, сухожилия. Правая рука радиста, полностью парализованная, висела как плеть. От потери крови он совсем обессилел.

Только после извлечения пули, после тщательной перевязки раны мы перевели дух. Лишь позже, когда Павел Семенович обрел способность говорить, он рассказал нам, как это случилось. На привале, сидя на нартах, Силкин кормил собак, стоявших в упряжке. Карабин, поставленный на боевой взвод, он прислонил к нартам дулом вверх. И вот тогда вдруг из-за выступа берега показался медведь. Псы мгновенно рванулись к зверю. Силкин скатился с нарт, упал плечом на дуло карабина и, поскользнувшись, ногой задел курок.

— Так грохнуло, думал, вот и конец настал. Поднялся, чувствую, нет руки. Кровь фонтаном хлещет. Собачки прогнали зверя обратно в торосы. А то бы он меня схарчил, уж точно. Возвернулись псы с нартами, думаю, надо собираться обратно. Тут и запуржило. Ехал долго, сколько раз без памяти оставался, не сосчитаю.

Покряхтев, Силкин попросил перевернуть его на бок, сказал, обращаясь ко мне:

— Вот и пришел твой черед за ключ браться.

Первый мой самостоятельный сеанс радиосвязи был с зимующим Якутским караваном. Радист парохода «Котовский» Сергей Петров два раза, правда, переспросил меня, не все сразу понял. Потом, перейдя на «ты», напутствовал:

— Не робей, ежели что надо, всегда подскажу. Скоро в эфире будешь как дома.

До чего же он необъятен, этот мой «арктический радиодом». Гляжу на схему северных радиостанций, которая висит над силкинским рабочим столом, считаю флажки, ими обозначены станции на островах и побережьях, на зимующем Якутском караване, на дрейфующем «Чирикове». Знаю, что расстояния между ними измеряются тысячами километров. Пытаюсь представить себе на квадратах меркаторской карты торосы и по-

лыньи полярных морей. Жутковато становится: экая пустыня. И всюду стужа, темень.

Но надеваю наушники, и сразу оглушает меня какофония, свист, вой, треск разрядов. Попискивает что-то торопливое, играет музыка, прорываются поющие голоса, жалобно рыдает саксофон. Прислушиваюсь: ага, Ленинград широкое вещание ведет. Нет, не Ленинград, какая-то норвежская или шведская станция. Архангельского коротковолновика долго не могла дозваться. А какой-то финский любитель так и шпарит свои позывные. Сколько же у меня новоявленных знакомцев в эфире?

А на душе тяжело. Не поправляется наш Павел Семенович. Жар у него, рана гноится. Не избежал, видимо, заражения крови. Наши лекарства не помогают ему. На Раису, бедняжку, без боли невозможно смотреть.

Описывать последние часы Павла Семеновича, отчаяние овдовевшей Раисы Панфиловны нету сил.

Умер... Невыносимо видеть в окне грубо отесанный столб с поперечно прибитой дощечкой. Недалеко от зимовки похоронили мы Павла Семеновича, аммоналом взорвали заледеневший грунт, разгребая лопатами плотно слежавшийся, промерзший снег, вырыли могилу...

Сколько прошло дней, не знаю — мы потеряли способность что-то замечать, будто онемели от горя. Молча работаем, молча садимся за стол, едва притрагиваясь к еде. Молча беремся за свои дела.

И никого не радует солнце, с каждым днем поднимающееся все выше над горизонтом, все ярче освещающее наш погребенный во льды островной мирок.

Да, разговаривать с кем-то мне порой невмоготу. Единственная отдушина — сеансы радиосвязи. Но они нерегулярны. Из-за участившихся полярных сияний — магнитных возмущений в атмосфере — нарушается прохождение радиоволн. И кажется мне порой, что вымер, оледенел весь мир вокруг нашего островка, нет больше в Арктике ни зимующего Якутского каравана, ни дрейфующего «Чирикова». И такие мы теперь всеми забытые — мы, четверо островитян.

Говорят, не надо верить предчувствиям. А я верю. Ощущение нового надвигающегося несчастья преследовало меня изо дня в день после смерти Силкина. И пред-

чувствие не обмануло меня: затонул раздавленный льдами «Чириков».

Когда после трехдневного перерыва в радиосвязи я наконец дозвалась Титаренко, услышала его сигналы, он сообщил, что экипаж «Чирикова» дрейфует на льдине. Пароход затонул два дня назад после очередного сжатия, получив огромную пробоину в левом борту. Хорошо еще, что не было жертв, что большую часть припасов и снаряжения моряки успели заблаговременно вынести на лед.

Мы, зимовщики острова Болховского, первыми получили радиограмму капитана Элиавы, подписанную им после гибели судна. Я тотчас переправила ее дальше: через Архангельск на Москву и на Якутский зимующий караван, Егору Адриановичу Багрову.



ГЛАВА 10

СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ...

Пишет Никита Багров

Сколько ни ожидай беду, она всегда приходит внезапно. В таком духе высказался отец, получив радиограмму капитана Элиавы о гибели парохода «Алексей Чириков», о том, что команда и пассажиры находятся на дрейфующем льду.

Отец говорил спокойно, без тени волнения. И я понял: все тревоги уже пережиты им сполна.

Да, конечно, потому и не спалось ему в полярную ночь. Ни с кем не делился он своими сомнениями, все таил в себе. Себя, только себя винил в том, что произошло. Ведь не чья-нибудь, его виза стояла на договоре Совторгфлота с судостроительной фирмой, выполнявшей заказ на этот пароход. Знал директор Полярстроя, как скептически высказывались представители Регистра СССР о ледовых качествах «Чирикова». И все-таки, несмотря ни на что, Полярстрой зафрахтовал это судно под арктические экспедиционные перевозки.

И еще думалось мне, ошибся отец с назначением капитана на «Чириков», переоценил смелость Элиавы, не учел того, что слишком молод он, недостаточно опытен.

Конечно, об этом я с отцом никогда не говорил, но для себя составил определенное мнение, послушав, что говорят капитаны об Элиаве. Не скажу, чтобы к Шалико Элиаве коллеги относились неприязненно. Но одни завидовали его быстрому продвижению по службе, другие не прочь были подтрунить над картинно эффектной внешностью Джигита, третьи злословили насчет донжуанских похождений кэпа.

Я же на примере капитана Элиавы усматривал нечто необъяснимое в отношении Егора Адриановича к людям. Почему молодому капитану директор Полярстроя доверял безгранично, а меня, молодого летчика, держал все время «на помочах»?

Оставшись на зимовке вместе с кораблями, я стал помощником отца в задуманных им зимних разведках льдов. Подготовленный Пузанковым, мой самолет мог стартовать сразу же после восхода солнца.

Солнце взошло, но началась пурга. Только установилась ясная погода — пришла радиограмма о гибели «Чирикова».

Обсудить положение отец пригласил капитанов трех зимующих судов, экспедиционного синоптика Арзуманяна и меня с Пузанковым. Когда мы вошли в кают-компанию «Котовского», капитаны уже рассаживались за столом. Кряхтя, втискивался в кресло тучный Столярчук. Сбоку примостился на краешке стула застенчивый сутулый Федюшин. Как всегда, абсолютно бесстрастным выглядел сухощавый бледный Тихомиров. Все трое выжидательно посматривали на отца, переводя взгляд с него на развернутую на столе карту. Острыми зигзагами на ней был показан трехмесячный дрейф «Чирикова». Он завершался крестом к западу от Ледяной Земли.

Егор Адрианович измерил циркулем расстояние, вопросительно взглянул на Пузанкова и меня:

— Далековато, орлы, а?

— Да уж, свет не ближний. — Пузанков почесал за ухом, вздохнул.

Я сказал:

— Важно, Егор Адрианович, выяснить вот что. Есть ли там у капитана Элиавы горючее, успели они или нет выгрузить бочки с бензином? А тогда уж можно судить, далеко ли, близко ли лететь нам отсюда к чириковцам.

Отец повеселел:

— Сейчас запросим Элиаву.

Начался оживленный обмен мнениями. Как ни мала наша амфибия, радиус у нее достаточен, чтобы достигнуть дрейфующего лагеря. Но вот сколько пассажиров сможет пилот забрать оттуда с собой? Если нет на льду запасов горючего и машину придется заправлять на оба конца, в кабину не посадишь больше одного человека. А вот если горючее там есть, тогда пилот сможет забирать со льда по два пассажира.

— Допустим, — Егор Адрианович обратился ко мне. — Однако и при последнем, наиболее благоприятном варианте тебе их возить не перевозить. Рейсов двадцать, не меньше, понадобится сделать на твоей амфибии. Сделаем вот что. Вызовем Лазуренко с Большерецкой линии, теперь у него новая лыжная двухмоторная машина, она сразу принимает десять пассажиров.

Пришел радист с радиограммой от Элиавы: «Горючее на льду есть, заправку самолета на обратный рейс обеспечим».

Как все просто и легко решается на совещании. Но сколько прошло времени, прежде чем поднялись мы с отцом в воздух и легли на курс.

Чтобы кратчайшим путем достигнуть ДЛЧ — дрейфующего лагеря чириковцев, — надо пересечь западную оконечность Южного острова Ледяной Земли, пролететь над горной цепью и дальше идти уже над морем. Не буду хвалить свою материальную часть. Хоть и слабоват, конечно, моторишко, вся-то мощь — сотня лошадей, — но охлаждение у него не водяное, воздушное, не надо возиться с подогревом воды. Скоростенка — сто тридцать в час — для амфибии с лыжами вполне приличная.

Высоту набираем плавно. Пересекли береговую черту. Под нами поплыли сначала заснеженные холмы, округлые увалы, потом и горы, одетые ледниками. «Сахарные головы» ледников выныривали из облачной завесы внезапно, и я нервничал, тянул штурвал на себя.

На карте показана высота триста девяносто метров, а вдруг это неточно. Не доберешь какого-нибудь десятка метров — на полном ходу врежешься в «сахарную голову».

Кончились горы Южного острова. Дальше внизу мозаика разводий и торосов. Полярное море зимой. Не так уж много людей наблюдало его — кто с палубы дрейфующих кораблей, кто в санных походах на льду. Но так вот, с воздуха, да еще в высоких широтах, первыми наблюдаем полярное море мы, я и Егор Адрианович.

Не раз за минувшую навигацию, пока шел морской караван к берегам Якутии, мы с батей вместе поднимались на амфибии. И я уж привык, чуть повернув голову или просто скосив глаза, видеть его рядом: крупную голову с низко надвинутой на лоб ушанкой, под рыжеватыми кустистыми бровями чуть сощуренные, в сетке морщин глаза.

Теперь, в зимнем полете, постоянно ощущаю присутствие отца в кабине по жесткому упору его плеча. Так непохож на себя Егор Адрианович в плотной пыжиковой маске, скрывающей лицо. Такое же «арктическое забрало» защищает от холода и мою физиономию, мягкий шелковистый мех облегает скулы, лоб, оставляя открытыми только глаза. Но и те защищены темными очками — больно уж ярко сверкает снег.

Готовясь к полету, отец привлек для консультации всех трех капитанов. Прокладывая курс, слушал их советы, скрупулезно учитывал все возможные поправки на склонение компаса. А когда поднялись мы в воздух, строго следит за тем, чтобы я учитывал снос машины боковым ветром. Стараюсь, товарищ штурман! И меня тревожит этот южный ветерок.

Понимаю, почему отец все чаще поглядывает за борт, неодобрительно покачивая головой. Внизу белесая дымка испарений. Она поднимается от разводий, скрывает их очертания. Торосы в лучах низкого февральского солнца отбрасывают глубокие тени. По расчету времени пора бы уже нам обнаружить лагерь чириковцев, но что поделаешь, ветер заметно снизил нашу скорость. Перед вылетом Егор Адрианович предложил Элиаве: пусть там у них на льду горит костер, чтобы дым служил ориентиром для нас. Но где же он, когда наконец покажется?

Показался долгожданный. Косая черно-пегая струйка будто растекалась надо льдом, сносимая ветром. Смотрю на часы: опаздываем на тридцать пять минут. Зато навигационный расчет верен. Чувствую, как выражает свое удовлетворение отец, ощущаю легкий толчок его плеча. И сразу, заложив вираж, начинаю снижаться. Вижу: все соответствует описанию, которое давал по радио Элиава — шесть палаток, стоящих в два ряда. Мачта с флагом над сложенными в штабель ящиками и мешками. Чуть поодаль гора бочек. Дальше бревна и доски, сваленные в беспорядке, заледеневшие.

Приглядываюсь: молодцы, и площадочку расчистили сносную. Правда, невелика она, этаким чулком вытянулась с юга-запада на северо-восток. Размеры: метров четыреста на двести, да точно так и радировал кэп. Не больно просторно. Ладно, чего уж там, сядем.

И вот тут-то, едва начал я заходить на посадку, заклубилась поземка. Исчезло, будто стертое резинкой с бумаги, крупное, выложенное судовыми брезентами, посадочное Т. Точно перевернутые вверх килями шлюпки мелькнули в снежном мареве кровли палаток. Мелькнули и скрылись. Внизу бушевало море снега. А наверху в зените простиралась безоблачная голубизна.

Все ясно: ложимся на обратный курс несолоно хлебавши. Хорошо бы вовремя долететь, чтобы не захватила нас до посадки пурга.

Успели, к счастью. Спустились на припай Южного острова, зарулили на стоянку. Хоть, конечно, и обидно, что первый «спасательный рейс» закончился с нулевым результатом, но для будущего важен самый факт достижения района дрейфа. Раз уж сумели мы в первом же полете найти ДЛЧ, значит, правильны были аэронавигационные расчеты, не было ошибок и в пилотировании. В следующий полет, имея теперь некоторый опыт, я уже смогу отправиться без штурмана. Мест для пассажиров станет в кабине не одно, а два, после того как снимем дополнительный бачок для горючего.

Но Егор Адрианович охладил наш с Пузанковым пыл:

— Не трожьте пока бачок. Дадим Никите слетать туда разок, пусть на пробу сначала одного человека вывезет. И себя повторно проверит в полете, и страховка будет на всякий случай, а ну как снова не сядет на льдину из-за пурги.

Суждение здравое. Но у нас на зимовке пурга началась раньше, чем я успел подняться в воздух. Четверо суток я не пытался и носа показывать из каюты. Не скажу, чтобы нервничал или скучал. Не до того было.

Много событий происходило в эти дни в мире, множеством новостей радовал нас радист Сергей Петров. Помощь морякам и пассажирам парохода «Алексей Чириков» стала предметом особой заботы Москвы. К этому времени, февралю 1936 года, спустя два года после прогремевшей на всю страну «челюскинской эпопеи», советские полярники располагали уже немалым опытом спасательных работ в условиях суровой арктической зимы. Каждый день из столицы запрашивали координаты дрейфующего лагеря, сводки погоды. Одобрив намеченные директором Полярстроя меры, Москва утвердила Егора Адриановича ответственным за спасательные операции, базой для которых была избрана зимовка Якутского каравана. Отсюда намечались полеты к ДЛЧ не только моей амфибии, но и крупных самолетов, специально для того снаряженных на Большой земле.

Один из них, пилотируемый Семеном Ильичом Лазуренко, покинув Большерецкую авиалинию, уже начал полет в Арктику. Вторую такого же типа машину срочно готовило Сибирское управление Аэрофлота.

Взглянув на карту, можно представить себе маршрут этих перелетов. От Транссибирской магистрали до Егоркина без малого две тысячи километров, от Егоркина до Ледяной Земли еще больше. Но в условиях Крайнего Севера не всегда уместно сопоставлять протяженность маршрутов. Большерецкая авиалиния до Егоркина действует регулярно уж третий год. А вот от низовьев Большой Реки до Ледяной Земли над тундрой и льдами до сих пор совершались только экспедиционные полеты, да и то не зимой, а в период морских навигаций. Прав был папа Кузя, уподобляя нашу малютку-амфибию «синице в руках», а большие самолеты, направляемые из Сибири, «журавлям в небе».

Отправляясь во второй полет к ДЛЧ один, без штурмана, я волновался куда меньше, чем в первом полете. Вероятно, потому, что курс был уже выверен. За время, пока у нас бушевала пурга, льдина чириковцев крутилась в дрейфе почти на одном месте и оказалась отне-

сенной лишь на четыре мили к югу. Судя по метеосводкам с острова Болховского, начинался антициклон, гарантия тихой и ясной погоды.

Снова в воздух! Снова курсом на северо-запад. Прямо через Южный остров и дальше над морем.

Видимость была отличная. Садился на чириковскую льдину при абсолютном штиле, дым от костра казался неподвижным черным столбиком. Лыжи притерлись, сразу заскользили мягко, без толчков. В какую-то долю секунды успел подумать: вот, оказывается, и таким гостеприимным может быть тот самый морской лед, который недавно смял, искромсал, отправил на дно стальную громадину корабля.

Вылезая из кабины, едва удержался на ногах: таким шквалом обрушилась на меня восторженная толпа встречающих. Точно в калейдоскопе мелькали перед глазами лица, в упор на меня смотрело множество глаз, покрасневших от снежного блеска льдов, сверкающих слезами, затененных ресницами, поседевшими от инея.

Прошло не менее четверти часа, пока зычный окрик капитана Элиавы перекрыл наконец многоголосый гомон.

Верный традициям кавказского гостеприимства Шалва Луарсабович не только по-братски облобызал меня, назвав «кацо», «генацвале», «батоно» и еще как-то по-своему, но тут же начал угощать крепчайшим черным кофе из термоса. Чудесный этот сосуд держала обеими руками разрумянившаяся на тридцатиградусном морозе судовая буфетчица Клара.

— В пассажирки набивается, — снисходительно усмехнулся Элиава. И добавил доверительно: — Она у нас первой намечена к вылету. Понимаете?

Как не понять. Достаточно было самого беглого взгляда на фигуру буфетчицы, заметно располневшую после нашей первой встречи на корабле, чтобы уяснить, в чем дело. Однако в кабине рядом со мною первая пассажирка уместилась без особых усилий.

Лиха беда — начало. Первый взлет со льдины прошел так же благополучно, как и первая посадка здесь. Без каких-либо ЧП в воздухе, спокойно дотянул до дому. Папа Кузя, не мешкая, демонтировал дополнительный бачок. И позади пилотского кресла освободилось

еще одно столь необходимое место. На следующий день при крепнущем морозе и полном безветрии удалось дважды слетать в ДЛЧ. Двумя рейсами я вывез еще четырех женщин: уборщицу и прачку из судового состава, и двух пассажирок-полярниц, возвращавшихся с зимовок на Большую землю. После трех моих полетов на льдине осталось сорок четыре человека, все мужчины.

Повезло мне и дальше. Полеты проходили при отличной видимости, солнце уже высоко поднималось в безоблачном небе. Мотор работал как новенький, ни разу не чихнул. О чем еще мечтать пилоту? Засыпая в тот вечер в каюте на верхней своей койке, усталый и счастливый, я уже предвкушал завтрашние рейсы.

Но Ледовитый океан преподнес вдруг сюрприз.

«Сильнейшая подвижка льдов. Под угрозой склад, жилые палатки. Спасаем имущество», — радировал Элиава Егору Адриановичу. Было очевидно: аэродром в ДЛЧ закрыт.

— Выходной у нас с тобой, командир, досрочно получился, а? — сострил папа Кузя за обедом в кают-компании.

Я шутку не поддержал, настроение было не то. Ведь из всех «якутян», проводящих зимовку под защитой острова в общем-то весьма уютно, один я воочию наблюдал быт дрейфующего лагеря чириковцев. Каково это — проснуться вдруг ночью, ощущая, что твое тело вместе со спальным мешком провисает над разверзающейся трещиной. Или увидеть ледяной вал, неотступно ползущий на жалкое брезентовое жилище.

Тот день стал одним из самых томительных за всю зимовку. Только после полуночи Серега принес радиограмму от Элиавы: «Подвижка прекратилась. Жертв нет. Большая часть имущества сохранилась». А утром он шлет новую: «Начинаем строить аэродром».

— Строят! Ну и молодцы! — просиял хмурый Егор Адрианович.

А я почему-то вспомнил Москву, Ходынку, экскаваторы, асфальтоварочные котлы, тяжеленные катки. Бездну техники требовало сооружение на твердой земле ровной и надежной полосы для посадок и взлетов самолетов. Здесь же, в океане на ледяном островке, у чириковцев в руках лишь пешни, лопаты, ломы. А под

ногами зыбкая ледяная кора, ежеминутно готовая рухнуть в тартарары.

Чириковцы сооружали теперь новую площадку, уже более просторную. Они готовились к приему не только моего «воробушка», но и тяжелых двухмоторных машин, которые уже летят из Сибири. Лазуренко благополучно прошел Старый Большерецк, но задержался в Туринке из-за пурги. Курсом на Заполярье стартовал и аэрофлотский пилот Вершинин, откомандированный в распоряжение Полярстроя.

Оба летчика информировали непосредственно Москву. А уже нас оповещали оттуда «Последние известия» по радио.

Чириковская катастрофа и все, что за ней последовало, активизировали арктическую тематику в печати. Если прежде московские редакции обращались к Егору Адриановичу с запросами о жизни зимовщиков-«якутян» не чаще чем раз в две-три недели, то теперь его бомбардировали радиограммами едва ли не каждый день.

Отвечая на запросы, Егор Адрианович неизменно подчеркивал: «Трудновато чириковцам сейчас на льду. Однако верим, твердо знаем: всех товарищей выручим из беды, всех вывезем».

Произнеся последнюю фразу при чтении вслух ответной радиограммы, отец пристально взглянул на меня и Пузанкова.

— У нас с командиром вопросов нет. А вот площадочка там у чириковцев... — Кузьма Дорофеевич покашлял в кулак. — Это, как бы поделикатней выразиться, вроде чирика на известном месте.

Не думаю, чтобы такая острота пришлась по вкусу капитану Элиаве. Но он будто слышал упрек. Уже к обеду, в очередном своем донесении из ДЛЧ Джигит не только сообщил новые координаты льдины — они, хотя и незначительно, непрестанно изменялись, — но и доложил: аэродромные работы закончены.

Ко всему постепенно можно привыкнуть и на земле и в воздухе. Вчера рейсов было три, сегодня уже четыре. А с начала спасательных операций всего насчитывалось десять полетов к чириковцам. Однако усталость берет свое. Пробыв в воздухе в общей сложности часов десять-двенадцать, я ног под собой не чувствовал.

После ужина едва добирался до койки и будто проваливался в сон. Десятью рейсами перевез двадцать одного человека! Сначала взял одну пассажирку, потом стал возить по двое. В десятом рейсе, войдя в азарт, на заднее место в кабине запихнул двоих морячков — они, правда, оба худенькие, щуплые — доставил трех пассажиров. И этаким себя чувствовал именинником!

Но отец мою лихость не одобрил.

— Машину не бережешь. От перегрузки недалеко и до поломки. Еще грохнешься где-нибудь по дороге.

— Мой командир не грохнется, — подал было голос Кузьма Дорофеевич.

Отец сердито оборвал Пузанкова:

— Заступник нашелся. А подумали вы, закадычные друзья, что вашему «воробью» еще долго придется служить? Спасательные работы закончим, начнем разведку льдов, будем летать до самой навигации. Кроме того, скоро будут здесь большие самолеты. Лазуренко и Вершинин двумя рейсами заберут со льдины столько, сколько ты, Никита, и десятью не перевез.

Все отцом подмечено справедливо. Только, кроме километров расстояний, килограммов горючего, мощности мотора и вместимости кабины, существует еще профессиональное самолюбие авиатора. Да будь у меня не малютка-амфибия, а двухмоторный самолет, как у Лазуренко, я бы давно всех чириковцев со льда перевез. А уж случись мне лететь на такой машине из Сибири, я не тащился бы как московский трамвай, не сидел бы из-за чистки мотора в Егоркине.

Как ни расстроил меня разнос, устроенный отцом, но я и на следующий день летал к чириковцам. Четырьмя рейсами перевез восьмерых. После четвертой моей посадки механер-аншеф, забыв привычную субординацию, подошел к Егору Адриановичу, снял рукавицу и сунул ему под самый нос всю пятерню с поднятым большим пальцем:

— Что, товарищ начальник, видал?

Отца такая выходка отнюдь не рассердила. В тот день наши комсомольцы-моряки выпустили «экстренное издание» зимовочной стенгазеты. Изображенный во весь лист богатырь в меховых доспехах, в котором без труда угадывался я, сидел верхом на крылатом медведе. Медведя держал под уздцы Пузанков.

Но ни торжествовать, ни вообще как-то веселиться не хотелось мне в тот вечер. Хотелось попариться в баньке, прогреть косточки, промороженные насквозь, выдуть самовар чаю и спать, спать.

Всю эту скромную программу выполнить удалось, за исключением только сна. Сказалось ли тут физическое переутомление и нервное напряжение последних дней, не знаю. На своей верхней койке я впал в какое-то странное забытье. Долго преследовал меня навязчивый кошмар: самолет в полете вдруг зависает над огромной полыньей. Обволакивает его густая пелена испарений, леденеют ветровое стекло, стены кабины. С отвратительным стуком барабанят по фюзеляжу мелкие кусочки льда, слетающие с лопасти винта. Машина проваливается. Тяну штурвал на себя, но бесполезно...

Утром пришла радостная весть: Лазуренко в воздухе! За день долетел он от Сидоровской бухты до архипелага Макарова, оттуда на рассвете сегодня пошел напрямую к нам маршрутом, знакомым еще по летней ледовой разведке.

С какой теплотой встречали зимовщики-«якутяне» крылатых гостей с Большой земли, я мог только себе вообразить. Потому что сам в это время ходил очередным рейсом к дрейфующему лагерю.

Я возвращался из ДЛЧ с двумя пассажирами, хорошо видел весь зимующий караван и стоящий на льду двухмоторный самолет, окруженный толпой.

— Вот и отработал ты свое, пилот Багров, теперь Семен Ильич от тебя вахту примет, — говорил Егор Адрианович, подойдя к моей машине под руку с возбужденным, сияющим Лазуренко.

— Да уж, Никита Егорович, трудную трассу освоил, нашему экипажу теперь не угнаться. — Лазуренко тряс меня за руки, обнимал, дружески поглаживал по красному крылу амфибию — вот уж действительно мал золотник, да дорог.

Дальше события развивались таким образом, как и предвидел отец. Лазуренко на двухмоторной машине потребовалось слетать в ДЛЧ всего три раза, и эвакуация чириковцев была завершена.

Второго большого самолета мы так и не дождались.

В правительственной депеше из Москвы говорилось

о награждении орденами двух экипажей: летчика Багрова и летчика Лазуренко.

А также в связи с предстоящим юбилеем Полярстроя и города Егоркина, форпоста индустрии на Крайнем Севере, удостоился награды Егор Адрианович Багров.

— Щедрая она, Советская наша власть, — сказал отец за празднично убранным столом в кают-компании, — чересчур даже щедрая.

И строго глянул на сидевшего рядом Элиаву:

— Нам с тобой, капитан, самое время под суд идти. А вот видишь...



ГЛАВА 11

ПЕРЕД МНОГИМИ ТЫ В ДОЛГУ...

Пишет Никита Багров

Когда я вошел в капитанский салон, сразу обратил внимание на плотный объемистый пакет, лежащий на столе. Егор Адрианович только что запечатал его сургучом и теперь надписывал адрес: «Виктории Павловне Белоручевой. Новосибирск...»

— А, Кит, — обернулся он на мой стук, — знаешь, завидую я вашему брату холостяку, никаких тебе разлук, никакой кручины. А я вот, когда вдов был, когда и женат, все одно бобылем живу.

Сказано это было в тоне обычной для отца добродушной иронии, легкой насмешки и над самим собой, и над тем, как складываются обстоятельства. Но я уловил в его голосе нотку горечи. И не просто горечи, но и вины своей, что ли. Да, именно вины перед далекой женой. Уж конечно, не порадует Викторию Павловну это письмо, которое повезет на Большую землю улетающий от нас Лазуренко. Она-то ведь ждала, что Егор Адриано-

вич, награжденный в связи с юбилеем Полярстроя, сможет оставить зимующий караван и приехать к ней. Что, конечно, не откажет ему в этом Москва, если только последует от него такая просьба.

Но просьбы не последовало. Поблагодарив за орден и поздравления, Егор Адрианович сообщил в столицу подробные планы зимних и весенних воздушных разведок льда. И подчеркнул, что считает это необходимым для дальнейшего развития мореплавания в Арктике.

Планы полетов мы с отцом разрабатывали вместе еще до «чириковской полундры». И теперь мне хотелось как можно скорее подняться в воздух.

Но сейчас неожиданно для себя я посочувствовал бате, услышав, как после паузы он повторил совсем тихо, грустно:

— Да, бобылем...

Думаю, всякий поймет, почему ожил в моей памяти давний разговор отца с бабушкой. Вскоре после маминой смерти он уезжал из Архангельска в Мурманск на новую работу, уезжал один.

— Не убивайся ты, Егорушка. Господь ее, праведницу нашу, к себе призвал, — узловатой, натруженной рукой Таисья Федоровна гладила низко опущенную голову сына, спутанные волосы, еще без единой сединки, но уже начинавшие редеть. — За ребят не тревожься, Егор, вырастим. Да и тебе, ясну соколу, не век же бобылем ходить.

Меня, безутешно тосковавшего по маме, тогда покоробила бабушкина речь. Может быть, то было впервые услышанное слово «бобыль», такое холодное, скользкое, казалось мне, неприменимое к бате, жизнерадостному, веселому человеку. А может быть, я помальчишески испугался, что вернется отец из Мурманска с новой женой.

Однако все сложилось иначе. Отец женился не скоро, только тогда, когда мы, трое его детей, уже выросли и жили порознь. Отнюдь не мачехой, доброй приятельницей стала и Насте, и Дюшке, и мне Виктория Павловна. Она всегда ласково принимала нас, когда приезжали мы погостить к отцу. Мы привыкли видеть в Виктории Павловне не только хозяйку гостеприимного дома, но и работящую помощницу «большого тойона-большевика», единомышленницу во всех его начинаниях. Знали, как ценит батя эрудицию Виктории Павловны, владев-

шей не только стенографией, английским и немецким языками, но и глубоко вникавшей в сложные вопросы экономики, умевшей не просто составить докладную записку, подготовить проект важного постановления, но и убедить в правоте «нашенской поляростроевской» точки зрения иного несговорчивого тугодума в самых руководящих инстанциях.

— Дипломатша ты у меня, свет Павловна. Белоручиха при сиволапом мужике, — говорил порой отец с шутливой благодарностью. Но не прочь был и подтрунить над пристрастием жены к модам, нужным знакомствам, театральным премьерам, закулисным сплетням. Все это мы трое — Настя, Дюшка и я — знали отлично и в своем кругу порешили: «Витюха тетка, в общем, свойская, бате она в самый раз».

Теперь, на зимовке, когда Виктория Павловна была за тридевять земель, я впервые почувствовал, что отец тоскует по ней. И польстило мне, да, прямо скажу, польстило, что своей тоскою поделился батя со мною. Но чем утешить, ободрить? Верно ведь: всю жизнь бобылем. С Евдокией Ивановной, Настиной матерью, разлучила его флотская служба. С мамой Ликой, моей и Дюшкиной мамой, только и пожил он вместе, что три года на Кривой протоке, пока не началась германская война, да еще немного в Архангельске. И Виктория Павловна теперь далеко...

— Впрочем, разлука, говорят, любовь бережет, — отец произнес эту фразу без улыбки. И долго смотрел в иллюминатор, прислушиваясь к доносящемуся снаружи шуму моторов.

Это механики Лазуренко «гоняли движки», готовя машину к завтрашнему старту. На ней отправлялись десять чириковцев: все женщины, четверо мужчин, наиболее слабых здоровьем, и капитан Элиава, которого вызвала для доклада Главная морская инспекция. Остальные моряки «Чирикова» распределялись по трем судам зимующего Якутского каравана, где осенью команды были несколько сокращены. Делалось это в «предвидении предстоящей навигации». Так было сказано в лежавшем на столе приказе, принесенном отцу на подпись. Пробежав глазами текст, Егор Адрианович прочитал одно слово вслух, проскандировал:

— В пред-ви-де-нии...

И посмотрел на меня в упор:

— Предвидеть — значит руководить. Кто это сказал из маститых и мудрых? А?

Он встал с кресла, прошелся по каюте.

— Ты, Кит, усвой вот что: Арктика веками была тайной для людей. Тайной за семью печатями. Мы теперь печати эти начинаем срывать. Кое-что можем уже предвидеть. Вернемся назад: хорошо это, что чириковцев смогли снять со льда. Но стыдно, что потоплен новенький пароход и что целый караван на зимовку стал после того, как проложили морской путь в Якутию. Так вот, чтобы не было такого впредь, надо изучать ледовые моря, наблюдать за ними. И не от случая к случаю, летом, когда плавают корабли, а повседневно, круглый год. Что зимой тут, на подступах к восьмидесятым широтам, можно летать, теперь доказано. Тобой доказано, Кит. — Отец подошел ко мне. — Извозным промыслом ты, думаю, сыт по горло. А теперь обрати свой опыт на исследовательские полеты. В штурманы к тебе сам начальник экспедиции просится.

Отец рассмеялся:

— Мы с тобой, значит, согласны с таким штатным расписанием. Вот и хорошо. А то иных московских руководящих товарищей мне иногда бывает трудно убедить в очевидной пользе. Они ведь как считают. Ежели Егор Багров в кабинете бумагами обложен, тогда на посту он, служит государству. А если в Арктике зимует, значит, на отдыхе находится, жиры нагуливает. Ну да ладно, всех бюрократов не переспоришь.

И, помолчав, спросил строго:

— Кстати, пилот Багров, в летных твоих навыках я не сомневаюсь, но как насчет теоретического багажа? Как насчет океанографии? Губинский труд, помнится, еще осенью ты начинал читать.

— Читать? — обиделся я. — Штудировал и конспектировал книгу Михал Михалыча, товарищ штурман.

— Что ж, проверим.

— Пожалуйста, хоть сегодня.

— Нет, зачем сегодня. Вот проводим Лазуренко.

На проводах Лазуренко мне было невесело. Завидовал ему? Да, разумеется. Завидовал и в том, что пилоту на большой двухмоторной машине предстоит покрыть без малого четыре тысячи километров. Но особенно в том, что полетит он сейчас навстречу весне, которая где-то далеко-далеко уже шумит своими крыльями над

свежей пахотой полей и набухающими почками деревьев. Сказкой, фантазией казалось мне, что через несколько дней счастливчик Лазуренко увидит большие города, услышит оглушающий звон трамваев, ревущие гудки автомобилей, очутится в людском разливе на улицах и площадях.

Так же завидовали улетающим все, кто оставался на зимовке.

Обычно Егор Адрианович не щедр на комплименты. Но мои успехи в зимних полетах он явно переоценил. Понял я это сразу, едва мы поднялись разведывать льды в Северо-Восточном проливе. Район, казалось бы, знакомый, куда более близкий к нашей зимовке, чем недавние маршруты мои к чириковскому дрейфовавшему лагерю. А вот поди ж ты... Столько здесь встретилось неожиданностей.

Прежде всего неузнаваемо изменились льды. Там, где осенью мы видели поля и обломки полей, темневшие частыми пятнами разводий, теперь белел сплошной, вздыбленный торосами покров, сплошной припай, простирающийся от материка до Южного острова Ледяной Земли. Торосы где голубели, где отливали зеленью бутылочного стекла, в этих местах ветер сдул снежный покров с их острых граней. А где и высились точно белокаменные бастионы какой-то фантастической крепости. На некоторых участках полоса торошения продвигалась к самому берегу.

Следуя проложенной на карте ломаной курсовой черте, я вел машину галсами в общем направлении с востока на запад. Погода стояла ясная, тихая. Но стоило нам повернуть назад, как откуда ни возьмись обрушился на нас встречный ветер. Заметались стрелки на циферблатах приборной доски. Снижались обороты мотора. Самолет резко терял высоту: пятьсот метров... четыреста... триста... двести... Торосы, казавшиеся сверху совсем крошечными, стремительно вырастали в размерах. Посадка тут немыслима. Неужели шлепнемся?

Ощутив резкий толчок в бок — это отец тыкал меня кулаком, стараясь привлечь мое внимание, — я, повернувшись к нему, не разобрал ни слова из того, что кричал он в прорезь своей пыжиковой маски. Но увидел, как показывает он за борт. Посмотрел туда: крохотным тесным ущельем открылась взгляду спасительная полоска меж двух крутых ледяных холмов. Пусть неров-

ная, вся в надувах и застругах, но все же площадка! Выключив глохнувший мотор, начал планировать. Высотомер показывал сто метров, пятьдесят... двадцать... Дотяну или нет?

Дотянул. Подпрыгнув на застругах, «воробей» все же покатился, встал с небольшим креном на левую лыжу.

Повезло нам, спору нет. Взлететь отсюда не так уж мудрено при исправно работающем моторе. Однако что же все-таки с ним? Дьявол бы его забрал, этот движок с комариной мощностью и таким обилием всяких неполадок! Раскрываю капот, проверяю подачу горючего: Ясно: бензин в трубопроводе начал кристаллизоваться из-за низкой температуры, похолодание наступило внезапно, когда мы были в воздухе.

От самолета, оставленного в торосах, к зимующему каравану шагали весь день. Припасы, взятые в полет, оказались как нельзя более кстати. Когда мы уже после захода солнца подходили к кораблям, нас встречали моряки на лыжах, посланные на розыски.

Погода в последующие дни потеплела. Южные ветры взломали лед на самой середине пролива. Там, где недавно громоздились торосы, теперь образовался канал, забитый обломками полей.

Егор Адрианович посчитал обязательным проведение очередной разведки. Поднявшись в воздух, мы снова не поладили с воздушной стихией. Сначала все шло хорошо, ветер был для нас попутный. Но на обратном пути, когда он стал встречным, мы повисли над крошевом мелкобитого льда — все-таки слабоваты у «воробушка» силенки.

Отец толкнул меня плечом, поднял руку в мохнатой меховой варежке: «Набирай высоту!» Что ж, попробую. Набрал тысячу, ветер стал заметно тише. Оттуда можно было тянуть домой, к зимующему каравану.

Прилетели к обеду. В кают-компании, как всегда, острили по поводу коварства Арктики. Капитан Тихомиров сказал:

— Последние два ваши полета, Никита Егорыч, были, пожалуй, потрудней, чем все рейсы за чириковцами.

Я, кивнув, продолжал есть.

— Однако несправедлива слава к делам человеческим. — Обычно молчаливый, Тихомиров на сей раз разговорился. — Чириковскую операцию газеты нарекли «эпопеей», на первых страницах печатали ваши портре-

ты. А про эти ваши полеты, куда более опасные, так ничего и не узнают на Большой земле.

Я пожал плечами. В беседу вступил отец:

— Так всегда бывает, Александр Петрович. Вы сопоставьте события. С «Чириковым» случилось ЧП, всю страну взбудоражило. А тут на зимней ледовой разведке работенка самая будничная.

Егор Адрианович умолк, потом заговорил совсем о другом, повернувшись к синоптику Арзуманяну:

— Как, Борис Артемьич, дадите нам с Никитой погоду на ближайшие дни?

— Постараюсь, Егор Адрианович.

Синоптик не подвел. Продолжаем полеты. Новые курсовые линии зигзагами прочерчивают Северо-Восточный пролив, пересекают береговой припай и обширные пространства дрейфующего льда, захватывают извилины побережий. На бланковых картах отец цветными карандашами наносит в полете схемы ледовой обстановки.

Вслед за антициклоном пришел циклон. После пурги, бушевавшей неделю, мы с Кузьмой Дорофеевичем с помощью моряков откопали нашего «воробья» из-под сугробов. Мотор, надежно защищенный чехлами и дощатыми щитами, не пострадал, завелся легко. И мы опять в полете.

Как всегда, веду машину над припаем к плавучим льдам. И в который раз удивляюсь: много появилось новых торосов, почти не видно разводий, аккуратно затянуты молодым ледком вчерашние полыньи. А в другом месте новые темные пятна, зияющие полыньи.

По возвращении Егор Адрианович говорил за ужином:

— Ну, что происходит со льдами, ясно: там все в движении. А вот с береговой чертой почему такие чудеса?

Он развернул перед капитаном Тихомировым карту Южного острова Ледяной Земли. Первую карту, ту самую, которую вычерчивали в Санкт-Петербурге картографы под наблюдением Болховского по данным геодезических съемок, проведенных в санных и пеших маршрутах магистром Крюгером и боцманом Багровым

— Прошу смотреть внимательно, — говорил отец. — Тут видите, бухточка и устье речки должны быть. В полете же ничего похожего мы сегодня не наблюдали.

Куда они подевались? — Отец так глянул на Тихомирова, будто подозревал его, не упрятал ли капитан бухточку с устьем реки в свой книжный шкаф.

— Да снегом их замело, Егор Адрианович, — спокойно отвечал Александр Петрович. — Вы-то с Крюгером, наверное, в летнее время или осенью вели съемку, а сейчас как-никак зима.

— В самом деле, — потер лоб отец, — как же это я раньше не сообразил. Голова устала, соображать стал туго.

— Брось ты, пап, не наговаривай на себя, — вмешался я.

— Нет, чего уж тут наговаривать, — произнес в раздумье Егор Адрианович, — но странная все-таки вещь — человеческая память. Иной раз зацепишься за какой-нибудь пустяк, и такой клубок начинает разматываться.

К чему это было сказано, я так и не понял: не успел продолжить разговор. После ужина отец сразу ушел к себе, в капитанский салон.

Перед следующим полетом он ткнул пальцем в карту, показал небольшой мысок в самой юго-западной оконечности Южного острова, обозначенный почему-то надписью: «Лиственница». И сказал с необычной для него теплотой в голосе:

— Поглядим, может, уцелела она, голубушка.

Мотор, разогретый Кузьмой Дорофеевичем, ревел оглушительно. Ни слова больше я расслышать не смог. Подлетели мы к этому самому, обозначенному на карте месту. Гляжу и не верю своим глазам. В самом деле, будто какое-то дерево растет.

Чудесное дерево на бесплодной земле, где и кустарника-то не сыщешь. И растет как-то чудно, меж двух скал. Оголенные ветви, точно взметнувшиеся вверх руки, скорее напоминают корни. Меня так заинтриговало необычное зрелище, что я снизился, прошел бреющим. Ага, так оно и есть: именно корни, а не ветви торчат вверх. Интересно, что скажет об этом отец? Сейчас он занят, что-то вычерчивает в своей тетради, рисует широкую полынью, разрезающую тут припай, подходящую к самому берегу. Потом толкает плечом меня, словно спрашивает: «Соображаешь?»

Пытаюсь соображать. Но мысли идут совсем в ином направлении. Думаю, как пробиться сквозь туман, поднимающийся от полыньи. Очень быстро нарастает ледя-

ная корка на крыльях. Амфибия тяжелеет. Понимаю, что дальше лететь нельзя, пробую сесть. Вот хоть на ту сероватую полоску, что вдруг мелькнула в просвете тумана.

Сели. Думали, это припай. Оказалось, заснеженная коса, видимо постоянно продуваемая ветрами, кое-где след наших самолетных лыж обозначился темными пятнышками гальки.

Туман плотный, липкий, долго держал нас на вынужденной посадке. Сначала, чтобы согреться, ходили взад-вперед, даже бегали. Но не помогало, озноб пробирал до костей. Тогда поставили палатку, благо на этот раз, наученные горьким опытом, захватили ее с собой. Разожгли примус, сварили пельмени, плотно смерзшиеся, заледеневшие в мешке. Заварили чай, начали пить с наслаждением.

— Видишь, Кит, и на Ледяной Земле жить можно, — отец достал из-под кухлянки тетрадь, раскрыл ее на той странице, где сделал зарисовку полыньи. — Нелишне тебе знать, что в десятом году, когда оставил нас Болховской тут зимовать, в сентябре, числа двадцать первого или двадцать второго, вышли мы с Крюгером от нашей избушки в первый маршрут. Аккурат до этих двух скал дотопали. Что называется, пёхом. Снегу для собачек маловато еще было. Припай, глядим, прошлогодний. В одном месте только на траверзе двух скал припая не было, к самому берегу подходила полынья, к галечной косе. И плавнику на косе накопилось изрядно, не один, видно, год прибивало сюда плавник вместе со льдом. Ну плавник, сам знаешь, — тут и сосна, и ель, и лиственица, стволы громадные. И все окоренные, чистенькие, волнами омытые, ветрами на берегу просушенные, гладенькие, ровные, будто мамонтова кость или моржовые клыки. Что ни бревнышко, загляденье, хоть сейчас сруб клади. Но одна лиственница была какая-то особо уродливая, на другие деревья непохожая. От сучьев и следов не осталось, а корни целы. Смотрели мы с Крюгером и толковали: как сумела она, плывя вместе со льдами по морю, корни свои сохранить. Ну поговорили и за работу. Сделал Евгений Фридрихович обсервацию, точно это место определил, и ко мне: «А знаете, боцман, пригодится нам сие древо познания добра и зла...» Любил покойный так затейливо выражаться. «Давайте, — говорит, — боцман, закопаем лиственни-

цу меж скал корнями вверх. И будет она приметным знаком». Обтесали мы топорами лиственницу, затолкали в расщелину промеж скал, камнями привалили, галькой засыпали. Как видишь, держится уже более четверти века. Постарше тебя, Кит, будет сей береговой обстановочный знак. Ты ему, парень, поклонись и место это запомни: тогда была под берегом полынья и нынче сохранилась. Не иначе течение какое-то здесь. Надо рассказать гидрологам, пусть проверят.

Отец помолчал, потом запрокинул голову, долго смотрел на корни лиственницы:

— Нет, ты подумай, какие только ураганы она выстояла здесь. Какие сугробины вокруг нее нарастали и растаивали.

И после паузы снова предался воспоминаниям:

— Пошутил тогда еще Евгений Фридрихыч: «Мы с вами, боцман — всегда, между прочим, на «вы» обращались, штатский человек, интеллигент, не то что господа-офицеры, те по уставу «тыкали» нашего брата, — мы, — говорит, — с вами хоть и плавающие путешественники, а вот древонасаждением занялись на Ледяной Земле, первую лиственницу посадили». Ну и я смеюсь, говорю: «Да, уж сколько дерев порубал, попилил, пока с папаней да с дядьями на лесосеках и сплаве горбатил, не счесть, а сажать вот не приходилось».

Егор Адрианович сдвинул шапку на затылок:

— А знаешь, Кит, другой раз хочется мне представить, будто леса вырастут на Ледяной Земле. Иные будут времена, иной придет климат.

— Ну, пап, тут уж ты перехватил, — возразил я. — Такое потепление Арктики ни один ученый тебе не предскажет. А вот город Егоркино восхитил бы и Крюгера, и Болховского, и самого адмирала Макарова. Им такой город и в мечтах не являлся.

— Во как! Знай наших! — засмеялся отец. — А ты, авиатор, я гляжу, и агитатор стал неплохой. Меня только не агитируй. И запомни, пожалуйста, первый в Сибири заполярный порт поставили расейские мужики. Без тех мужиков нашему Полярстрою и шагу бы не ступить по тундре, ни единой сваи в мерзлоту не забить. Перед теми мужиками, если хочешь знать, родитель твой в двойном долгу: во-первых, как директор Полярстроя и, во-вторых, как мужик Егор Багров, первожитель зимовья на Кривой протоке.

— Не пойму, пап, к чему ты весь этот разговор завел?

— А к тому, чтобы правильно понимал ты, что к чему. Чтобы не переоценивал отдельных выдающихся личностей, уважаемый пилот-орденоносец.

Я недоумевающе смотрел на отца. Тот продолжал:

— Звездочку свою, как получишь в Кремле, носи на здоровье. Заслужил! А мне, если хочешь знать, зря пожаловали Трудовое Знамя. Как так? Да очень просто. Шумиха поднялась вокруг чириковской «полундры». Ну и вспомнили заодно, что у Полярстроя юбилей. Вот и повезло директору Багрову, у большого начальства оказался он вовремя на виду.

Егор Адрианович замолчал. Потом, видно, вспомнив что-то, продолжал:

— Так и боцману Багрову, унтер-офицеру на миноносце, однажды повезло. Повесили ему на грудь в госпитале солдатского «георгия». А другим матросикам, что в том бою на балтийское дно легли, и деревянных крестов не досталось.

Я насторожился: о военном своем прошлом отец вспоминал редко. И попросил:

— Рассказал бы, пап, про германскую войну, я про нее и читал-то мало.

Отец выглянул из палатки, поморщился:

— Туманище, хоть в колокола звони. Долго еще продержится. Да, про германскую войну, особенно про Балтийский флот, мало знают нынче молодые. А балтийцы, между прочим, крепко дрались и в самом начале, и под конец войны, осенью семнадцатого. Про Моонзундское сражение слышал что-нибудь? Так знай, именно тогда, в канун Октября, балтийцы не пустили вильгельмовский флот к Питеру. Я на Кассарском плесе осколок в живот получил. А потом за это за самое и крест, уже когда на койке лежал весь перебинтованный. Вручил мне награду «благодарной свободной России» — так при Керенском принято было говорить — каперанг Болховской, начальник нашего дивизиона.

— Болховской! Старый твой знакомый? — удивленно переспросил я.

— Он самый: Юрий Андреич...

— Ну и как встретились? Друзьями?

— Погоди, Кит, не перебивай. Насчет дружбы на-

шей с Болховским ты читал в его дневниках. Да, в Арктике дружили мы крепко. А на Балтике поссорились.

Отец помолчал, как-то странно, испытывающе глядя на меня, затем сказал:

— Остров, по учебнику географии, что такое? Часть суши, окруженная водой. Так? Но я тебе, парень, скажу, остров острову рознь. Возьмем, к примеру, Котлин, на котором Кронштадт. Морским стражем Санкт-Петербурга поставил его Петр Алексеич, большого ума человек. Не будь Кронштадтской крепости и гавани, не отстоять бы Петровой России от шведов молодую свою столицу, не реять бы андреевскому флагу над Балтикой. Так что, можно сказать, крепко припечатан неприметный тот островишко к летописи нашего отечества.

Услышал я про то первый раз еще салажонком в экипаже, на уроке словесности, только-только на действительную пришел. И запомнил крепко, на всю жизнь. А в революцию Кронштадт, сам знаешь... Когда в кругосветку ходил Егор Багров матросом первой статьи, повидал он в Южной Атлантике остров Святой Елены. Как сейчас помню: рассвет, светило, будто из красной меди откованное, будто из пучины вынырнуло. Штиль, полное безветрие. Красота! И скала над океаном точно перст указующий, устремленный к небесам. Так нас, нижних чинов, корабельный батюшка просвещал. «Здесь, — говорит, — завершил свой век Наполеон Бонапартий, антихрист, враг рода человеческого». Я тогда совсем серый был, в антихриста мог поверить запросто. Про Наполеона же много позднее читал в разных книгах. И думал: вот судьба. Остров в океане хоть и не перст господень, но все же памятный знак. Точка, так сказать. Не только на карте, не только в человеческой жизни. Но и в целой эпохе, пожалуй.

Однако все это присказка, самая то сказка впереди. Гадать не гадал крестьянский сын Егор Багров, что случится ему зимовать полярную зиму на островах необитаемых, до той поры мало кому известных, тут вот на Ледяной Земле зимовать с девятьсот десятого года на одиннадцатый. И что потом, уже в семнадцатом, перед самым Октябрем, прикажет ему совесть насмерть стоять за Россию в Моонзундском архипелаге на Балтике. Да, парень, только совесть, не присяга, не воинский долг. Потому что с присягой царю-императору балтийцы распрощались еще в феврале, как отрекся Николаш-

ка, божий помазанник. На воинский долг и вовсе матросы хотели плевать с той поры, как Корнилов, боевой генерал, снимал полки с фронта и двигал на Питер, чтобы нового царя посадить народу на шею. К осени наши военачальники Ригу немцам сдали. А там вскоре господин Родзянко — он при царизме главным в Государственной думе был — задумал прямую измену. И не постыдился подлец, в такое откровение пришел, что в газете «Речь» написал: очень, мол, будет хорошо, если германские войска возьмут Петроград и наведут там наконец настоящий порядок. Вот оно как было.

Да... Уж чего-чего, а порядка после февраля в России не было и в помине. Старый, всем осточертевший сгнил, рассыпался, а новый не успел еще народиться.

Немало было мародеров среди матросов и солдат, вспоминать противно, страшно. Да и многие господа офицеры не лучше себя вели. Которые на кораблях, те с бутылкой не расставались. На вахту выходили небритые, без воротничков, в мятых кителях, смотреть тошно. В кают-компаниях всякие велись разговоры. Кто большевиков костит: изменники, мол, Россию продают немцам. А кому и вовсе Россия больше не нужна; все мысли о том, как бы деньжат раздобыть да купить шведский паспорт.

Про такие наши расейские обстоятельства не могло не знать германское флотское командование. Хватало у него осведомителей на берегу среди прибалтийских немцев, бывших подданных бывшей Российской империи. Да и на кораблях служили еще фон-бароны с дипломами Петербургского морского корпуса. Одним словом, для Вильгельмовых адмиралов время для наступления было самое подходящее.

Первым делом решили они захватить Моонзундский архипелаг, важнейший узел морских путей в Восточной Балтике. К операции подготовились капитально: десяток дредноутов — так звались тогда линейные корабли, — девять крейсеров, эсминцев около полусотни, два дивизиона искателей мин, четыре дивизиона тральщиков, шесть подлодок. Да десятка два транспортов с десантными частями. Силища — ничего не скажешь! А у нас в морских силах Рижского залива линкоров всего два, крейсера три, миноносцев шестнадцать. Ну и еще какая-то мелочь.

Егор Адрианович сдвинул шапку со лба, глянул на

меня вопросительно, мол, ничего не забыл. Я развел руками, чего уж тут, и так удивляюсь твоей, батя, памяти!

Скинув меховую рукавицу, отец поднял указательный палец:

— Знали, конечно, про нашу бедность и верховный, Керенский этот, и Главный морской штаб. Однако ничем не помогли они морским силам Рижского залива. Так и не двинули на помощь нам главные силы Балтфлота. Не хотели. Бельмом на глазу у Временного правительства были балтийские матросы.

Я, как тебе известно, в партию вступил в августе. Почему не раньше? Потому, скажу по чести, что сначала надо было еще разобраться боцману Егору Багрову, что в революции главное. Что тут к чему? Для того и на митингах толкался на Якорной площади в Кронштадте — всяких там ораторов наслушался. А случалось в Питер приехать, сразу топал к особняку этой царской балерины. С балкона там Ленин выступал. Видел я Владимира Ильича один раз. Близко видел. В июле, третьего числа, участвовал в демонстрации, под пулемет угодил на углу Садовой и Невского. Ранение, правда, пустяковое. Но зарубка в памяти осталась крепкая.

Однако, Кит, возвратимся на Балтику, в Моонзунд. В конце сентября выбрала наша минная дивизия делегатов на II съезд моряков Балтфлота. Заседал съезд в Гельсингфорсе, и не где-нибудь, на борту «Полярной звезды», бывшей царской яхты. Центробалт принял решение — разослать директиву всем комитетам на кораблях: костьми ляжем, братва, а не пропустим флот германского императора к русской революционной столице. Так примерно высказались. Ну, воротились наши делегаты в дивизию, стали собирать по кораблям надежных ребят: и большевики тут были, и эсеры, и анархисты. Раньше, бывало, как сойдемся после вахт, лаемся до хрипоты: чья программа лучше, какая партия ближе к народу. А тут не до споров стало, родина у всех одна — Россия! О другом толковали теперь: как надежней изготовить к бою корабли, кому из офицеров можно доверять, а за кем надо доглядывать. Совсем уж никудышных, способных на саботаж, этаких паршивых овец у нас в дивизионе было немного. Мичмана́ военного времени, которые не императорский корпус, а гардемарин-

ские классы заканчивали, так те и вовсе иной раз по-честному дружили с матросней. Да и кадровые, старорежимной закваски, не все были драконами, шкуродерами. К примеру, очень уважали матросы начальника дивизиона каперанга Болховского Юрия Андреевича. И за храбрость — он еще кавторангом, командиром эсминца отличался в боях не раз, и за обхождение с нашим братом нижним чином.

Да, Болховской. — Отец вдруг замолчал, глядя на меня в упор. Потом, отвернувшись, долго рылся в карманах, доставая трубку и кисет. Когда он закурил, и палатка после нескольких глубоких затяжек наполнилась синим дымом, я отодвинулся в сторону, приподнял полог.

Отец сказал:

— Хоть и просоленный моряк он был, а не курил, точь-в-точь как ты, Никита.

— Кто? Болховской? — не понял я.

— Ну да... Конечно, он.

— Ладно тебе, пап, — в нетерпении перебил я, — важно ли в конце концов для истории, кто там был курящим, кто пьющим?

— Да, пожалуй, не так уж важно. Хотя... Это еще как сказать. Смотря для какой истории. — Отец снова глянул на меня в упор. — И еще знаешь, Кит, спал он, Юрий Андреевич, точь-в-точь как ты спишь. По большей части навзничь, на спине, редко-редко на бок поворачивался во сне. Тоже вот привычка...

Мне не терпелось услышать продолжение рассказа про Моонзунд, и последняя фраза отца показалась уж вовсе не к месту. Но все же я спросил:

— Не пойму, пап, что же ты, боцман, унтер-офицер, в одной каюте, что ли, жил с начальником дивизиона? Часто мог наблюдать на койке его благородие?

— Высокородие, — строго поправил отец, — не знаешь, как титуловать господ штаб-офицеров. Это по уставу замечание тебе, а по существу могу дать справку: на германской войне, служа в минной дивизии, квартировали мы с Юрием Андреевичем, конечно, порознь — он, как положено, в командирской каюте, я в кубрике. А вот раньше, до войны еще, когда по дрейфующему льду вместе шли да вельбот, впрягшись в лямки, на полозьях волокли, случалось тогда боцману Багрову не раз отдыхать рядом со старшим лейтенантом Болховским.

Отец выколотил погасшую трубку, глубоко вздохнул, потер грудь, сказал:

— Надо бы и мне расстаться с табаком. Вот вернусь домой, поеду отдыхать, обязательно брошу курить.

И попросил меня:

— А ну, Кит, выгляни наружу. Как там, туман не расходится?

Я выглянул — ни зги не видать.

— Придется, пожалуй, вздремнуть, — сказал Егор Адрианович, — примус погасим в видах экономии горючего, а спальные мешки развернем на предмет необходимого экипажу отдыха.

Батя говорил уставно-бюрократическим языком, по обыкновению своему подшучивая и над собой, и над сложившимися обстоятельствами. Но мне было не до шуток.

— Ну, пап, дальше-то что у вас было на Балтике? Крепко вы немцев поколотили при Моонзунде?

— Поколотили... — повторил Егор Адрианович, позевывая. — Экие вы, молодые, нынче шустрые.

Но постепенно отцу, видимо, расхотелось спать, и он продолжил рассказ:

— Немцам досталось, спору нет. Но и нам несладко пришлось. Один из двух линкоров затопили, чтобы загородить фарватер. Береговую батарею взорвали. Но все же главный итог Моонзундского сражения — добрую неделю оно продолжалось — не в стратегии, не в тактике, а в политике. Так вот, если хочешь знать, на Эзеле, Даго, Мооне германским войскам удалось высадиться. Армейские наши части эвакуировались оттуда, не скажу, чтобы в идеальном порядке. И нас, флотских, потрепали в море Вильгельмовы корабли. Однако сами они дальше на восток прорваться не смогли. Сил не хватило. Стало быть, прямая угроза Питеру не то чтобы вовсе была снята, но все же несколько отодвинулась. В этом и состоял успех балтийцев в Моонзундском бою. Достигли его потому, что дрались сознательно. Матросы под влиянием большевиков, следуя призыву Центробалта. Офицеры по-разному, кто поневоле, за страх, поскольку судовые комитеты их под надзором держали, а кто и за совесть, как истинно русские патриоты.

В бою как в бою, скажу тебе. И такое случалось, что машинист своим телом пробоину в трубопроводе закрывал, заживо свариваясь в кипятке, в пару. И такое,

когда осколок тебе в живот впился, кровью ты исходишь, в глазах у тебя темно, а все же держишься за штурвал, не бросаешь вахты.

Голос отца, ровный, чуть даже монотонный, дрогнул. Но тотчас он овладел собой, сказал поясняя:

— У штурвала я, боцман, оказался не от хорошей жизни, как говорят. Старшину рулевых заменил, его прямым попаданием в клочья разнесло.

Егор Адрианович вытянулся в спальном мешке, замолк, закрыл глаза, будто готовясь вздремнуть. Я больше не торопил его с рассказом. Вспомнилось мне, как давным-давно в Мурманске взял меня батя однажды в баню и как поразил меня тогда огромный фиолетовый рубец на впалом мускулистом его животе.

Помолчав несколько минут, отец снова достал трубку и, раскурив ее, продолжил:

— Другие после такой отметины отдавали концы. А меня выходили доктора да милосердные сестрички. Долго провалялся в госпитале под Ревелем. Ох и долго! Целый век, можно сказать. Не шучу насчет века-то. Ты посчитай: положили на койку в октябре, подняться разрешили только после Нового года. Смекаешь, парень, какой год наступил?

— Ну да, восемнадцатый.

— То-то и оно. А в семнадцатом наш корабль, при Моонзунде изрядно потрепанный, пошел на ремонт в Гельсингфорс. Оттуда некоторые из ребят в Питер поспели как раз вовремя. Кто Смольный охранял, кто телефонную станцию брал, кому посчастливилось и Зимний от юнкеров очищать. А мне вот не повезло. За Советскую власть воевать привелось уже позднее, на Севере. Там уже, как ты знаешь, против Антанты и белых.

— Погоди, погоди, пап, — в нетерпении переспросил я. — Так, выходит, на Севере повстречался ты с Болховским уже в гражданскую войну?

Услышав мой вопрос, отец даже рассердился:

— Невоспитанный ты парень, Кит, сразу видать, мало был на военной службе. Невежливо старших перебивать. Слушай и запоминай: действительно, на Северном фронте состоялась последняя моя встреча с Юрием Андреевичем. А предпоследняя была в госпитале под Ревелем. Прибыл в госпиталь начальник дивизиона Болховской, чтобы вручить мне второго «георгия» — первого-то я еще раньше, в пятнадцатом, заслужил. Ну

так вот, вместе с медицинским начальством входит в палату капитан первого ранга при всех регалиях и золотом оружии. И сразу к моей койке: «Здорово, унтер-офицер Багров, гражданин свободной России».

Я, конечно, по уставу: «Здравия желаю» — и так далее. Вполголоса говорю, громче мочи нет. Все же под одеялом вытянулся. Вроде как во фрунт, хоть и лежа. Субординация строевая, что поделаешь. Засмеялся мой командир: «Вольно, — говорит, — Егор Адрианыч, не тревожь себя». И сам перед моей койкой стал смирно, зачитал по бумажке приказ начальника минной дивизии громко так, торжественно. Положил на мою тумбочку крестик с полосатой ленточкой. Потом над койкой нагнулся, в обе щеки меня поцеловал. Стул ему подали. Сел. Глядит мне в глаза. А я веки опустил, распухли они у меня. Жар еще не спал, хоть недели две прошло уже, как починили меня доктора.

«Виноват, — говорю, — господин каперанг, не способен по хворости есть глазами начальство».

Опять засмеялся Болховской:

«А ты, боцман, все такой же шутник. Я, между прочим, на тебя, Егор Адрианыч, в обиде. Как это ты столько времени в моем дивизионе служишь и ни разу не явился к бывшему своему капитану? Или забыл «Восход», острова, как по льду шагали?»

Я молчу. Спрашивает Болховской: «Может, что на сердце против меня осталось? Ума не приложу. Как помню, на Кривой протоке в зимовье Лозовацкого расстались мы друзьями». Я опять молчу, трудно мне языком ворочать. Понял это Болховской: «Извини, — говорит, — утомляю. Навестить пришел не только как твой командир. Сограждане мы или нет, как ты думаешь, Егор Адрианыч?»

Ну, раз такой разговор пошел, я уши навострил, хоть и слабость во всем теле отчаянная и спать мне хотелось до смерти. «Чем, — говорю, — могу служить, Юрий Андреич?» А он стул пододвинул еще ближе, заговорил почти шепотом: «России мы оба служим, оба георгиевские кавалеры. Вместе со всеми честными русскими людьми обязаны родину спасать от язвы большевизма. Дисциплина нужна флоту. При Моонзунде куда бы крепче немцев побили, не сдали бы острова, будь у всех флотских воля к победе, как у нас с тобой. Согласен ты? Скажи, Егор Адрианыч».

Выслушал я эту речь, и сонливость мою как ветром сдуло. Такая поднялась злость. «Никак нет, — говорю, — господин капитан первого ранга, не согласен. Кабы, — говорю, — не большевики на кораблях морских сил Рижского залива, быть Вильгельмову флоту в Финском заливе. Адмиралы, — говорю, — ваши того и ждали, чтобы Питер немцам сдать, как генералы Ригу сдали». Выпалил так и сразу ослабел. Не вижу перед собой ничего. Очнулся от скрипа стула — его санитар от моей койки отодвигал. Гляжу: Болховского и след простыл. Только крестик с полосатой ленточкой остался на тумбочке.

Вот, парень, и все.

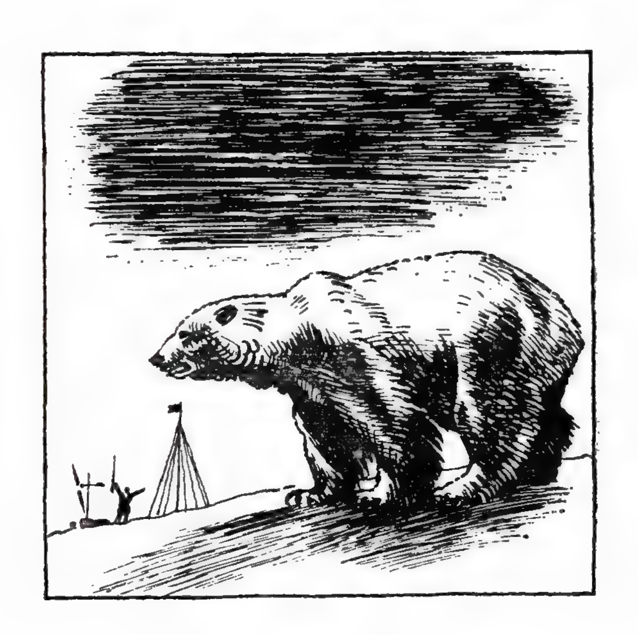
Отец замолчал, в который раз полез в карман за кисетом, набил трубку. Снова свирепо задымил.

Брезент палатки над нашими головами затрепетал под свежим ветром. Я приподнял полог, выглянул наружу. В просветы между еще низкими, но уже неплотными облаками проглядывали солнечные лучи. Можно было лететь.

Но мысли мои были о другом.

— Ты, пап, сказал, что в госпитале в семнадцатом году предпоследний раз встречались вы с Болховским, а последняя встреча была на Северном фронте в гражданку.

— Ну, парень, тот рассказ долгим, очень долгим будет. — Отец сворачивал свой спальный мешок. — Когда-нибудь на досуге потолкуем. А сейчас заводи мотор, пилот.



ГЛАВА 12

ЛИРИКА И БЫТ

Пишет Настя Багрова

Каюсь, винюсь: склонна я к литературным заимствованиям. Сколько раз, смотря по обстоятельствам, вспоминались мне то Блок, то Лермонтов, то даже Ломоносов. Да, Михайлу Васильевича обожаю временами, особенно в разгар полярной ночи при безоблачном небе:

Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

Многие, давно прочитанные строки всегда со мной. Но никогда не думала я, что память моя обратится к Библии, которую и в руки-то никогда не брала. Только видела, наблюдала с почтением толстенную книжищу, привезенную бабушкой невесть как давно из Соловецкого монастыря, бережно хранимую ею на особой полочке под божницей. Бабушка иногда поздними вечерами читала Библию, читала вслух, поморской своей

скороговоркой произнося древние словеса, мудреные, мне решительно непонятные. К тому времени все наши уже спали. И мама Лика, нахлопотавшаяся за день, и мальчишки, уставшие от игр с соседской ребятней, вихрастые, чумазые мои брательники Кит и Дюш, сопевшие во сне, никогда не наедавшиеся досыта.

Бабушка отсылала спать и меня, грозилась отодрать за косы. Но я, забравшись в постель, высовывалась из-под одеяла, слушала одним ухом, глазела одним глазом на бабушку, сидевшую за столом, на тень ее головы, повязанной платком, казавшуюся на стене рогатой. Тень мягко колыхалась на светлом пятне стены, вырванном из общего мрака чадившей керосиновой лампой.

В эти вечерние часы девчоночья моя фантазия переносила бабушку из тесных наших комнатенок на втором этаже бревенчатого, крытого дранкой дома в сказочные дворцы, с Белого родного мне моря на какое-то Чермное, которое нынче зовется Красным, страсть до чего таинственное, ставила прачку Таисью Федоровну вровень с фараонами, пророками, патриархами.

Милая моя бабушка Федя! Нечасто балует она «бедовую девку Настасью» весточками о своем житье-бытье. Больно уж высок, по бабушкиным понятиям, телеграфный тариф: тридцать копеек за слово, мыслимое ли дело? Но регулярно поздравляет с праздниками. Октябрьскую годовщину отметила радиограммой: «Храни тебя господь, Настёнка, от всяких напастей».

А рождественское бабушкино послание, извинившись за долгую задержку, отстукал мне радист бухты Сидоровской с опозданием почти на два месяца. Сначала я терялась в догадках: почему? Что там случилось? Потом сообразила: ну да, конечно, сначала не было связи недели две из-за магнитных возмущений в атмосфере, потом была прекращена передача всей частной корреспонденции по Арктике из-за перегрузки полярных раций оперативной перепиской — погиб раздавленный льдами «Чириков», шли спасательные работы.

Сообразила и, сделав запись в журнале, вспомнила бабушкины библейские притчи. Да уж напасть вроде Ноева потопа захлестнула нынче студеное море-океан. Основательно побушевал словесный ураган в эфире Арктики нынешней зимой. А в центре того урагана, точно утлая лодчонка в бурных волнах, вертелась, кружилась,

едва не захлебнулась начинающая радистка Настасья Багрова на острове Болховского.

Спасибо Ивану Архиповичу, помогал мне. Удивительный он универсал, начальник нашей полярной станции, буквально все может делать, любую работу.

А Валентина Филипповна несла вместо меня метеовахты, тоже помогала как могла. Только Раиса Панфиловна... Но о ней потом.

А пока восстановлю по порядку события этих сумасшедших двух месяцев. Ведь только сейчас, в марте, я смогла раскрыть тетрадь своих личных записей. Раньше было не до того.

Когда вернусь домой, на материк, обязательно встречусь со специалистами радиосвязи, выясню: в чем тут закавыка, почему к зимующему Якутскому каравану наш остров оказался «ближе по эфиру», чем к чириковцам. По карте-то все наоборот, чириковцы дрейфовали значительно южнее нашего острова. К их лагерю через Южный остров Ледяной Земли Никита летал три раза в сутки. А вот к нам можно только через Северный остров, и то если хватит горючего.

Дура я, дура... чего захотела. Будто так это просто — водить над зимним морем маленький одномоторный самолет даже без рации на борту. Когда отец сообщил в Москву о первом полете, о том, как искали они с Никитой лагерь, нашли, а потом тут же потеряли его в облаках внезапно налетевшей пурги, я весь день ходила сама не своя. Стыдиться мне тут, в сущности, нечего, поскольку сводку погоды на льдине давал «чириковский ветродуй» Юрий Петрович Сухарев. Ошибся он, с кем не бывает.

Может быть, зря батя отругал тогда Сухарева по радио. Но правильно поступил, приказав на будущее: ежедневно совещаться с «якутянином» Арзуманяном и со мною.

Впрочем, немногого стоят наблюдения, предположения троих человек о стихийных процессах, происходящих севернее восьмидесятой параллели. Там сплошное белое пятно. Там, в высоких широтах, которые наш Адриан и прочие полярные газетные летописцы именуют «необозримыми просторами Центральной Арктики», расположена, по их авторитетному мнению, «кухня погоды». Ох уж эта бойкая терминология газетчиков! Однажды, читая скороспелый арктический опус в «Вечер-

ней Красной», Михаил Михайлович Губин иронизировал: «Что это значит, позвольте спросить, «необозримые»? Не знают литераторы русского языка. «Необозреваемые» надо бы сказать. Да, высокие широты пока еще необозреваемы, не охвачены наблюдениями». Сердитым он бывает порой, мой добрейший профессор.

Нам, метеорологам Арктики, он помогал всем, чем мог. Ежедневные синоптические обзоры Института Севера, связанного с гидрометеослужбой не только в нашей стране, но и за рубежом, стали основополагающими документами для полярных станций, привлеченных к оперативному обслуживанию спасательных работ. Именно Губин предсказал устойчивый антициклон, пришедший в конце февраля к нам с запада.

Но я, его ученица, с ума сходила от волнения всякий раз, когда на мои позывные откликалась судовая рация «Котовского» и Серега Петров быстро отстукивал: «Привет, подружка, с хорошей погодой! У нас порядок, Никита в воздухе, перехожу на прием». Я бралась за ключ, чтобы передать очередную депешу с материка в адрес отца. Из-под моей руки точки и тире уходили в эфир как-то машинально, автоматически. Перед глазами мельтешили льды и разводья, разводья и льды. И над ними смешная пузатенькая птичка, голубая, с красными крылышками амфибия Никиты.

Помнится, в августе, когда «Разин» выручал «Чирикова» из первой ледовой передряги, Кит показывал мне свою машину. Подошел капитан Элиава, взял меня под руку со всей своей кавказской галантностью, приятельски обнял Никиту, сказал: «Никита Егорыч. У вас нынче обнова и у меня. Мне пока не очень везет, как видите. Подкачали заграничные судостроители. У вас, хочу верить, материальная часть окажется надежной. Аэропланчик ваш отечественный, новой конструкции, слышал я, специально для Арктики».

Никита отвечал односложно. И на меня косился: недоволен был ухажерскими ухватками Джигита.

Вот уж не думала я тогда, что следующая встреча у моряка с летчиком будет на льду. Тогда Никита опасался, что смогу влюбиться в щеголеватого Шалико. Влюбилась же когда-то в Игоря. Влюбилась ведь в свое время и в Бруно.

В супружеской жизни с Бруно становилось мне порой не по себе, хотя, конечно, Бруно не Игорь. Он со-

всем другой — цельный, прямой, мужественный. Ушел он из жизни, борясь до последнего мгновения, не склонив головы. Умер достойно, как и жил.

Но Бруно хоть и говорил, что удел авиатора — постоянный риск, сам, наедине с собой, помышлял о другом. Искал спокойной гавани. Думал, что нашел ее со мной. И ошибся. Ошибки своей понять, к счастью, не успел, в чем был убежден, с тем не расстался до смерти.

Иной раз думаю: кто знает, может быть, со временем такая убежденность передалась бы и мне? Не случись катастрофы в Большерецком заливе, мы возвратились бы осенью в Ленинград. Уговорил бы меня Бруно стать матерью. Сам, расставшись с Полярстроем, перешел бы в сельхозавиацию. А за мной уже было бы закреплено штатное место в лаборатории Губина.

И ушла бы ты, Настасья, в декретный отпуск, катала бы колясочку по неровным, мощеным плитам тротуара тихой зеленой улицы Петра Лаврова. А там, глядишь, в материнских заботах нашла бы свое истинное призвание.

«Стерпится — слюбится», — говорит бабушка. Да и Виктория Павловна, думаю, придерживается такого житейского правила. А я не согласна! Нет! Очень разные люди мы с Бруно Густавовичем: далеко не ровесники по возрасту, по-разному понимали мы жизнь. Ничего, кроме почтения и благодарности, не чувствую к нему и сегодня. Ни о чем не жалела в те скоротечные минуты, проведенные нами в Егоркинском загсе. И всегда будет теплым, солнечным для меня пасмурный, ветреный рассвет в гидропорту на Кривой протоке, когда Бруно уходил в дальнюю разведку льдов, впервые улетал в море, став моим мужем.

Год спустя Бруно погиб, а Никиту, всего перебинтованного, часто терявшего сознание, рейдовый буксировщик увозил из бухты Сидоровской в Егоркино...

Никита выжил, возвратился на прежнюю свою должность пилота Большерецкой авиалинии. А я на «Разине» вернулась в Ленинград. Вошла в опустевшую, сразу мне опостылевшую квартиру.

Всю последующую зиму меня тянуло в Сибирь. Так хотелось бросить институт, вернуться в Егоркино. Но прежнее мое место на метеостанции было уже занято. Да если б и нашлась какая-нибудь другая работа:

в порту, на лесозаводе — что дала бы она мне? Только возможность изредка видеть Никиту, встречаться с ним. Говорить о пустяках и молчать о главном. Ведь никогда не посмела бы я произнести слова, которые доверяла только листу бумаги.

И еще тогда в Ленинграде меня пугала здравая, в сущности, мысль: если Никита мне необходим, то я совсем не нужна ему. Вся нежность, все внимание его ко мне не более как естественные братские чувства.

Ведь я знаю: никогда мы не будем вместе. Оставляя у бабушки в Архангельске свои письма, я мучилась: что скажет Никита, что подумает, когда прочитает их? Мы расстаемся надолго. Разделять нас будет не только родство, но и пустыни льда. Потом решила: будь что будет! На острове никто не нарушит мое уединение. Вернусь с серьезной научной работой. Профессор Губин поздравит: «Очень рад, Настенька, приветствую в вашем лице...» Журналист из «Вечерней Красной» сочинит очерк: «Как наши славные советские женщины покоряют суровую Арктику». И останусь на всю жизнь я «синим чулком», ученой теткой. Да уж и по возрасту скоро подойдет пора «выходить в тетки».

Думая о своих братьях, я не могу отделаться от странного ощущения. Между ними неполных три года разницы, но с Дюшкой я чувствую себя старшей сестрой, даже наставницей, а с Никитой почему-то глупой и беспомощной девчонкой.

Адриан при всем своем журналистском апломбе еще очень зелен. Вот знаю же, что давно он дома, в Москве, но по привычке тревожусь, здоров ли. Привычка эта осталась у меня с детской поры, с первых дней нашего общего сиротства в Архангельске. Тогда вскоре после смерти мамы Лики и отъезда отца в Мурманск Дюшка схватил дизентерию, угодил в больницу. Прихварывала дома и бабушка. Тетка Аксинья велела нам с Никитой носить больному братишке передачи, какие-то мудреные кисели. Хмуро встречали нас дежурные няни, всякий раз, принимая судки, ссылались на божью волю.

В один из пыльных и ветреных дней, необычных для Архангельска, я всю дорогу от дома до больницы проплакала. Боялась идти: а вдруг встретит меня с Никитой одноглазая нянька, такая злющая, вдруг повернет нас обратно от дверей, безучастно покажет рукой

в дальний угол больничного двора на часовенку, откуда весной выносили в гробу маму Лику. Боялся этого и Никита, видно было по карим его глазам, которые от сдерживаемых слез как-то светлели, становились по-кошачьи желтыми.

В подъезд больницы я входила зажмурившись. И вдруг услышала мужской голос, такой приветливый:

— Кризис прошел, ребята, жив будет братишка, слышите, жив! Скажите тетке, чтобы сама пришла.

Рядом с одноглазой нянькой, принимавшей передачи, стоял седенький усатый доктор.

Дюшка всего этого не помнит, просто не знает. Сколько ему тогда было? И шести еще не исполнилось. Насколько все-таки я взрослее его, какая у него короткая детская память.

Сейчас наш Адриан в Москве, а мне еще зимовать и зимовать на острове.

Да, много событий случилось на крохотном острове Болховского, как, впрочем, и во всей огромной Арктике. Крутится шарик, именуемый планетой Земля, все больше поворачивается он к солнцу северной своей стороной.

В марте, как и следовало ожидать, стоят устойчивые холода, ртуть в термометре редко поднимается выше минус тридцати градусов. Пользуясь ясной безветренной погодой, мы, четверо, почти все время проводим «на улице» — смешно звучит привычное горожанам выражение применительно к нашему населенному пункту, насчитывающему всего один дом. Вооружившись лопатами, прокапываем «переулок» в плотно слежавшемся, промороженном снегу, расширяем глубокую траншею, ведущую к входной двери.

Несмотря на мороз, солнце греет уже настолько сильно, что от темных ящиков нашего склада и толевой крыши поднимается пар. А потоков воды не видно. Поставили термометр над толевой черной крышей, он показал всего минус восемь, а в тени в это время было минус тридцать три градуса.

Солнце еще заходит, но заря уже горит всю ночь. Непривычно нам наблюдать небо в северной четверти горизонта розовым, местами даже пурпурным, а на юге бархатно-черным, будто вышитым яркими звездами. Осенью, когда солнце уходило от нас, было совсем наоборот.

Возвращаясь с пешей рекогносцировки, Иван Архипович пересек свежий медвежий след. Клял себя, что не захватил карабина. Гнаться же за зверем, будучи вооруженным одним наганом, легкомысленно. Минаев в отличие от покойного Силкина отнюдь не заядлый охотник. «Звериное кровопролитие» он допускает лишь в крайнем случае. Но необходимость этого уже возникает, рацион собачьего «стола» пора разнообразить свежим мясом. Да и нам четверым при всем поварском искусстве Раисы Панфиловны давно осточертели консервы. На следующий день при ясной погоде и морозе около сорока градусов мы решили заняться промыслом. Запрягли псов, поехали вдвоем, Иван Архипович и я. За припаем шириной более километра мы обнаружили нагромождение свежих торосов вперемежку с участками ровного тонкого, недавно образовавшегося льда. Иван Архипович определил сразу: лед здесь разводит приливом, появляются полыньи. Южные ветры открывают уже значительные пространства чистой воды, а при северных лед подгоняется к припаю, и начинается торошение.

Когда мы подъехали к кромке припая, был полный штиль. Минаев, взглянув на часы, определил: скоро отлив.

— А ну, Настенька, одна нога здесь, другая там, гоните домой за лодкой.

Я погнала собак во весь опор и быстро возвратилась с легонькой фанерной лодкой, с осени лежавшей на складе. К тому времени в припае появились темные свинцовые полосы чистой воды, густо парившие на морозе. Встав у кромки метрах в трехстах друг от друга, мы с Иваном Архиповичем начали караулить. Первая нерпа выглянула из воды совсем близко от Минаева. Он выстрелил, но промазал. Во вторую подводную жительницу Иван Архипович попал, но ее уже мертвую течение быстро затянуло под лед.

Слушая доносившиеся издали сетования Минаева, я во все глаза наблюдала за своим участком. Вот над водой заблестела круглая черная голова зверя, она у меня на прицеле, нажимаю спуск. И безмерно счастлива: попала! Однако восторги мои по поводу первого в жизни охотничьего трофея могли оказаться преждевременными — и эта нерпа утонула бы, не прояви Иван Архипович неожиданную для него сноровку. Мгновенно

отчалил он от припая на лодке, подплыл к убитой нерпе и вскоре возвратился с добычей, сияющий довольной улыбкой.

Мы сняли с нерпы шкуру вместе с салом, прицепили ее на веревку к задку нарт. Поехали сначала вдоль кромки припая, затем домой, оставляя за собой темный след.

— Не сомневаюсь, что косолапые последуют вашему любезному приглашению отведать сальца, — острила за ужином Валентина Филипповна.

У меня, усталой и счастливой, слипались глаза. Заснула как убитая. А утром вскочила, оглушенная стрельбой. Сразу метнулась из своего закутка в сени. Там на пороге распахнутой двери стоял Иван Архипович в кухлянке, наброшенной прямо на белье, с дымящимся карабином в руках.

Валентина Филипповна, запахивая капот, корила мужа:

— Нельзя же так, Ваня. Чего доброго, и сам простудишься, и всех нас наградишь воспалением легких.

На кухне у плиты ворчала Раиса Панфиловна.

А виновница всего переполоха, матерая медведица, распростерлась у входа в дом, сраженная всеми пятью пулями из карабина. Чуть поодаль рычала, визжала, неистовствовала стая собак, свободных от упряжки. Мы с Минаевым, быстро одевшись, помчались туда. Не без труда отбили у разъяренных псов медвежонка. Он пришел с матерью, которая притопала к нашему жилью от припая по следу, оставленному нерпичьей шкурой. Таким образом, расчет Ивана Архиповича оправдался не только «на все сто», но и, пожалуй, «на сто двадцать процентов». И мы и собаки обеспечены теперь свежаниной надолго.

— Прибавились и едоки, — смеялась Валентина Филипповна, щекоча медвежонка за ушами, прислушиваясь к его забавному урчанию. Определив возраст звереныша, около полутора месяцев, она установила ему рацион: нерпичье мясо и сало, разрешив давать через соску разведенное теплой водой сгущенное молоко.

Едоки прибавились и среди собачьего населения острова. Красавица Леди принесла крепких крупных щенят. Юные «Ледята и лордята», как зовем мы веселый выводок, все время проводят на дворе, на морозе, возят-

ся, играют, заиндевеют все, но в конуру не бегут. Минаевы считают, что новым зимовщикам, которые сменят нас на острове Болховского, собаки составят еще одну упряжку.

А другая собака, Шинкарка, нас, можно сказать, подвела, все щенки у нее какие-то недотепы. Один особенно глупый, жалкий, не может отличить кусок мороженого мяса от щепки. Волей-неволей приходится кормить его нам, как младенца, с рук.

Любопытные взаимоотношения сложились в четвероногом «мохнатом» мирке. К Машке, маленькому медвежонку, взрослых псов не подпускаем — разорвут. А щенятам разрешаем с ней играть. Но уж тут не задирайся — Машка готова за себя постоять. Не кусает, а норовит шлепнуть своей передней лапой. От такой ласки нахальный щенок летит вверх тормашками. Лапа у Машки увесистая.

Животный наш мирок служит источником развлечений для меня и для супругов Минаевых. Для Валентины Филипповны к тому же и объектом научных наблюдений.

Иначе реагирует Раиса Панфиловна. Щенячья возня, игры с медвежонком только раздражают ее. Она очень изменилась после смерти Павла Семеновича: стала молчаливой, угрюмой. Покончив с хозяйственными заботами, она часами сидит в своей комнатенке, смотрит в окно на холмик, могилу мужа. Иногда берет лопату и в одиночестве идет разгребать сугробы. Она часто приходит в радиорубку, но всегда в часы, когда я там не работаю. Здесь она долго стоит на пороге и неподвижно смотрит в пустоту. И если вдруг я внезапно появлюсь в аппаратной, она с отсутствующим недовольным лицом, даже не взглянув на меня, уходит.

Раньше словоохотливая, чтобы не сказать болтливая, она теперь редко-редко проронит слово. Если и обратится иногда к Минаевым, спросит что-нибудь о делах и опять молчит. И оттого у всех возникает тягостное ощущение какой-то вины перед ней.

Со мной Раиса Панфиловна не разговаривает и вовсе. Понимаю ее: не может она примириться с тем, что в аппаратной я заняла место ее покойного мужа.

Безмерно ее горе. Гоню свое раздражение и благодарна судьбе за то, что мне некогда отвлекаться, слишком много работы: на мне радиосвязь и метеонаб-

людения. Редкий день не приходится ломать голову над бесчисленными «почему», над новыми и новыми загадками.

Чем, например, объяснить то, что иногда барометр медленно и неуклонно показывает повышение атмосферного давления, обещает ясную морозную погоду, а на дворе третий день кряду бушует пурга, ветер валит с ног, едва выйдешь из дому, мокрый снег слепит глаза? Возможно, барометр неисправен? Но для починки его не хватает знаний не только у меня, но и у все умеющего делать Ивана Архиповича.

Иной раз допускаю оплошности совершенно непростительные. На днях, потому что наш ветродвигатель простаивал из-за долгого безветрия, решила для зарядки аккумуляторов запустить моторный агрегат. Страшно гордилась тем, что справилась сама, без помощи Ивана Архиповича. И самонадеянно пренебрегла его советом выносить в подобных случаях движок на двор. Ну и хлебнула горя. Слабый, чуть ощущаемый ветерок потянул отработанные газы мотора из сеней в жилое помещение. Надышалась я этой дряни настолько, что, отправившись на метеоплощадку, свалилась там.

Иван Архипович за ужином погрозил пальцем.

Зато следующий день принес радость и начальнику станции и метеорологу. Используя привезенные с Большой земли баллоны с водородом, мы запустили шар-пилот в верхние слои атмосферы. Небосвод был чистый, прозрачный, ни малейшей дымки перистых облаков. Сами оделись потеплей. Хотели наблюдать за шаром несколько часов подряд. Предположения наши, что шар не лопнет и будет виден даже на очень большой высоте, полностью подтвердились. Пройдя зенит, он медленно поплыл сначала на север, потом на северо-запад.

Так увлекательно было смотреть в окуляр теодолита. Казалось, плывет в воздушном океане не обыкновенная резиновая оболочка, наполненная водородом, а новый, еще никому не известный могучий стратостат.

Иван Архипович снисходительно усмехнулся моей буйной фантазии. Но тут же вспомнил, что давно читал он одну интересную книгу о методах исследования свободной атмосферы, посоветовал проконсультироваться с аэрологами Института Севера.

«Отстукать» сообщение в Ленинград удалось не скоро. При сильных морозах и штилевой погоде снова начались помехи прохождению радиоволн. Но едва поднялась пурга, связь восстановилась. Я работала напрямую с любительской коротковолновой станцией в Гатчине. Ребята там молодцы! В тот же день успели передать мою депешу по телефону в институт.

Минаев регулярно докладывает в Ленинград о геологических находках. За ними он уходит на лыжах к возвышенной части острова. Там береговые выступы обдуты ветрами, обнажены из-под снега. Вернувшись, начальник всегда ругается на чем свет стоит: недоволен он тем, что, кроме легкого геологического молотка и мешка для образцов породы, надо таскать с собою карабин на случай возможной встречи с медведями. Кроме того, он никак не может привыкнуть к оптическим недоразумениям, которые возникают из-за рассеянного света при незаходящем солнце и низкой облачности. Темными очками Минаев не пользуется, они искажают истинный цвет рассматриваемых образцов. Обычные же светлые очки часто запотевают. Вернувшись с очередной прогулки на возвышенность, начальник долго кряхтит, потирая ушибленные бока, и комично рассказывает, как он, не заметив обрыва, сорвался с двухметровой высоты. Сочувствую ему и Валентине Филипповне, которая тоже не расстается с пенсне.

Оба Минаевы в отличие от меня темноглазы. А темноглазые менее подвержены снежной слепоте, чем блондины и рыжие со светлыми глазами. Установлено это и на собственном моем опыте. Я схватила острый конъюнктивит. Несколько дней пролежала с примочками, не подходила к радиоаппаратуре.

Особенно обидно, что это произошло в майские дни, когда из Ленинграда транслировался праздничный концерт для полярников. Сколько ни хлопотал Иван Архипович у приемника, так и не удалось настроиться на волну широковещательной станции.

Несчастной чувствовала я себя в эти дни. И кругом виноватой. Не только перед зимовщиками, но перед отцом. Не сомневаюсь: Егор Адрианович по случаю весеннего праздника «нагрузил» Серегу Петрова обширным посланием в мой адрес, веселым и многословным. А я оказалась глуха и слепа.

Хорошо хоть, что в один из последних дней апреля

успела передать на рацию Якутского каравана: «Из-за болезни глаз временно прекращаю связь». А то, пожалуй, поднял бы батя «полундру» в эфире: что случилось, почему не слышно моих позывных? Еще вздумал бы проводить проверку, запряг бы Никиту, помчались бы оба сюда...

Размышляя об этом, невольно прикинула: от зимовки Якутского каравана путь к нам длиннее почти вдвое, чем к бывшему дрейфовавшему лагерю чириковцев. Словом, и думать нечего...

Помечтала, помечтала, всплакнула малость и успокоилась.

«Терпение — главная добродетель полярника». Откуда это? Кажется, из дневника Болховского. Что ж, буду терпеть. Еще добрых полгода, до осени ждать мне встречи с отцом и Никитой. И то лишь при благоприятных ледовых условиях, если сможет подойти к нашему острову корабль со сменой. А если нет? Вернутся они на Большую землю с Якутским караваном, а я волей-неволей проторчу здесь еще добрый год. Снова будет кромешная тьма, ураганные пурги, трескучие морозы. И нас четверо, неплохих, в общем-то симпатичных людей, но увы, изрядно надоевших друг другу.

Прошла моя снежная слепота. Теперь выхожу на улицу только в темных очках. Солнце палит вовсю. Минаевы предвидят, что сугробы, еще стерильно белые, плотно слежавшиеся, спрессованные зимними морозами, скоро станут серыми, ноздреватыми. Значит, надо заблаговременно браться за лопаты, прокапывать канавки в сторону от входной траншеи, ведущей к дверям. Не то прозеваем бурное таяние, и захлестнет наш дом самое настоящее наводнение.

Морозы день ото дня слабеют, почти сходят на нет. Как-никак на дворе июнь, первый летний месяц. Ясная погода сменилась непроглядным туманом. Хлопьями повалил мокрый снег, потянул промозглый сырой норд-ост. И вдруг из серой мглы вынырнули два летящих силуэта. Снизились почти над крышей домика, чуть ли не над нашими головами. Мы успели разглядеть круглые плотные тела, мощные крылья и длинные шеи. Глазам своим не поверила: гуси! Первые гости с материка!

В пасмурные дни термометр показывает плюс два — плюс четыре. Ночью слегка подмораживает. На припайном льду у приливных трещин появились лахтаки, мор-

ские зайцы, серые, толстые, ужас до чего ленивые. Время от времени какой-нибудь зайчище приподнимается, осматривается вокруг: нет ли поблизости медведя. И тут же роняет голову на мокрый снег, сразу засыпает.

Приметы бурного таяния на каждом шагу. На припае у самого берега появились лужи. В пустынной возвышенной части острова из-под снега обнажился крутой глинистый обрыв, разбитый трещинами оползней. Там, оказывается, гнездуют лемминги. Ударишь ногой или лопатой — они выскакивают из трещин, разбегаются во все стороны.

Выше, на пологой скале, небольшой птичий базар — тоже гости с Большой земли, люрики. Как установила Валентина Филипповна, люрики по утрам собираются в стаи и улетают к северу. Возвращаются лишь к вечеру. Несомненно, на севере держится открытая вода, птички там кормятся.

Сообщение о чистой воде включаю в сводки, посылаемые в Институт Севера. Оттуда все чаще поступают запросы о ледовой обстановке. Судя по радиопереписке профессора с Егором Адриановичем, оба они озабочены прогнозами на предстоящую навигацию. Хотят точно определить возможные сроки посылки ледокола для вывода зимующих судов, для проводки новой транспортной экспедиции в Якутию. Думаю, отец помышляет о высокоширотном варианте пути, в обход Ледяной Земли с севера. Но ведь для этого нужна дальняя воздушная разведка.

Но кто же полетит? Даже у большой двухмоторной машины не хватит горючего на такой рейс, из бухты Сидоровской и обратно. Да и когда еще вскроется в Сидоровской лед, чтобы гидроплан смог там базироваться. Не раньше чем через месяц-полтора. А отца и Губина интересует уже сегодняшняя преднавигационная обстановка.

Ломала себе голову надо всем этим и никак уж не ожидала официальной депеши начальнику острова Минаеву от директора Полярстроя: «Сообщите прогноз на ближайшую неделю, подготовьте площадку 300×100 для посадки на лыжах».

Иван Архипович снял очки, протер стекла платком:

— Да, предприятие рискованное... Но что в Арктике возможно без риска?

Все последующие шесть дней мы трудились не по-

кладая рук, утрамбовывали на припае уже подтаявший снег. Трижды в сутки я обменивалась метеосводками с Якутским караваном и полярными станциями на мысе Северо-Восточном, в бухте Сидоровской. Консультировалась по радио с Ленинградом, с Институтом Севера. И все более крепла во мне уверенность в благоприятном суточном прогнозе для полета амфибии к нам.

Наконец пришла долгожданная радиограмма с Якутского каравана: «Стартовали восемь четырнадцать. Легли на курс, ветер попутный».

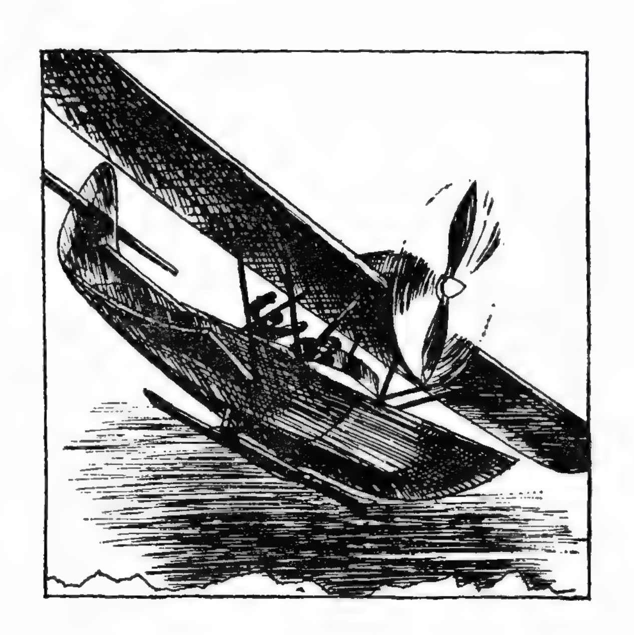
...Радиограмма послана двенадцатого июня. Прошло уже пять дней. На листах вахтенного журнала пятна от слез. Барабанные мои перепонки, кажется, вот-вот лопнут от назойливого писка морзянки: бесконечные запросы из Егоркина, Новосибирска, Ленинграда, Москвы. И все об одном: «Где самолет ПС-7?»

Никто не знает. Никто и предположить не может вероятные координаты вынужденной посадки машины, не имеющей рации на борту. Посадки или аварии в воздухе? Что же произошло после старта амфибии? Почему ты молчишь, Никита?

Прошло одиннадцать дней. Растаял, превратился в огромную лужу снег на галечной косе, подвижка льдов взломала припай...

Так, наверное, не только на нашем острове, так, видимо, всюду сейчас. Вот единственно возможный ответ на нервные запросы полярстроевских летчиков, снаряженных на поиски, готовых вылететь из Егоркина. На Большой Реке уже чистая вода, а севернее посадки невозможны ни на лодках, ни на лыжах.

Еще два дня полной безвестности. Всего почти две недели. Трудно работать ключом, пальцы деревенеют. Надену наушники, ничего не слышу...



ГЛАВА 13

ВОТ И НЕ ПОВЕЗЛО...

Пишет Никита Багров

Что-то недоговоренное, неясное осталось между отцом и мною после той беседы в палатке, после рассказа Егора Адриановича о предпоследней встрече его с Болховским. Часто теперь, входя в капитанский салон и наблюдая отца, склонившегося над книгами и картами, я невольно мысленно представлял себе рядом с Егором Адриановичем еще одного человека. Плечистого, рослого, в морском кителе, причесанного на прямой пробор, с короткими усами и бородкой клинышком.

Именно таким виделся мне Юрий Андреевич в госпитальной палате под Ревелем, когда навещал он, начальник дивизиона, раненого унтер-офицера Багрова. Воображение рисовало мне и экипировку Болховского — его погоны, офицерскую фуражку, черную с белым кантом, и морской кортик с кремовым, под слоновую кость эфесом, отделанным позолотой. Тут же, однако, я одергивал себя: в пешем пути по льдам покойный гидро-

граф должен был выглядеть совсем непарадно — в кухлянке, топорщившейся отсыревшим мехом, в мокрых, залепленных снегом нерпичьих торбасах. И с трубкой, как отец. Впрочем, ерунда, какая там трубка... Ведь говорил же отец, что Болховской совсем не курил, не терпел табака: «Совсем как ты, Никита, и спал тоже на спине». Почему это отцу вспомнились привычки Болховского и с какой стати вздумалось ему навязывать мне сходство с человеком, которого я и в глаза никогда не видел?

«На Северном фронте последняя наша встреча с Юрием Андреевичем была...» Все время вспоминалась мне эта фраза, походя оброненная батей тогда в палатке. Значит, дело происходило где-то под Архангельском или на Двине. Ведь оба они моряки, оба воевать должны были на кораблях. Отец был комиссаром на Северо-Двинской флотилии. Но где мог служить Болховской? Ну, конечно, у Миллера. Возможно, командовал ледоколом или даже ледокольным отрядом. Допустим, что так. Но тогда почему не ушел он за границу вместе с миллеровским штабом, как, скажем, Борис Андреевич Вилькицкий, начальник Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана?

Эх, будь на моем месте сейчас Дюшка, он бы уже после батиного рассказа целый роман настрочил бы. Фантазии у Дюшки хватило бы...

А мне не хватает просто обыкновенной настойчивости. Сколько ни досаждал бате просьбами рассказать про последнюю встречу с Болховским на Северном фронте, он все отмахивался.

Он вообще невесел что-то в последние дни. Как, впрочем, и я. Обоих нас расстроила Настя своей снежной слепотой.

— Настек, ты Настек. Очень уж тебе не везет в последние годы, — вполголоса грустно сказал отец. — Кто же виноват во всех твоих бедах, бедовая ты моя доченька?

Замолчав, Егор Адрианович характерным своим жестом провел пальцами по лбу, потер виски, опустился в кресло и устало закрыл глаза. В капитанском салоне мы с отцом были вдвоем. Я зашел спросить насчет очередного полета. Но так и не спросил. А отец сказал мне как-то странно, будто в чем-то убеждал себя:

— Я виноват, Кит... И перед Настей, и перед тобой,

и перед Адрианом. Сколько раз, бывало, бабушка корила меня: «Мало с ребятами бываешь, Егор. Растут ребята, как дерева в лесу». Права была бабушка.

Я пытался возражать отцу. Ведь как ни был занят Егор Адрианович делами тралового флота в Мурманске, но каждый год он приезжал в Архангельск, заглядывал в нашу школу, подробно расспрашивал о нас учителей. Приезжали и мы к бате в Заполярье — на рождественские каникулы, на пасхальные. И всегда столь дальние путешествия становились праздником в нашей ребячьей жизни.

— Праздники, оно конечно, — нехотя согласился отец. — А вот будничным, изо дня в день, как наши докладчики говорят, постоянным воспитанием смены не занимался коммунист Багров, — отец чуть усмехнулся. — Раньше на корабле с матросами больше возился боцман Егор по флотской своей должности. Вас же троих в люди выводила бабушка Таисия Федоровна, — он опять усмехнулся и добавил после паузы: — При некотором участии родного отца.

— Какие же у вас претензии к своим детям, товарищ кающийся отец?

— Не про то я, Кит. Хорошие вы ребята, все трое... Но вот чем кто дышит, что у кого на сердце, какие там кручины и радости, неведомо это оставалось родителю, невдомек было.

— Невдомек было? — с неожиданной для себя самого строгостью переспросил я.

— Ага, все-таки расшевелил я тебя, парень. — Отец точно обрадовался моему тону. — Да, Кит, было и есть. И горько мне сознавать это!

Егор Адрианович встал с кресла, прошелся по каюте, дымя трубкой:

— Настя там на острове одна-одинешенька, думаешь мне не укор? Да и раньше в Егоркине, когда по первому году зимовала она на метеостанции, не на месте было у меня сердце. Всем, думаю, девка взяла: и собой мила, и умна, и работяща, а вот, поди ж ты, засиделась в холостячках. Не сватов же было засылать мне из Новосибирска в Егоркино, как у нас в Поморье в старину велось, а? Когда Бруно Густавович во всей своей летной красе перед Настасьей возник, тоже не очень я тому радовался. Староват он был для Настены, да и скучноват, не тем будь помянут. Кремень-человек, сте-

рильной честности, как один мой дружок, военный врач, выражался. С таким на пару я бы и в разведку в тыл противника пошел, и на морское дно опустился. А вот на рыбалке у костра посидеть, помечтать, душу открыть — не годился для этого Густавыч. А у Насти душа поморская, вольная. В Ленинграде после совещания у Губина начала Настя проситься на ледокол, в Арктику. Вот тогда я и подумал: «Нет, не качать тебе, Егор Адрианов, маленького внука».

Снова отец грустно усмехнулся. Я постарался развеселить его:

— Что ж, пап, насчет твоих внучат придется нам с Дюшкой постараться.

— Ну, ну, валяйте, парни.

Беседу на семейные темы пришлось прервать, пришел радист, сообщил, что принял праздничные радиограммы. За обедом в кают-компании отец бегло взглянул на них. Одна была из Москвы от Центрального комитета профсоюза водников. Вторую, из Кисловодска от Виктории Павловны он прочитал вслух. «Видно, Егор, придется нам с тобой еще годик подождать». И пояснил:

— Давно мы с супругой собираемся провести Первомай в Москве. Друзья пропуска обещали на Красную площадь. Да все как-то не получается, оба в разъездах.

Кто-то из моряков спросил:

— А раньше случалось вам, Егор Адрианыч, видеть парад на Красной площади?

— Только раз. Давно было. Тогда трамвайные рельсы лежали там, где теперь трибуны. Еще Владимир Ильич был жив. Однако на той демонстрации он уже не присутствовал, болел. Да, очень давно то было.

После обеда, прогуливаясь, мы с отцом подошли к ровной ледяной площадке, на которой шла азартная футбольная игра. Моряки «Щорса» и «Чапаева» яростно гонялись за самодельным из сыромятных шкур мячом. Отец выдал пару советов щорсовскому вратарю, похвалил нападение чапаевцев и совсем развеселился:

— Чем у нас не весна? Знаешь, Кит, Красная площадь от меня не уйдет. А нынче хотелось бы мне встречать Первомай в Егоркине. И открытия речной навигации там дождаться. К той поре как раз снег сойдет, начнут егоркинцы огороды копать, посадят картошку. Ты, крылатый человек, о землице и думать забыл. А в Егоркине, имей в виду, нынче первая зима без цинги

прошла, прошлой осенью завезли овощи, всем хватило вдоволь. Скоро с первым караваном к ним семенной картофель придет: и для совхоза, и для личных огородов.

— Замечательно, пап. Но только сумеют ли егоркинцы вырастить до осени урожай? Климат-то какой.

— Климат, конечно, не способствует. Только мужики тамошние — пахари. Дай им семена, они землю, пусть она мерзлая, отогреют, оттают...

Егор Адрианович оглянулся на догонявшего нас капитана Столярчука:

— Как вы думаете, Орест Вадимыч, насчет земледелия в Заполярье? Помните, рыбные кооператоры картофель под Мурманском начали сажать? Старожилы смеялись: утопия, прожектерство. А теперь там целый овощной совхоз, так и называется «Арктика».

— Как же не помнить, Егор Адрианович, — сказал Столярчук, — а с чего начинался Мурманский траловый флот? Все больше у бережка рыбу брали. В океан боялись выходить.

— Да и сколько тогда тральцов было? — усмехнулся отец. — Десятка не насчитаешь, а нынче уже за семьдесят перевалило. Тогда норвежцы, англичане, голландцы хозяйничали в Баренцевом. А мы и забыли, что звать-то море по-русски Студеным, так оно еще до Баренца звалось. Да-а... Я, между прочим, в позапрошлом году, когда в Париже был, купил там у букиниста старую карту: Крайний Север Европы, семнадцатый век. На ней надпись по-французски: «Мэр де Московн». Московским, значит, звалось в Европе наше Студеное море — шла по нему дорога в Московскую Русь.

Помолчав, Егор Адрианович неожиданно добавил:

— А в Мурманске приятно бы Первомай справить. Фуражечку надеть с белым чехлом, как по нашему флотскому календарю положено.

Не знаю, какая погода была в первомайские праздники на Мурмане, а нам, зимовщикам Якутского каравана, в эти дни явно не повезло. С утра лепил мокрый снег, облака висели так низко, что не видать было даже ближних береговых скал Южного острова. Но праздник состоялся. Мы прошли строем перед кораблем. Моряки несли знамена — кормовые флаги судов, порядком уж выцветшие, и новенькое кумачовое полотнище с лозунгом «Да здравствует советская Арктика».

Очень хотелось мне и Пузанкову после демонстрации провести «воздушный парад» — поднять в воздух ударников учебы, курсантов зимовочного мортехникума. Отец такую затею одобрил. Но погода, отнюдь не праздничная, подвела.

— Ладно, крылатые, — утешал нас батя. — Дню авиации согласно календарю положено быть восемнадцатого августа. Так что успеете еще.

Я невесело усмехнулся — уж очень далекой показалась мне эта дата. И совсем уж нереальным, будто привидевшимся во сне, вспомнилось солнечное подмосковное лето, просторный луг под Тушином, излучина Москвы-реки, синеющие вдали леса, еле уловимый запах свежего сена...

Кузьма Дорофеевич, видя мое состояние, решил утешить своего командира:

— И до августа недалече. В августе, надо думать, плыть будут наши корабли домой.

Отец поправил его:

— Ну это еще кому куда. Первый Якутский караван домой пойдет, это точно. Только не порожняком. По дороге «Щорс», «Чапаев» и «Котовский» завернут на Большую Реку, лес возьмут для заграницы. А 2-му Якутскому — скоро пойдет очередной караван с грузами в бухту Стадухина — надлежит прибыть сюда, к Северо-Восточному проливу, как раз к середине августа. Против прошлогоднего рейса на две недели раньше. Да-а... Обязательно так! Чтобы не зазимовать, как нам, на обратном пути.

В беседу вступили капитаны, стоявшие рядом, — никак нельзя допустить проволочек с погрузкой ни в Архангельске, ни в Мурманске. И авиаразведку необходимо усилить, чтобы во льдах не терять времени зря.

— Как, Егор Адрианыч? Лазуренко говорил, что Полярстрой получит к лету еще одну большую гидру, — спросил обычно молчаливый Евгений Васильевич Федюшин.

Отец кивнул: верно, мол, говорил Лазуренко, осведомлен он насчет авиационных наших новостей.

Пузанков подмигнул мне, уверенно сказал:

— Командиром на новую гидру надо бы Никиту Егорыча.

Отец промолчал. Нечего было ему ответить, понимаю. С одной стороны, по всем срокам выслуги пора

пилоту Никите Багрову садиться на первое кресло в дальнем морском разведчике. Но с другой, когда новая машина начнет полет в Арктику из Архангельска? Пилот Багров в это время будет еще нянчиться со своим «воробушком». От Ледяной Земли до Архангельска на амфибии не долетишь, а пароходом плыть — добрый месяц уйдет, не меньше. Так что проплаваешь, пожалуй, до закрытия морской навигации. Все это было очевидно. Потому я и сказал:

— Гидра гидрой, это само собой. Но неплохо бы до начала морской навигации провести большую разведку хотя бы амфибии. Я думаю вот о чем: и на «воробье» нашем можно удлинить радиус полетов. И сделать это надо быстро, до начала морской навигации.

— Ну, ну, докладывай, пилот, свои соображения.

— Да уж, разрешите доложить. Северо-Восточный пролив мы с вами, Егор Адрианович, полностью облетели. И гидрологи, наши моряки, тут кое-что своими вертушками пощупали. В общем, картина на этом участке трассы за минувшую зиму нам примерно ясна.

— Допустим, что так, — согласился отец. — Ну а дальше что?

— А дальше вот что. На носу морская навигация. Почему надо идти 2-му Якутскому каравану по нашему пути, курсом на пролив? А ну как забьет пролив в августе льдом или, того хуже, совсем лед не вскроется до сентября. Может ведь и так случиться.

Отец обвел взглядом капитанов.

— Так, так, пилот, давай дальше, до победы. — Батя все более веселел. — Чую, интересует тебя та большая полынья, что наблюдали вы с покойным Густавычем на подступах к высоким широтам. Что же ты предлагаешь конкретно, Никита?

— Предлагаю слетать на остров Болховского, произвести там заправку и сделать еще галс на норд-ост.

— Однако не ближний это свет, как выражается наш почтенный Дорофеич, — отец испытующе глянул на Пузанкова.

— А что тут близко-то, что легко дается на наших северах, Егор Адрианыч? — механер-аншеф оставался верен себе. — Известно, пятьдесят километров не расстояние, пятьдесят градусов не мороз.

И, сделав многозначительную паузу, он все-таки съерничал:

— И водка слаба в пятьдесят градусов, и дама какая, ежели зимует в Арктике, не старуха в пятьдесят лет.

Капитаны покатились со смеху. Отец усмехнулся:

— Вона куда его повело. Однако ты про дело говори, Дорофеич.

— Про дело, пожалуйста. Мы с командиром все рассчитали: горючего на «воробье» хватит на шесть часов. Это раз. — Папа Кузя загнул мизинец на своей шершавой пятерне, темной от масляных пятен. — А до острова Болховского лёту от силы пять часов. Это два. Долетели вы, стало быть, поглядели сверху на эту самую полынью, ежели и впрямь она там держится. Потом, значит, сели, чайку попили с Настасьей Егоровной, — третий, средний, палец лег рядом с загнутыми, — горючим у Ивана Архипыча заправились, галсик сделали к норду, еще заправились, — Пузанков загнул четвертый палец, — а там на здоровье и домой летите.

— Дружный экипаж, что и говорить, — резюмировал Егор Адрианович. — Что ж, если с материальной частью порядок, вашему штурману остается только проложить курс, рассчитать поправки на склонение компаса, учесть прогнозы погоды.

Решение о полете на остров Болховского для дальней преднавигационной разведки льдов стало самым крупным событием холодного Первомая. Но полет откладывался: добрых две недели мела пурга. Пуржило так, что не хотелось и носа высовывать на улицу. Раза три откапывали мы амфибию, огромными сугробами обрастала она на своей стоянке. Потом пурга кончилась, но морозы не приходили. Наступило еще более резкое потепление: мокрые снегопады, когда с низкого небосвода валили огромные хлопья серой, мгновенно тающей ваты, сменялись нудными дождями. Морской лед в проливе стоял недвижим, кое-где на поверхности его образовались большие снежницы, лужи талой воды.

Но долгосрочное предсказание погоды нас радовало. По сводкам: от Насти, из бухты Сидоровской, с мыса Северо-Восточного, из бухты Мамонтовой, которые анализировал наш синоптик Арзуманян, в июне ожидался устойчивый антициклон, безветрие, хорошая видимость на всем предстоящем нам маршруте, над Ледяной Землей и дальше над морем. Теперь только бы не раскисла от таяния наша взлетная площадка, которую каж-

дый день старательно разравнивали, утрамбовывали моряки. Насчет посадки на Болховском мы с отцом не беспокоились. Там еще держались морозы.

Не внушала опасений и материальная часть. Папа Кузя перебрал, почистил мотор, заменил трубопроводы, пароходные механики снова прошлись электросваркой по дополнительному бачку. После пробного полета я рапортовал отцу: «Порядок».

— Ну, ну, так держать, — кивал Егор Адрианович. Отец вместе с капитанами и морскими штурманами трудился над выверкой компаса, рассчитывал возможные поправки на магнитное склонение при полете над Ледяной Землей.

Как всегда, он был весел, деятелен. И я очень удивился, увидев однажды судового врача Тимофея Борисовича, сходившего по трапу с палубы на спардек «Котовского» со своим «докторским» саквояжем. Врач шел из капитанской каюты, а капитан Тихомиров, его постоянный пациент, был в это время на палубе. Значит, визит нашего эскулапа был к отцу. Я забеспокоился и вечером, когда мы с отцом вышли прогуляться перед сном, спросил:

— Что, пап, а твой-то мотор не пошаливает?

— Как тебе сказать, Кит. Если не капитальный, то профилактический ремонт требуется моему главному двигателю. Да и компас, — он с улыбкой показал на голову, — тоже иногда выходит из меридиана. Одним словом, нечто возрастное, сердечно-сосудистое. Мудрено как-то Тимофей Борисович определил мои недуги.

— Может, отложим полет?

— Нет, ерунда. Медицина медициной, а дело делом. И потом, знаешь, парень, крепко я по Настеньке соскучился. Ты, думаю, тоже. Вот и охота мне сей год на обоих на вас поглядеть. Так, чтобы вместях, — с нарочито поморским выговором отец произнес эти бабушкины словечки «сей год» и «вместях».

И, помолчав, продолжал:

— Полет нам предстоит выдающийся, товарищ командир корабля. Для твоего штурмана еще один экзамен. Вот вернемся на материк, пойду в Москве в Аэрофлот, на диплом сдавать буду.

Прогноз погоды на июнь запаздывал. Устойчивый антициклон пришел к нам только в конце первой декады. 12-го числа в 8.14 по московскому времени «воро-

бей» стартовал от зимовки Якутского каравана, лег на курс — через архипелаг Ледяной Земли к острову Болховского.

Забегая вперед, скажу: сколько раз за свою летную жизнь бывал я в сложных переплетах. Но ни один транспортный рейс на Крайнем Севере, ни одна экспедиция в высокие широты Арктики и в Антарктиду, ни военная служба — рейды по тылам фашистской Германии — не запомнились так, как наш с Егором Адриановичем полет от зимовки Якутского каравана к острову Болховского на малютке-амфибии без рации на борту.

Оторвав лыжи от снежной площадки на припае, я, качнув крыльями, послал прощальный привет морякам. И вот уже за торосистыми грядами морских льдов, кое-где посиневших от трещин и «снежниц», поплыли береговые возвышенности, сероватые, в белесых пятнах. Время от времени их накрывали заряды тумана. Но мы прорезали туман, радуясь чистому горизонту впереди, высокому солнцу на ясном небосводе, лишь кое-где тронутому кисеей полупрозрачных перистых облаков. Как и обещал прогноз, ветер дул попутный, но, пожалуй, более сильный, чем можно было ожидать. Отличными естественными маяками стали для нас одетые ледниками горы Северного острова. Стрелка компаса вела себя не очень спокойно, сказывалась местная магнитная аномалия. Не беда, не заблудимся, учтем все поправки на склонение, выдержим истинный курс.

...Мы в полете уже третий час. За хвостом машины остались и ледники Северного острова, и последняя примета суши, низменный песчаный мыс Брусилова, с которого, судя по желтоватым проплешинам, кое-где ветрами сметен снег. Впереди по курсу горизонт обозначился темно-синей полосой «водяного неба». Торосистый береговой припай под нами сменился мозаикой дрейфующих льдов — поля вперемежку с разводьями.

Разводий все больше. Вот и кромка плавучих льдов, а за ней полынья, долгожданная, похожая на ту, что наблюдали мы два года назад с покойными Таубе и Балабаном. Батя тоже доволен, улыбается. И, сняв рукавицу, чертит указательным пальцем перед моим носом короткий зигзаг. Ага, понимаю: «Сделаем галсик?» Почему не сделать, если горючее позволяет, спасибо попутному ветерку. Над широкой полыньей, противополож-

ная западная кромка которой едва просматривается на горизонте, идем ломаным курсом, сначала на зюйд-зюйд-вест, потом обратно к норд-осту.

Скрестив указательные пальцы, отец приказал: «Довольно» — и снова дал мне генеральный курс вест-норд-вест. Да и сам я вижу, что хватит «утюжить полынью». Показатель расхода горючего точен: в баках у нас еще бензина на добрых два часа полета, а до острова километров сто пятьдесят, не больше. По расчету времени — час пятнадцать минут полета. Но не следует зарываться, искушать судьбу. И без того нам нынче везет...

Однако не может же везти все время. Мы пересекли западную кромку полыньи, когда в ритмичный шум мотора ворвался свистящий резкий звук. Мгновением позже раздался взрыв. Засвистели осколки, пролетевшие сверху, едва не задев наши головы. В нос ударил запах горящего масла. И сразу резко снизились обороты винта. «Воробей» терял высоту. Быстро сообразив, что посадка на лед тут невозможна, слишком много торосов, я поворотом рычага убрал лыжи. Выключив мотор, спланировал на воду, спокойную, чуть рябившую под слабым ветерком. Противоположная, восточная кромка полыньи, едва приметная на горизонте, когда я заходил на посадку, с уровня воды не была видна.

— Та-ак, — протянул Егор Адрианович, — та-ак, товарищ командир. Что ж, давай швартоваться к льдине.

Пришвартовались к большому полю, завели якорь за торос. Раскрыли капот мотора. На месте одного из цилиндров, между первым и вторым ребрами, как рваная рана, зияло отверстие, из которого вылетало мелкими брызгами масло. Оба мы молчали. Обоим было очевидно, что поломка неисправима. Обоим хотелось костерить на чем свет стоит папу Кузю, а заодно и моторный завод, и всю авиапромышленность в целом. Но мы понимали: бортмеханик не виноват. Машину он подготовил на совесть, еще на добрых тридцать-сорок часов работы давал гарантию технический паспорт мотора амфибии. Да что только толку в паспорте! Кому в полярной авиации не известно, что такие поломки стосильных моторов случаются нередко. Кто из летчиков не знал, что такие двигатели отечественной конструкции рассчитаны правильно, но лишь совсем недавно начали выпускаться серийно.

«Не полностью доведены движки, не всегда надежны», — высказался еще зимой папа Кузя, уже однажды заменявший один из цилиндров мотора. Все это вспомнилось мне сразу же после аварии. Но хоть знали мы оба, что дальше нам уже не лететь, все же начали вытаскивать машину на лед. Устали при этом изрядно. Особенно Егор Адрианович. Пот лил с него ручьями, дыхание стало прерывистым. Оба мы вымокли, то соскальзывая с края ледяного поля, то проваливаясь по пояс в рыхлый снег, подтаявший, только сверху чуть схваченный слабым морозцем.

Зачем же тогда старались? Видимо, по инерции. Старались же мы всю долгую зиму делать трудное дело, временами казавшееся невыполнимым. И еще, наверное, потому, что не хотелось расставаться с верным нашим помощником. Жалко было искалеченного «воробушка». До слез жалко, прямо как живое существо. Жестокой несправедливостью казалось нам бросить амфибию после случившегося.

— Н-да, — вздохнул отец, — долго теперь Настенке гостей дожидаться. По образу пешего хождения нам с тобой, Кит, отсюда топать и топать.

Да, только вперед, только к острову Болховского! Иного пути я теперь себе не представлял. Случись вынужденная посадка у противоположной, восточной кромки большой полыньи, разумно было бы шагать назад — домой, к Якутскому каравану. Далековато, что и говорить, но там суша, земная твердь под ногами.

Так думалось и отцу.

— Слушай, Кит, а если поплыть нам обратно, через полынью, может, вытянет моторишко, а?

Попробуем. Я залез в кабину, включил зажигание. Батя крутанул винт: «Контакт». — «Есть контакт».

Но чихает мотор, задыхается, глохнет. Да еще, оказывается, в днище дыра, повредили мы лодку, когда вытаскивали машину на лед.

— Отставить дальний заплыв на восток, готовиться к пешему переходу на запад, — попробовал пошутить отец.

И развернул карту. Курсовая черта, пересекающая градусную сетку, выглядела красиво — прямая, стремительная. Как-то изогнется она, когда пойдем мы отсюда по торосистому льду, дрейфующему, непрестанно движущемуся?

— Генеральное направление дрейфа тут на северо-запад. Так еще Болховской теоретически определил, изучая отчеты прошлых экспедиций. Тогда он и предсказал существование в этом районе полярного моря этого неприметного островка... Да... А нам с тобой, Кит, здешнюю географию изучать на практике, ногами.

Я невольно вздрогнул. Фамилия Болховского, воспринимавшаяся сейчас мною только как географическое название, как остров, до которого надо было дойти, снова обрела реальный человеческий образ. Покойный гидрограф, казалось, стоял рядом с нами на льдине. В кухлянке и мокрых, залепленных снегом торбасах он стоял рядом с моим отцом и мною. Что-то жуткое, мистическое было в самой мысли о том, что когда-то, еще до моего рождения, так вот шагали они рядом, впрягшись в лямки, волоча за собою тяжеленный вельбот.

— Слушай, Кит, — продолжал отец. — Полярная техника не всегда идет в ногу с общим прогрессом. Тот вельбот наш, ты помнишь, продвигался под парусом и греблею, а когда мы просто и волоком тащили его на полозьях. Однако все осилил вельбот, крепкий был, надежно его архангельские плотники смастерили. А теперь лодчонка наша с тобой из фанеры хрупка, и лыжи под ней долго не продержатся, как по торосам начнем ее волочить.

Егор Адрианович в раздумье потер ладонью лоб, улыбнулся:

— Хошь не хошь, а придется использовать нынешнюю нашу технику до дна, как сказал кто-то из великих и мудрых.

И, помолчав, добавил:

— Хм... до дна. Интересно, далеко тут дно морское? Какая глубина? Вот бы измерить. Жаль, нет у нас с тобой эхолота.

Тут мне стало весело:

— Ты, пап, еще вертушку Экмана с собой захватил бы, течения измерили бы, целую гидрологическую станцию провели бы.

— Ладно, стоп травить. — Улыбка под рыжеватыми усами отца погасла. — Подрубаем, малость отдохнем и начнем готовиться к переходу.

Есть не хотелось. Зато чай, вскипяченный на примусе, пили с наслаждением. Отдыхали в кабине лодки, предварительно вынув сиденье, сняв внутреннюю

переборку. Постелили на дно спальные мешки, я накрылся регланом, отец — мохнатой собачьей дохой. Утро вечера мудренее...

Утро или вечер? Пойди разбери. Сквозь низкие тяжелые облака шел рассеянный, мутный свет. Интересно, где сейчас солнце, закрытое облаками? В какой четверти горизонта? Попробуй поймай его секстантом. Взглянул на часы. Стрелки показывали четверть четвертого. Видимо, все-таки утро, поскольку выспались мы основательно. Итак, сегодня, тринадцатое июня.

Истекали первые сутки с момента нашей вынужденной посадки.

— Полундра на всю Арктику. Это уж точно, — вполголоса произнес отец. — Неудобно как-то, Кит, а? Наверное, уж и в Москву сообщили. Да... Хорошо это, конечно, что есть на свете Москва. Однако, парень, ждать нам нечего.

И обернулся в сторону полыньи. Морская гладь, вчера еще без единой льдинки, сегодня пестрела обломками полей.

— Видал? То чисто, то такая вот мура. Рассчитывать, что сможет тут приводниться гидра, пожалуй, нельзя. Да и когда еще сможет она вылететь? Вопрос. И потом, думаешь, легко будет летчику с воздуха усмотреть наши фигуры? Ну-ка, сколько времени Чухновский нобилевскую группу разыскивал? Ты еще в школу ходил тогда, но газеты, думаю, читал. То-то... Да, натерпелись итальянцы. Но мы-то с тобой, слава богу, свои люди в Арктике.

— Да, пап, все ясно, пойдем.

И мы пошли, впрягшись в самодельные лямки. Пошли по дрейфующему льду, таща за собою лодку амфибии на лыжах. Предварительно отломали крылья топором. Выломали и выбросили тяжелый мотор. Изрядно при этом попотели, едва не разругались, жалко было мне, до слез жалко уродовать нашего «воробушка». А бате хоть бы что: «Экое добро, подумаешь, железяки как железяки...»

И в назидание сыну на первом же нашем привале рассказал, как товарищи его, революционные матросы-черноморцы, топили свою эскадру в Новороссийске летом восемнадцатого года, топили, чтобы не отдать немцам.

— Плакали, говорят, братишки, прощаясь с кораблями. А куда денешься? Не было тогда иного выхода. Нет, парень, машины жалеть не стоит, когда людей надо спасать. А тогда весь народ спасали, всю нашу Советскую Республику. Понял?

Отца потянуло на воспоминания:

— На Черноморье бывал я всего два раза, первый — когда служил на действительной, в учебном плавании. Второй раз — отдыхать ездил в Гагру, это уже с Викторией, только поженились мы. Да... А спасать корабли и людей привелось опять же на Балтике. Про Ледовый поход, наверное, слышал? Знаешь, как от немцев, от вильгельмовских немцев, уводили балтийцы свои корабли из Гельсингфорса в Кронштадт. Редкой трудности был поход. Апрель месяц, весь Финский залив подо льдом. Славно поработал тогда макаровский «Ермак». А разведку для «Ермака» делали наши морские летчики. И пилот Таубе в их числе, расейский питерский немец. Да, да, он самый, Бруно Густавович, покойный твой командир. В ту пору был он еще беспартийный. Но нашенский, красный военный летчик. Сам Бруно из механиков, бывший унтер, как и я. А бомбили нас, обстреливали с бреющего самолеты «таубе» — самая ходовая марка была в Вильгельмовой авиации. Бывают же такие совпадения. Да... Орденов тогда еще не давали, не было их пока, новых советских орденов. Просто благодарность в приказе объявило командование нашим военморлетам, ну и Густавычу в их числе.

— А ты, пап, кем был в Ледовом походе?

— Уполномоченным Центробалта по гидрографическим кораблям. Первая моя была комиссарская должность. На «Компасе» шел, а командовал «Компасом» знаешь кто?

— Болховской, наверное?

— Ну что ты. Он каперанг, большое начальство. Да и не захотел Юрий Андреич сменить андреевский флаг на красное знамя. Не тех был взглядов. Он к тому времени с Балтики вовсе исчез. Потом уж объявился на Севере, в белой армии.

Отец взглянул мне в глаза:

— Дался тебе Болховской.

И добавил в задумчивости, едва слышно:

— Впрочем, не только тебе, Никита. Но ты меня, пожалуйста, не торопи с Болховским. Вот придем на остров, там и расскажу тебе о последней с ним встрече, которая произошла на Северном фронте.

И снова отец долго молчал, глядя на синий огонек примуса.

— На «Компасе» командиром, — Егор Адрианович вернулся к прерванному рассказу, — был Степан Ермолаевич Грачев, штабс-капитан корпуса гидрографов.

— Да ну! — не выдержал я. — Вот, значит, с какой поры вы дружите, пап!

— С той самой. И я этой дружбой горжусь. Замечательный он человек, наш Степан Ермолаевич. При Цусиме был ранен, у японцев в плену побывал, тогда еще он был прапором, призванным из запаса. Потом в Петербурге сдал все экзамены в морском корпусе и остался в гидрографии. Постоянно жил в Гельсингфорсе, на шведской фрекен женат, дом полная чаша. Вот и думалось мне: зачем бы такому службисту портить карьеру, с большевиками связываться? Когда спросил его об этом — на мостике дело было, только-только мы вышли из-под обстрела, — капитан мой весь потемнел лицом. «Да вы что, — говорит, — с кем разговариваете, гражданин уполномоченный Центробалта? Русский я или нет? Да я вас, молодой человек, по прежним временам за такой вопрос к барьеру поставил бы». Вот какой он, Ермолаич.

Расстались мы с Грачевым в Кронштадте по-хорошему. Я получил назначение в Архангельск. Он со шведкой своей поселился в Питере, у Лавры, две комнаты дали им по ордеру Петросовета. Года три прошло. Весной двадцать первого приезжаю в Петроград, мятеж в Кронштадте только-только успела подавить Советская власть. Из Мурманска приезжаю, там уж начал создаваться траловый флот. И надо же такому случиться. Шагаю ночью по Дворцовому мосту, гляжу, впереди двое флотских. Один в командирской шинели, идет ссутулившись, все оглядывается. Вижу, знакомая бородища. А другой позади — бескозырка, бушлат, винтовка с примкнутым штыком.

Догнал я тех двоих: батюшки, Степан Ермолаич! Арестован, на Гороховую следует под конвоем. Пошел на Гороховую с ними и я. Кладу на стол свой трофей-

ный кольт и ругаюсь как положено боцману. «Не могу поверить, — говорю, — чтобы товарищ Грачев, командир Красного флота, был заодно с кронштадтской сволочью». Сгоряча, конечно, разорался, молод был. Ну, чекисты, ребята выдержанные, успокоили меня, разберемся, мол. И разобрались. Демобилизовался Грачев, в торговом флоте сдал экзамен на капитана дальнего плавания. Послали его на ледокол. А уж тут он себя показал. И зимой на Балтике, и летом в полярных морях. Вот, Никита, как порой складываются судьбы.



ГЛАВА 14

«ТЕПЕРЬ, СЫН, ТЫ ЗНАЕШЬ ВСЮ ПРАВДУ...»

Пишет Никита Багров

Я еще спал в мохнатом, из собачьего меха, мешке, когда отец, раскрыв на коленях толстую, в клеенчатом переплете тетрадь, занялся вычислением широты и долготы.

Заметив, что я открыл глаза, он произнес радостно:

— Поймал все-таки солнышко, успел схватить.

И снова уставился в тетрадь.

— Так, так... Все сходится. Координаты наши с тобой, парень, вот какие. Остров от нас сейчас — на чистый вест.

— Стало быть, дорога ясна!

— Погоди, Кит. Надо еще уточнить, куда дрейфует лед. А то как бы не пронесло нас далеко от Настиного дома. Давай-ка соорудим линек с грузиком.

Соорудили. Линем стал для нас штуртрос от самоле-

та, грузом — разводной ключ и плоскогубцы из инструментального хозяйства Кузьмы Дорофеича, заботливо припрятанные им в кормовом отсеке лодки. Линь с грузом, закинутый в полынью, показал, что наше поле дрейфует в общем потоке льдов на северо-северо-запад. Что ж, хорошо, нам это, в общем-то, по дороге.

Пока я разжигал примус, готовил завтрак: какао на сгущенном молоке, разведенном снеговой водичкой, хлеб с маслом, Егор Адрианович снова пересчитал курс, теперь уже с поправкой на дрейф.

Мы сложили в лодку все имущество, впряглись в лямки. Не берусь точно определить общий вес лодки с грузом, но, думаю, было там не меньше десяти с лишним пудов. Тянуть с непривычки было тяжко. Правда, по гладким ледяным полям, обдутым ветрами от снега, лыжи скользили. Но они сразу начинали буксовать, едва попадали в талые снежницы или упирались передними концами в ропаки, даже невысокие. А уж когда вырастали перед нами гряды торосов, тогда и вовсе приходилось туго.

Отец тяжело, прерывисто дышал. Во время отдыха на гребне очередной торосистой гряды он не закуривал по всегдашней своей привычке, просто посасывал изгрызенный мундштук холодной пустой трубки.

Если для лыж главным препятствием были неровности льда, чередовавшиеся все же с относительно гладкой поверхностью, то ногам нашим давался с трудом каждый шаг. Там, где лыжи скользили, тяжелые сапоги продавливали хрупкий, уже подтаявший наст. Нередко отец и я проваливались в сырой снег почти по пояс. Потные от напряжения, в одежде, намокавшей все больше и больше, мы шагали точно обернутые компрессами, отнюдь не согревающими.

И так бывали рады, так счастливы, когда ледяное поле прерывалось вдруг разводьями! Подняв шасси, мы сталкивали лодку в воду, брались за самодельные, из обломков крыльев, весла и гребли, гребли к противоположной ледяной кромке полыньи.

В очередной раз мы перетащили лодку через гряду торосов, присели отдохнуть. Отец сказал, глядя в сторону:

— Помирал Евгений Фридрихович Крюгер в избушке на Ледяной и начальствование островной нашей партией передал мне. Напоследок спросил: «А не жа-

леете ли вы, боцман, что по доброй воле в такое муторное дело впряглись?»

— Что же ты ему ответил, пап?

— Сначала хотел было рявкнуть, как положено нижнему чину: «Никак нет, господин магистр. Служу государю императору во славу матушки России». Но, подумав, сказал по совести: «Чего уж тут жалеть? Снявши голову, по волосам не плачут». Улыбнулся Крюгер слабо так: «Если в чем виноват перед вами, боцман, простите меня». Ну и я еле слезы сдерживаю: «Что вы, Евгений Фридрихович, за науку премного благодарен вам». А он мне твердо говорит, из последних, видать, сил: «Светлая у вас голова, Егор Адрианыч. Высоко держите голову». А сам уж свою голову и приподнять не может. Вот...

Отец снял темные очки, закрыл глаза, провел ладонью по щеке, бледной и под полярным загаром, заросшей седой щетиной.

— К чему это ты вспомнил, пап?

— А к тому, что не винишь ли ты меня, парень, во всей этой затее с полетом, а?

— Ну вот еще. И затея эта вовсе не ваша, товарищ директор Полярстроя. Не присваивайте себе инициативы, проявленной командиром корабля, товарищ штурман.

— Ишь ты у меня какой, Кит. — Отец повеселел. — Ну добро, добро.

Мы шли уже шестой день по дрейфующему льду. Мне начинало казаться, что прошли уже многие недели, а то и месяцы после нашего вылета с зимовки Якутского каравана.

Таким бесконечно далеким представлялся теперь привычный зимовочный быт: пышущие жаром батареи отопления в каютах, сухой воздух, приятно обволакивавший все тело после промозглой сырости и колючих ветров. Толкнешь входную дверь, перешагнешь высокий комингс, снимешь реглан, стянешь с ног мохнатые унты, плюхнешься на диван и блаженствуешь: дома! Что сейчас там, за корабельными бортами и каютными переборками: снегопад ли, дождь, туманная изморозь — нет тебе до них дела.

И самое главное: там, на кораблях, вмерзших в лед, окруженных сугробами, тебя не отпускало ощущение покоя, налаженности быта, уверенности в том,

что Арктика Арктикой, но ты-то, маленький человечишка, надежно защищен от всех ее суровых капризов. Наработаются люди, кто в полете, кто на расчистке снега, кто на ремонте судовых машин или уборке палубы, и могут спокойно отдохнуть. А тут...

Мы с отцом не говорили об этом, не растравляли себя воспоминаниями. Мы только время от времени сочувственно поглядывали друг на друга, отмечая, что давно уже не бриты, что кожа на руках и лицах огрубела, зашершавилась от морской воды, что мыло, сколько его ни верти, все равно толком не мылится. Что меховые унты, увы, раскисают. Войлочные подошвы размокают, меховые голенища стираются, рвутся. Ну уж, бог с ними, с унтами. Мы отрезали и выбросили голенища, а опорки, высушив у примуса, превратили в нечто вроде домашних туфель, решив пользоваться ими только на привалах.

А вот кожаные сапоги еще послужат нам.

— Добрая обувка, рыбацкая, — говорит отец. — В Кимрах, на Волге, кустари шьют.

Я молчу, думаю: хорошо рыбакам на твердой палубе, не страшны им никакие захлесты волн. А у нас сейчас под ногами — что? Хляби, как сказала бы бабушка. Точнее, ледяная каша. А дальше, под кашей, что там? Хорошо, если морской лед, а ну как трещина, промоина? Провалиться по пояс, а то и глубже случалось не раз и отцу и мне. Мы чертыхались, снимали и выжимали мокрую одежду, стараясь хоть как-то просушить ее у примуса. Каждая такая остановка отнимает часы. Нет уж, о том, чтобы выдерживать намеченный график движения, нечего и думать: какие там двенадцать, хорошо, если семь километров мы проходили за сутки.

Ночью светло, почти как днем, а в пасмурную погоду и вовсе не отличишь день от ночи. Но солнце все же изредка баловало нас. Егор Адрианович успевал ловить его секстантом. Безупречно шли и отцовские часы, массивные, на цепочке, с надписью, выгравированной на крышке: «Честному воину Красного Флота от Реввоенсовета Республики». Этой наградой батя гордился не менее, чем боевым орденом.

Жарко было Егору Адриановичу идти, все время жарко: и на ветру, и под мокрым снегопадом. Китель, изрядно потертый, всегда обычно застегнутый отцом

наглухо, был теперь распахнут. Меховая доха и вовсе снята, брошена в лодку.

Усталость давала о себе знать. Но юмор по-прежнему не покидал отца.

Определив координаты и направление дрейфа, он всегда шутил:

— К полюсу нас не унесет, выйдем к острову.

Мою готовность влезать в осточертевшую лямку батя оценивал скептически:

— Горяч ты, парень. А силушку надо беречь, отдыхать теперь будем чаще. Устроим завтра день отдыха. Седьмой он в нашем пути. Давай-ка отметим его как воскресенье.

Я согласился, хотя, признаться, давно уже не вел счет дням недели.

— Как-нибудь устроимся, — подбадривал меня отец. — Нансену в свое время тоже не больно уютно жилось в здешних краях.

Я ничего не ответил. Помню, читал, как Нансен со своим спутником Иогансеном странствовал по дрейфующим льдам добрых три месяца. Но у них-то были и собачьи упряжки, и лодки, каяки с парусами.

Да, не хотелось ничего отвечать отцу. Но себе я задал вопрос: дойдут ли до острова Болховского двое Багровых — отец и сын?

«Воскресенье» прошло незаметно. Перекусив, обсушившись у примуса, мы залезли в спальные мешки, растянулись рядом на дне лодки. Отец, прежде чем улечься, проверил заряды, поставил карабин на боевой взвод. Я сунул под голову кобуру и заснул мгновенно. Проспал как убитый почти сутки. Ни медведи, ни другие обитатели полярного мира не тревожили нас.

Потревожил незваных гостей «сам хозяин», дрейфующий лед. Проснувшись, мы разогревали консервы на примусе, кипятили какао, делили масло и хлеб, строго следуя однажды принятой раскладке, когда невысокий торос вдали, хорошо видный нам, вдруг качнулся и упал. В следующую минуту прошла трещина в толстенном паковом поле рядом с нами. Начиналось сжатие — внезапная подвижка льдов. Трещина расходилась быстро. Мы ахнуть не успели, как в нее сползла наша лодка. Сползла, как выяснилось, к счастью для нас. Иначе все было бы погребено под торосами. Стремительно налезая друг на друга, торосы раскалыва-

лись, рушились. Мы погасили примус, подхватили чайник, расстеленный на снегу брезент. Успели подбежать к лодке, вытащить ее обратно на лед. Трещина, закрываясь, едва не поглотила нашу фанерную скорлупку. Но повредить ее лед все же успел — крепления шасси оказались смяты, искривлены, лыжи сломаны.

Спасая лодку, перенося имущество в безопасное место, мы, как говорится, работали из последних сил. За какие-нибудь полчаса, что продолжалась вся эта кутерьма, успели вымотаться, как за обычный дневной переход.

— Может, не пойдем сегодня дальше? — осторожно спросил я.

— Нет, — отрубил отец, грызя мундштук пустой трубки, — надо идти.

И мы потащились, опять впрягшись в ненавистные лямки, резавшие плечи и грудь. Шли молча. На разговоры, шутки просто не оставалось сил. Молча карабкались на торосы и затем осторожно сползали с них, молча переплывали разводья, старательно вычерпывая кастрюлей воду, что просачивалась в прохудившийся корпус.

Нашли место для привала, залезли в спальные мешки, стараясь заснуть. Но обоим не спалось. Отец ворочался с боку на бок, кряхтел. То садился и сидел в странной неподвижности, потирая рукой грудь, то ложился снова. Долго и натужливо, сотрясаясь всем телом, откашливался. И время от времени повторял про себя: «Ничего, сдюжим...»

Тяжкая физическая усталость сковала все мое тело, но сон не приходил. Вместо него наплывало какое-то тревожное забытье, прорывавшееся бессвязными мыслями. Было страшно за отца, было стыдно ощущать собственную беспомощность рядом с ним.

Белесые пасмурные сумерки сменились вялым рассветом. Из-за расступившихся облаков робко проглянул солнечный луч.

Егор Адрианович, лежавший поверх спального мешка, вдруг приподнялся, глянул на часы, обхватил пальцами запястье руки и произнес вполголоса:

— Пульс сорок. Ясно... Не дойду.

И, не дав мне опомниться, спокойно сказал:

— Не дойти мне до острова Болховского. Нет...

А ты, Никита, должен дойти, обязан... Ты дойдешь, Никита Юрьевич Болховской!

Я ничего не понимал. Разразилась бы над ледяной равниной летняя гроза, засверкали бы молнии из туч, загремел бы гром, что почти невозможно в Арктике, или поднялись бы на дыбы морские волны — любые стихийные явления поразили бы меня гораздо меньше, чем слова Егора Адриановича.

Отец говорил медленно, без тени волнения на бледном изможденном лице, с видимыми усилиями произнося фразу за фразой:

— Слушай... Слушай, сынок.

Почти никогда прежде я не слышал от него такого обращения. Звал обычно отец меня то «Кит», то «парень», то «пилот».

— Да, сын ты мне, Никита... Не по крови, по духу сын... Я тебя растил, ты меня радовал. Хоть и с болью та радость давалась порой. Ценою неправды. Понимаешь?

Голос Егора Адриановича дрогнул. Он закашлялся, но тотчас усмирил кашель, овладел собою, стал опять спокоен и сосредоточен:

— Тяжко носить в себе неправду, пока живешь, работаешь, мыслишь. Но еще тяжелей, не сказав правды, уходить из жизни. Потому и на суд людской выхожу. Совесть велит. А судить Егора Багрова больше некому, только тебе, Никита Юрьич.

Егор Адрианович не смотрел на меня, вертел в слабых пальцах холодную потухшую трубку.

При последних его словах я вскочил, какой-то сдавленный крик вырвался у меня:

— Отец, что ты говоришь? Какой Болховской? Багров. Я Багров, твой сын Никита Багров...

Егор Адрианович долго и как-то обреченно смотрел на меня, сказал устало:

— На добром слове спасибо. Только сделай, сынок, одолжение, не шуми.

И, помолчав с минуту, сказал громко, раздельно произнося слова:

— Да, истинный твой отец, отец по крови, — Юрий Андреевич Болховской, капитан первого ранга, многих орденов кавалер, дворянин бывшей Российской империи. Знай это, сын... И еще знай то, что я всю жизнь не могу забыть: убили каперанга Болхов-

ского на моих глазах... Из таких вот русских трехлинеек...

Он коснулся рукой лежавшего рядом карабина, отвернувшись, торопливо сказал:

— Нет, не расстреляли его красные матросы. Пал Юрий Андреевич в честном бою, сам при оружии...

И проговорил тихо-тихо, почти шепотом:

— Вот теперь, сын, ты знаешь всю правду.

Егор Адрианович долго молчал, снимал, опять нахлобучивал на голову отсыревшую меховую шапку, вытирал испарину со лба, поправлял на носу темные очки.

— Как же это, почему же это? — вырвалось у меня.

Егор Адрианович отвел взгляд:

— Да вот уж так... Долго рассказывать, но нужно, необходимо все сказать тебе. Однако ты, Кит, имей в виду: раньше еще, на зимовке каравана, когда собирались мы с тобой лететь к Насте, определил я для себя, как свидимся с нею, соберемся втроем, так я перед вами все и выложу. Перед сыном и дочерью. Перед обоими повинюсь: обоим вам своей ложью жизнь испортил... Знал ведь, давно приметил, как вы друг на дружку поглядываете. И думал, вот бы поженить ребят, кабы не мнимое это родство.

— Мнимое?! Так, значит, мнимое! — ошеломленно выдохнул я.

Егор Адрианович кивнул:

— Да, мнимое. Не сестра Настасья тебе по крови, никакая не сестра. Не только матери, но и отцы у вас разные. Вот... Спросишь, конечно, почему я так долго молчал. Что тут ответить? Эх, сынок... Кабы все в жизни было так просто, как тебе по молодости представляется. Меня в твои годы судьба меньше баловала, а задачки приходилось решать потруднее, хоть и был я всего только флотский нижний чин, а ты нынче, смотри, пожалуйста, авиатор-орденоносец.



ГЛАВА 15

«ЖИТЬ ОСТАЛОСЬ МНЕ НЕДОЛГО»

Пишет Никита Багров

— Постараюсь, Никита, объяснить, — говорил Егор Адрианович, — почему всю жизнь я молчал о том, кто был твоим отцом. Причин тому было много. Первонаперво память о матери твоей. Я ведь Лию так любил, так любил... И предсмертная воля ее стала для меня законом. Тревожилась она, умирая, больше всего о том, что ты, ее первенец, сможешь плохо подумать о покойной своей матери. Даже свекрови, бабушке нашей Федоровне, которую Лика почитала превыше всех, не велела она про тебя говорить. И, конечно, по-своему была права. Бабушка хоть и добрая и справедливая, а все же могла бы, не ровен час, расчувствоваться: сиротка, мол, Никеша, без роду-племени. Или еще какие жалостливые слова при случае навернулись бы старухе на язык. А мне думалось так: «Зачем мальчонке родословную свою знать, чем, собственно, ему гордиться: дворянством незаконным, что ли?» Да и

Юрий Андреевич, родитель твой, ничего о тебе не знал. Вот и решил я: быть Никите боцманским сыном, оправдает он поморскую нашу фамилию. Парень-то растет какой. А вырастет, встанет на ноги, все расскажу, ничего не утаю. Так решил я в Архангельске, когда уже ни мамы твоей, ни Юрия Андреевича не было в живых.

Егор Адрианович тяжело, натужливо закашлялся, долго восстанавливал дыхание, наконец заговорил снова.

— К Архангельску, к военной поре мы еще подойдем. Начнем со здешних сибирских краев. С года тысяча девятьсот десятого. Это в книгах так пишут: «Обольстил красавец барин крестьянскую дочку, пока суженый ее отбывал солдатчину». В жизни все было куда проще. Когда «Восход» первый раз отдавал якоря в Кривой протоке, я с Лией и словом не успел перемолвиться. Приглянулась она мне — экая, думаю, пригожая дочка у лоцмана. Улыбалась она, махая платочком, когда отчаливали мы в море. Но кому улыбалась? Конечно, не мне одному. Со всей нашей командой прощалась молодая хозяюшка.

За долгую зимовку на Ледяной Земле вспоминал я Лию не раз. Бывало, взгрустнется: «Эх, — думаю, — не судьба, видно, не свидимся с ней больше». Ведь командир рассчитывал в следующую навигацию забункеровать «Восход» на Кривой протоке, оттуда подгрести к Южному острову Ледяной Земли, забрать на борт нашу партию и прямо от Ледяной плыть на запад. Но купчишки, сибирские пароходчики, подвели нас с углем. И вышло все иначе. После островной зимовки, после пешего хождения по льдам пошатнулось богатырское здоровье Егора Багрова. Пока шли да плыли, боцман держался, виду старался не подавать — служба! Однако суставы распухали день ото дня, в руках, в ногах такая ломота, спасу нет. Во всем теле тяжесть и слабость, слабость проклятая. Когда ошвартовались у лоцманова зимовья, было мне уж совсем плохо. Матросы боцмана на брезенте тащили...

Егор Адрианович сделал паузу, снял очки и с задумчивой улыбкой глядел мимо меня куда-то вдаль покрасневшими слезившимися глазами.

— Что дальше было, Болховской в дневнике описал точно. Уложили раба божия Егория в лоцмановой избе. Приклонский, наш корабельный доктор, оставил

Якову Моисеичу всю свою аптеку. И уехала восходовская команда на оленях на юг по льду замерзшей Большой Реки.

Лечили меня лоцман с дочкой капитально, на совесть. Медикаменты, конечно, сами собой, но главное было для меня — тепло, покой. Натопит Лика избу, воды в чугунах нагреет, и сама за дверь. Яков Моисеич с веником тут как тут. «Скидай, — говорит, — Егор, исподнее, залазь в печку, парься, пока дышится». Ну, лезу. В русской печи хоть и тесновато для моей фигуры, но жарища — рай на небеси! Вылезу, прямо кажется, шкура сходит. Яков Моисеич веничком из полярной березки похлещет меня, скомандует: «Надевай исподнее, шасть на печь». — «Слушаюсь, — рапортую, — так точно, ваше лоцманское превосходительство». На печи в оленью постель завернусь и сплю себе, как славный витязь Еруслан.

Сибирская медицина пошла на пользу. Кроме ученых лекарств, поили меня лоцман с дочкой еще отварами трав, настоями хвои. И кормили, как кормили! Строганиной, конечно, оленьим свежим мясом и рыбкой сырой, мороженой: нельмой, муксуном, большерецким осетром. После зимовочного да походного харча это, я тебе скажу, царская еда. Отъелся, отоспался, прогрел костьё.

В общем жил боцман у лоцмана как у Христа за пазухой. Понятно, и пурга метет, и морозы, сам знаешь какие. И солнышко едва-едва у горизонта. Сибирская заполярная зима по всей форме. А на душе у меня такая теплынь. Полюбил я Лику, как никого до той поры не любил. Красивая она была, твоя мама. Нет, красивая не то слово. Чудесная, светлая... Хоть и волосом черна, и лицом смугла. Да что тебе говорить, помнишь ты свою мать.

Яков Моисеич дочку звал «Ламушкой». Это по ламутам. Скажет мне лоцман другой раз: «Ты, Егор, от наших родичей нос не вороти. Не беда, что оленью кровь они как воду пьют, зато хорошему человеку зла не сделают. Шамана своего, старого дуралея, боятся пуще огня, но чужого не возьмут, не обманут».

Как-то взгрустнулось мне, дочку свою вспомнил, Настеньку. Один только раз и видел ее, два года ей уже было, когда «Восход» снаряжался в Архангельске для полярного плавания. Каково-то ей живется с бабушкой?

И когда-то еще свидимся? Рассказал о дочке Лике, та сразу в слезы и за печку убежала.

Потом стал я замечать: что-то стесняется меня молодая хозяюшка. И за столом молчит, глаза отводит в сторону, и на берегу, когда ладим мы с Яковом Моисеичем снасть к подледному лову. Не подойдет, слова не скажет. Грустит о чем-то, и с лица вроде какой-то иной стала. Побледнела и оплыла, будто и полнеть начала, ходит вперевалочку. Замечаю все это, но все равно люблю, день ото дня все больше люблю. Так и сказал ей. Вдвоем мы были в избе. Время на стол накрывать, обедать. Лика испугалась, опять за печку, там малицу накинула и к двери. Отец ей навстречу, чуть с ног не сбила его.

Гляжу, Яков Моисеич тоже хмурый, косится на меня. Эх, думаю, была не была. Смирно становлюсь, как, бывало, в экипаже перед кондуктóром. И говорю: «Коли в чем виноват, взыщи с меня, отец, — первый раз отцом его назвал, — только, — говорю, — не жить мне на свете без твоей дочки Лии Яковлевны. Благослови нас, Яков Моисеич». Лоцман только по усищам провел рукой. Повернулся и вон из избы. Ну и я сам не свой, без шапки, без малицы, без рукавиц, в чем был, и тоже за дверь. Так и не сели мы обедать в тот день, так и стояла изба, открытая настежь. Долго по мелколесью бродил я, пока нос, уши не стало прихватывать. Все неловко, боязно казалось идти в избу. Так и простыл бы, наверное, по второму разу свалился бы, кабы не пришли за мною отец и дочь.

— Пойдем, Егор, — это Яков мне. — Чайком погреемся.

Лика молчит, глаза прячет. Ну, пришли в избу. На столе самовар, печка растоплена по новой. Сели чин по чину.

Яков Моисеич, строго на меня глянув, спрашивает: «Ты, Егор, чего давеча говорил, обдумал? Не сгоряча сказанул?» Я даже с места вскочил: «Вот те Христос...» И перекрестился. Гляжу, подобрел Яков Моисеич: «Ты, Егор, боцман, военной службы моряк, я речной лоцман, человек вольный. Однако все реки в моря впадают. Вдовый ты, Егор, знаю, дочка-малолетка у тебя. Но и ты должен знать: рожать скоро нашей Лие. Кто народится: мальчик, девочка, видно будет, а фамилию примет на-

шу — Лозовацкую. Разумеешь? Или о чем будешь спрашивать?»

Снова я встал, поклонился в пояс. Потому что было мне известно и раньше: тут, на диких северах, никаким не считается позором ни у туземцев, ни у пришлых поселенцев, ежели рожает девица или молодуха незамужняя, не в законном браке.

Егор Адрианович прервал рассказ, чтобы отдышаться. Налил себе холодного чаю, выпил кружку залпом.

— Подумалось: что же мне Лику осуждать, когда она меня выходила, от могилы уберегла.

Поклонился я сначала Якову Моисеичу, потом Лике. А она — кровиночки нет в лице — за всю отцову речь бровью не повела. Но как встали мы втроем из-за стола, как обнял я ее, головку мне на плечо положила. Свадьбу мы с Ликой справили без гостей. Какие там гости — от зимовья до зимовья сотни верст. И уж, понятно, без попа. Но весело, радостно. Как раз на зимнего Николу. А сынок появился у нас к рождеству. Говорю «у нас», потому что раз Ликин сын, значит, и мой! Окрестил же тебя, да и нас, новобрачных, окрутил все-таки для порядку, хоть и задним числом, поп-расстрига, тоже из ссыльных. То ли православный, то ли старовер, но пьяница был страшенный. Младенец Никита к той поре был жутко горласт и прожорлив.

Егор Адрианович рассмеялся беспечно, словно забыл про свои недуги. Прилег на свернутый спальный мешок. Продолжал прежним усталым голосом:

— Про настоящего твоего отца, Никита, я никогда у твоей мамы не спрашивал. Она сама мне его назвала: Юрий Андреевич Болховской. Ничего не стала объяснять. Мне и так понятно... Весной все это у них произошло. Прикатил на Кривую протоку из Санкт-Петербурга его благородие господин старший лейтенант, императорского флота гидрограф. Ну красавец собой, ну обхождение деликатное, ну герой, на какие-то острова собрался матросов спасать, по доброй воле жизнью рискует. Не судил я строго и Болховского. И ревности к прошлому своей жены, глупейшего, подлого чувства, не знал. Было мне ясно, что никогда не могли стать они супругами: аристократ, сын сенатора и рыбачка, дочь ссыльного, дикарка, инородка. А со мною, ровнею, прожила твоя мать свой век в любви и согласии. Только недолог был ее век...

Егор Адрианович отвернулся, снова надел темные очки. Было заметно, что говорить ему дальше трудно.

— Ты, пап, отдохнул бы, поспал малость, — тихо сказал я.

— Успею. На отдых мне вечность отмерена. Адриан у нас родился, когда началась германская война. Я летом четырнадцатого только в Архангельск успел съездить, хотел бабушку с Настей забрать в Сибирь. Да как раз под высочайший манифест и угодил: мобилизовали меня в родном городе как запасника, определили служить на Балтику. В семнадцатом, после февраля, мне как георгиевскому кавалеру отпуск дали трехмесячный. Дома побывал — на Большой Реке. Деда Якова уже не было на этом свете, потонул в Большерецком заливе. В зимовье жителей, прибавилось, но все больше бабы. Мужики, те воевали. Подивился я тогда, что Егоркином стало зваться в народе зимовье. Распрощался с сибирскими земляками, на службу-то надо возвращаться. Привез маму Лику и вас, малышей, к бабушке в Архангельск. Оттуда — пожалте на палубу, боцман Багров, воюйте теперь за Корнилова и Керенского, гражданин свободной России! Дальше сам знаешь: Питер, Моонзунд, Центробалт, Ледовый поход. Снова Север — англичане, белые...

Весной двадцатого вроде все наконец-то наладилось. И Советская власть на Беломорье, на Мурмане, крепко стоит, и я дома вместе с вами, со всеми. Тут бы жить да жить, хоть и голодновато было вначале. Провели мы с Ликонькой, как молодые, новобрачные, вместе всего-навсего три неполных месяца! Умерла она. «Не судил господь» — так меня бабушка утешала. И ты знаешь, завидовал я бабушке, когда сам не верил уже ни в бога, ни в черта, от горя едва рассудок не потерял. Когда уезжал я в Мурманск, вас троих с ней оставляя, сказала она просто: «Выращу детей, Егор, будь спокоен, тебя ведь с сестрами вырастила». Понимала мать: только в работе было тогда для меня спасение. Перекрестила на прощание, строгий наказ дала: «В большие начальники выходишь, большая тебе сила представлена новой властью. Только помни, одной силой правды не добудешь, еще и совесть нужна. Человеком будь с людьми, не насильничай, не лги». И ты знаешь, Никита, стыдно мне при этих сло-

вах стало старухе в глаза глядеть, потому что не сказал ей правду про тебя, про Болховского.

Запрокинув голову, Егор Адрианович долго смотрел сквозь темные очки на высокое незаходящее солнце, холодно сверкающее, равнодушное к людским горестям:

— А теперь скажи, неужели пришла пора помирать?

Страшный этот вопрос, заданный так просто, будто речь шла о каком-то житейском пустяке, потряс меня.

— Нет! — вырвалось у меня криком. — Слышишь, отец. Ложись в лодку, потащу тебя.

Егор Адрианович остановил меня слабым движением руки:

— Спокойно, сынок. Я знаю, что говорю. Предел — его же не прейдеши...

И показал ладонью на левую сторону груди. И фраза эта из каких-то неведомых мне древнеславянских речений, впервые услышанная от отца в бухте Стадухина почти год назад, прозвучала теперь как приговор.

— Да, предел. Знаю свои возможности. А все-таки, — он улыбнулся, — все-таки неохота отдавать концы.

Он вылез из лодки, медленно походил по мокрому снегу взад-вперед.

— Кит, открой консервы. Пообедаем. Или нет, главное-то забыл. Кормежкой займусь я. А ты, парень, возьми секстант, поймай солнышко, посчитай широту и долготу. Опять же и линек забрось. Сообрази, что к чему.

Никогда прежде я не выполнял обсервацию так старательно. Отец остался доволен моими расчетами. За трапезу принялись мы дружно, как и прежде, хотя, конечно, обед был скудноват — стакан мясного супа и две галеты.

И снова шли, проваливаясь в мокрый снег, взбираясь на торосы, переправлялись через разводья, которых, к счастью, становилось все меньше. Торосистые нагромождения тоже попадались теперь нечасто, а по льду, относительно ровному, хоть и мокрому, наша лодка если не скользила, то все-таки ползла.

Много позднее, перебирая в памяти все пережитое тогда, я клял себя: нельзя было допускать, чтобы и отец тянул лодку, нельзя было тогда ему идти. И еще, вспо-

миная впоследствии, поражался я отцову упорству, его умению подчинить слабеющие физические силы своей воле.

А силы иссякали. На следующем привале после изнурительного пути отец так устал, что сразу уснул. Уснул мгновенно, дыша ровно, едва слышно, так, что мне порой становилось страшно: вдруг казалось, что дыхание его замерло совсем. Измученный, смертельно усталый, заснул рядом с отцом и я.

Когда проснулся, увидел, что Егор Адрианович сидит, согнувшись, хрипло, прерывисто кашляет, глотает какие-то таблетки. И снова я услышал слова, произносимые отцом будто себе самому:

— Пульс тридцать семь.

Заметив, что я смотрю на него, Егор Адрианович сказал:

— Жить осталось мне недолго. Слушай меня, сын, внимательно.

— Нельзя тебе, пап, разговаривать...

— Нет уж, Кит... Долго я молчал о главном, всю жизнь молчал. Больше невозможно. Прошу тебя, выслушай не перебивая.

Последний раз встретились мы с Болховским в бою. Красная Армия вступила в Архангельск, как ты знаешь, двадцать первого февраля двадцатого года, а двумя днями раньше белый правитель Миллер со своей компанией сбежал за границу на ледоколе.

Как выяснилось из захваченных нами штабных документов, Миллерово воинство еще заблаговременно готовило оборонительные рубежи к западу от Архангельска. Рассчитывали, видимо, удержать там фронт, получить подкрепления из Финляндии. Там, под самой Онегой и по Онежскому тракту, ближе к Сумскому посаду, родному моему селу, были у беляков лесные завалы, окопы, траншеи, артиллерийские позиции. Но вот людей насчитывалось у них негусто, рассыпалось белое воинство. Солдаты, из мобилизованных, норовили прятаться по деревушкам, просто в лесах. Стойких же формирований, таких, как на юге у Деникина, добровольческих офицерских полков и вовсе не было в белой армии на Севере. Однако, по данным разведки, знали мы имена командиров, которые свою солдатню умели держать, что называется, в струне. Знали про Болховского, капитана первого ранга. Летом на Двине он бронекатерами

и канлодками изрядно нас беспокоил. А зимой в пешем строю воевал этот морской офицер. Ну, думаю, верен себе Юрий Андреевич! Драться решил до последнего. Что ж, такого врага надо уважать. Но и жалел я его по-человечески: сложит, думаю, голову не за понюх табаку и солдат положит немало.

Да, к слову пришлось, многие белые офицеры, добровольно сдавшиеся в плен на Северном фронте, потом после трибунала служили в Красной Армии, неплохо себя показали на других фронтах. Вот и думалось мне, что и Болховской нашел бы свое место в Красном флоте. Но он в плен не сдастся — знал я его характер.

И решил тогда я, командир сводного полка — и флотские у меня были, и пехота, — действовать так. Коли не с самим Болховским, так уж с белыми солдатами хотел столковаться. Посылаю лазутчика, помню, Васькой его звали. Фамилию вот забыл. Гуляка парень, запьянцовский, но ловок, языкаст. Поручаю Ваське: растолкуй солдатам, втемяшь в их дурьи башки, что кончается для них Россия за карельскими лесами да озерами. Чем на чужбину драпать, лучше к Советской власти явиться с повинной.

Обрядили мы Ваську в английскую шинель, шоколаду, галет, табаку насовали, опять же трофейных. Да... Ушел он темной ночью лесом, в обход тракта. Трое суток его не было, на четвертую ночь является, докладывает: «Так и так, товарищ комполка, все в аккурате. Согласны солдаты выкинуть белый флаг, офицеров разоружить. Обещают: после нашей артподготовки, как поднимемся в атаку, сразу выскочат из траншей и руки кверху».

С рассветом постреляли наши пушки, полку была придана батарея трехдюймовок. Постреляли больше для острастки, как и было задумано. По разрывам видим, где перелет, где недолет. Белая артиллерия молчит! «Хорошо, — думаю, — значит, повязали пушкари своих офицеров».

Поднялся в атаку первый батальон. Наблюдаю в бинокль — выскакивают наши бойцы на полянку. Знаю, должна простреливаться она пулеметным огнем. Однако молчат белые пулеметы. «Ну, — думаю, — совсем хорошо». Рванулись мои красные орлы вперед, снег из-под валенок так и клубится. «Ура» орут во всю глотку. Вижу в бинокль: смяли боевое охранение у беляков.

«Сейчас, — думаю, — выскочат солдаты противника из-за лесного завала, сдаваться начнут». Не тут-то было. Сколько уж, не знаю, шагов полтораста оставалось нашим бойцам пробежать, как врезал по ним с левого фланга пулемет. Очередь за очередью, сразу шестерых бойцов скосил. Остальные цепью залегли. Вижу: окапываются. А снег был не то что здесь, у нас с тобой, наст крепкий — февраль на дворе. «Эх, — думаю, — не застыли бы у винтовок затворы».

Наши артиллеристы по белой пулеметной точке — залп. Точно накрыли. Замолк ихний «максим» или там «льюис». Все ж не подаю сигнала продолжать атаку. «Как бы, — думаю, — не резанул пулемет с правого фланга». Ждем контратаку. Ждем... Лежит наша цепь на снегу, мерзнет, конечно, отчаянно. И тут, к радости моей, навстречу нашим окопавшимся бойцам откуда ни возьмись парнишка в зеленой английской шинели. В руках у него палка, на ней тряпочка белая — ясно вижу все в бинокль. Даже лицо того парнишки в мое перекрестье попало на какое-то мгновение, перепуганное, но и веселое вроде. «Ну, — думаю, — гора с плеч, сейчас и остальные беляки на полянку высыпят». И опять ошибся... В перекрестье бинокля новая фигура, барашковая папаха на затылок заломлена, офицерская бекеша нараспашку, под ней китель темный, флотский. Лицо у офицера бритое, а Болховской, сколько помню, усы носил и бородку. Вижу: стреляет офицер из маузера по тому парнишке в шинели. Тот упал. Наши в цепи тоже огонь открыли. Рухнул и офицер от парнишки невдалеке. И только он упал, как из траншей посыпались белые солдаты. Сколько там их, с десяток, наверное, с винтовками, те сразу штыки в снег. Остальные, безоружные, выходили с поднятыми руками.

Как позднее мы установили, гарнизон укрепрайона успел своих офицеров повязать. Всех повязали солдаты, кроме фельдфебеля, что командовал пулеметным расчетом на левом фланге. Его и своего командира, каперанга Болховского, не успели солдаты схватить. Видно, побоялись: как-никак штаб-офицер. А может, и пожалели; храбрый, говорят, был, справедливый. А он, его высокоблагородие, своих солдат не пожалел. Больше скажу — сам пошел на верную смерть. Искал смерти... Стрелки наши в цепи его и срезали. Лежал Юрий Андреевич на снегу весь в крови. Однако еще живой, еще

в сознании был, пока я подошел на место боя. Опустился рядом с ним на снег и слышу: «А, боцман... Вот оно как...» И ни слова больше...

Похоронили его вместе с тем парнишкой в английской зеленой шинели, вместе с белым пулеметным расчетом — его прямым попаданием в клочки разнесло. На опушке леса зарыли. Земля мерзлая — динамитом рвали. Холмик насыпали невысокий, сверху прикрыли еловыми ветками. Столб поставили без звезды, без креста. Надпись штыком по коре: фамилии по документам. Без чинов и должностей — на том свете все рядовые...

Вот и весь сказ про последнюю мою встречу с Юрием Андреевичем Болховским — твоим, Никита, отцом по крови...

Егор Адрианович замолчал, снял темные очки, пристально смотрел на меня, будто видел впервые.

— В мать удался парень. А характером в него. И привычки его, откуда они у тебя? Табаку не терпишь, спишь на спине... Ну что скажешь теперь?

Я не мог говорить. Егор Адрианович несколько минут молча посасывал изгрызенный мундштук трубки. Потом вдруг улыбнулся:

— Теперь моя очередь навзничь лечь...

И лег, подложив под голову свернутый спальный мешок, дыша порывисто, хрипло, будто захлебываясь.

Слов не подберу, чтобы выразить смятение, которое охватило меня в те минуты. Мучительно было видеть страдания близкого, бесконечно дорогого человека. Ведь с ним прожита жизнь, ему я во всем верил больше, чем самому себе. И так не хотелось верить тому, что узнал я сейчас...

Я сказал через силу:

— Не надо мне другого отца, слышишь! И не казнись ты и не думай об этом...

Мучительно, с трудом Егор Адрианович вроде бы кивнул — приподнял и опустил брови. Шершавой потрескавшейся ладонью вытер запекшиеся губы, мокрый от пота лоб, щетинистый седой подбородок. Заговорил почти шепотом:

— Думаю всегда... Всю жизнь вину свою обдумываю, хоть и не раскаиваюсь ни в чем... Перед многими виноват.

Егор Адрианович, страдальчески скривив рот, схватился за грудь, потом, отдышавшись, продолжал:

— Милосердие — хорошее слово... Редко вспоминалось оно на моем веку... И еще чего, сказать по совести, не хватало мне, так это правдивости. Много насмотрелся всякого зла, жестокости.

Он несколько минут молчал, смотрел поверх моей головы. Страдальчески морщил лоб:

— Мысли расползаются... Так о чем это я... Да, о людях, конечно, о себе. Гордый был... Чем гордился?.. Что солдатом живу, не холуем каким-нибудь, а работягой, солдатом... А вот, что рядом со мною холуев хватало, этого старался не замечать... По трусости, что ли? Помнишь, наверное, как о климате толковали мы с тобой... О климате времени. Суров наш климат. Но всегда я верил: должен потеплеть. Надеялся: сам дождусь. Не дождался. А вы, молодые, дождетесь. Нет, не то слово — добьетесь! Обязаны добиться! Обязаны быть умнее, добрее, честнее... Вы, Никита и Настя, простите мне семейную эту неправду. Так Настасье и передай... Дойдешь ведь до острова. Не маши руками... Верю, дойдешь, будешь с Настасьей...

Новый приступ удушья прервал речь Егора Адриановича. Я приподнял отца, держал его за плечи. Ничего не помогало. Дыхание вырывалось со свистом. Я поймал отцову руку, набухшую синими венами, нащупал пульс. Открыл массивную крышку отцовых часов. Тоненькая стрелка секундомера бежала по кругу безостановочно. Пульс редел, падал...

Егор Адрианович умер, когда стрелки на циферблате показывали четверть девятого. Утра или вечера? Не знаю, не мог сообразить. Не назову и точную дату: то ли двадцать первого июня, то ли двадцать второго, а может быть, двадцать третьего...



ГЛАВА 16

Я ШЕЛ К ЖИЗНИ, К НАСТЕ, СВОЕЙ ЖЕНЕ...

Пишет Никита Багров

Самое трудное, самое страшное было закрыть отцу глаза. Уже мертвые, остановившиеся, начавшие стекленеть, они, казалось мне, все еще смотрят из-под кустистых бровей, все еще продолжают жить. Я видел в стекленеющих глазах Егора Адриановича солнце, крохотное желтое пятнышко, самого себя...

Себя, безмерно усталого, одинокого, осиротевшего... Да, именно сейчас, на двадцать пятом году жизни, осознал я себя осиротевшим куда больше, чем тогда в Архангельске, когда восьмилетним мальчишкой в больничной часовенке увидел мать в гробу и впервые услышал от бабушки печальное слово «сиротки», обращенное к нам, троим малышам. И сейчас встали передо мной остановившиеся от горя глаза Насти, светло-серые, чуть зеленоватые, так похожие на отцовы глаза.

И стало вдруг тепло от мысли, что Настины глаза сейчас живы, что где-то там, за грядами торосов и без-

донными окнами разводий, она, Настя, наверное, смотрит сейчас с берега вдаль. И плачет, и ждет.

Мне надо идти дальше, к острову Болховского. Теперь идти одному. Но идти... Идти потому, что так приказал отец.

Я завернул похолодевшее тело отца в спальный мешок, скользкий от мокрого снега. Обвязал мешок веревочной лямкой. Прикрепил к лямке заплечный рюкзак, положил в него инструменты, разводной ключ, плоскогубцы, лопату, почти все, что мы взяли в полет на случай посадок и ремонта в пути. Туда же сунул пистолет отца.

Партийный билет Е. А. Багрова, члена ВКП(б) с августа 1917 года... Спрятал его у себя под кителем рядом со своими комсомольским билетом и пилотским свидетельством. Проверил, заведены ли массивные отцовы часы, сунул их в опустевший резиновый кисет. Подсчитал оставшуюся провизию и вдруг явственно вообразил, будто услышал голос отца: «Раскладку, Кит, можешь теперь увеличить вдвое».

И заплакал: «Эх, батя, батя...»

Я укладывал припасы, оружие, приборы в лодку. Долго глядел на мертвого отца, в его глаза, теперь уже помутневшие, ставшие темными, тусклыми. И решился — закрыл отцовы веки, опустил на его лицо, заострившееся, серое от седины и бледности, отсыревший головной клапан спального мешка. Подтащил тело вместе с нагруженным рюкзаком к краю полыньи, столкнул в прозрачную воду.

Егор Адрианович уходил в необъятную свою могилу медленно, туго преодолевая струи глубинных течений, долго оставаясь видимым. Я вспоминал отцовы слова, голос его, привычки... И вглядывался в темное око океана, будто ожидая какое-то эхо из немой пучины...

Часы показывали двадцать пять минут шестого, когда я впрягся в лямку и пошел, таща за собой лодку. Пошел один...

Нет, неправда... Отец по-прежнему был рядом, пусть невидимый. Пусть не слышно его хриплого дыхания, но всегда со мной он будет рядом, всегда для меня живой, мой штурман в полетах, командир во всей моей жизни.

...«Хочешь летать, парень? Вот ты какой, чудо-юдо, рыба кит. Что ж, попробуй, будь летающей рыбкой. Видывал я таких в тропиках, в кругосветке». Так было

сказано после окончания мною девятилетки у бабушки, на Поморской, когда Егор Адрианович приезжал в Архангельск советоваться с лесозаготовителями, сплавщиками, моряками. Приезжал из Сибири, где создавался комбинат Полярстрой, начиналось строительство Егоркинского порта, шли первые караваны плотов в низовье Большой Реки. Тогда, помнится, бабушка и окрестила батю «сибирским губернатором».

А потом, три года спустя, запросилась «летающая рыбка» в студеные моря в полярную авиацию и... получила отказ: «Рано в асы собрался. При наших погодах как бы крылышки тебе не отморозить, покажи-ка себя сначала в теплом климате». Так писал отец мне в Коктебель, когда собрались там планеристы со всей страны.

Слет наш был отмечен не только новыми рекордами, один из которых установил инструктор Центральной авиашколы Осоавиахима Никита Багров, но и двумя неделями, проведенными этим рекордсменом на гауптвахте.

Как уж батя в Сибири прознал про это, ума не приложу. Но телеграмма с родительским поздравлением заканчивалась отнюдь не двусмысленно: «Вижу, созреваешь ты для Заполярья». Все это, однако, не помешало Егору Адриановичу еще целый год хлопотать перед осоавиахимовским начальством, чтобы оно отпустило меня в авиацию Полярстроя. А затем, когда я был наконец отпущен, отец рекомендовал меня, зеленого новичка, в экипаж Таубе, ветерана Арктики.

И вот нет в живых ни Бруно Густавовича, ни отца.

Ползет «летающая рыбка» по мокрому льду, тащит за собой обломки своих крыльев, мокнет на талом снегу, мерзнет под негреющим, незаходящим солнцем. И старается, старается изо всех сил, ловит секстантом далекие лучи, записывает на отсыревшем листе растрепанного бортжурнала вычисленные цифры координат, сжимая покрасневшими, замерзшими пальцами скользкую логарифмическую линейку. Не сбиться с курса, учитывать направление дрейфа льдов, точно знать свое местонахождение к началу новых календарных суток, — сколь дьявольски это трудно и сколь необходимо!

Я двигался, упорно шел вперед. Мне стало вдруг очень страшно во время первого одинокого ночлега, когда начался дождь—не теплый летний ливень, нет,—про-

тивный мозглый моросящий дождик. Серым ноздреватым становился снег вокруг, до размеров маленьких озер разрастались лужи талой воды, отражавшие низкие серые облака. Зеленоватыми становились торосы, отмытые дождем от снега. Они казались островками посреди этих озер, а самые большие среди них горами, вынырнувшими из морской пучины. Я понимал, что пресноводный талый разлив на поверхности морского льда ничем не грозит. Дно «пресноводного моря» ледяное, крепкое, ступать на него, идти, подняв выше коленей голенища рыбацких сапог, не труднее, чем шагать, проваливаясь в мокрый снег. Но хорошо, если нет во льду трещин. А то ступишь, провалишься и...

Тут уж гляди в оба, примечай все струйки, завихрения на поверхности талой воды — если стекает она куда-то, уходит вниз, значит, есть во льду трещины. Обходи их, ступай осторожно. Зато лодку буксировать стало и вовсе милое дело. Снова она становится лодкой, плывет, скользит. Стало быть, и напрягаться надо меньше, и лямка, будь она трижды проклята, не так сильно врезается в плечи и грудь.

Вроде бы и притерпелся к новой обстановке. А все-таки страшно. Временами кажется, что никогда не перестанет ненавистный этот дождище, будет моросить до той поры, пока не растопит все льды. А тогда уж останемся мы с лодкой, прохудившейся, дающей изрядную течь, в море-океане. Понимаю, что вздорно такое предположение, а все-таки боюсь.

Сознаю и то, что плохо начал понимать многое, что происходит вокруг меня. Вчера при солнечном свете любовался горной цепью на горизонте, радовался, ликовал: «Вот она, земля!» И только потом, когда горы исчезли, сообразил, что это оптический обман, что никакие это были не горы, а далекая гряда торосов. Сегодня слушаю ровный гул, доносящийся откуда-то из-за низких, плотных, как вата, облаков. Значит, ходит где-то там самолет. Видимо, начались поиски, стартуют гидропланы из бухты Сидоровской.

А может быть, и от острова Болховского, если только есть там чистая вода. Два года назад, когда мы с Таубе, Балабаном и папой Кузей впервые обнаружили этот остров, там сверху виднелась полынья рядом с косой, хорошо помню. Да, но когда это было? В конце июля. А сейчас пока лишь июнь на исходе. Сейчас, пожалуй, не рас-

таял полностью зимний лед и в Сидоровской, а она расположена гораздо южнее. Кстати, июнь-то июнь, а какое сегодня число? Двадцать пятое или двадцать шестое, как записал я после очередной обсервации? Точно не скажу, не знаю...

Шум сверху затих. Поутюжила «гидра» море, так и не нырнув под облака, что накрывают сейчас меня. Ушла... Но попробуй нырни, еще обледенеешь. Кто знает, какая сейчас толщина облаков, сколь плотен облачный слой? Летят ребята сейчас домой, наверно, недовольные. Стыдно им, зря искали, никого не нашли, ничего не видели.

А может быть, и не ищет меня никто? Может быть, весь этот шум сверху только слуховая галлюцинация? Дело прошлое, после этой катастрофы, после больниц и санатория, я не сказал всей правды врачам, скрыл, что временами болела голова, получившая тяжелые ушибы, что шумит иногда у меня в ушах. Особенно если устаю.

Лодка окончательно прохудилась, вычерпывать из нее воду чайником бессмысленно. Галеты подмокли, такие противные стали на вкус. Чай отдает какой-то пакостью, как его ни заваривай, сколько ни кипяти воду на примусе. Спасибо, хоть примус исправен и запаса иголок для прочистки его хватит надолго.

«Ох-хо-хо, не до жиру, быть бы живу», — сказал бы, наверное, батя, будь он рядом.

Полыней, к моему счастью, попадалось все меньше, как и торосистых гряд, как и талых снежищ на сравнительно ровной ледяной поверхности. В полыньях изредка появляются тюлени.

Высунется симпатичная мордашка из воды, поблестит черным пятачком носа, посмотрит на оборванного, грязного человека, тянущего за собой лодку, и, наверное, подивится: каким это ветром его занесло в пустынные края? Не ждут тюлени никаких неприятностей от меня, и правы. Нет охоты, да и сил вынимать из чехла карабин, целиться, стрелять...

В отличие от бати и брата Дюшки никогда не был я охотником по натуре. Но, может, еще придется им стать. Кончатся галеты и консервы, съем последнюю банку трески, и придется восполнять свои запасы промыслом. Расплету веревочку, сделаю нечто вроде лески, на привале заброшу с края льдины в полынью, глядишь, и вытяну какую-нибудь сайку или тре-

сочку. Заплывает же треска в эту Арктику с милого моего Беломорья?

До чего были вкусны бабушкины пироги с треской, и сколько поел я их прошлым летом в Архангельске. Правильно говорят поморы: «Тресочки не покушаешь, не поработаешь». А речная рыбешка на Двине и лесных ее притоках, где промышляли мы в голодные времена с Настенкой и теткой Аксиньей! А нельма, муксун, омуль на Большой Реке? Как умела готовить их мама!

...Нет, не знали мы в детстве настоящего голода. Как же хочется есть... Обильная слюна вызывала омерзительное чувство тошноты. Я отплевывался на снег, запрещал себе думать о еде, доставал из жестяной банки щепотку чая, жевал всухомятку. Но от этого возникала только сухость во рту, ощущение еще более противное.

В ушах больше не шумело, но голова раскалывалась от боли. Только поэтому я не засыпал на ходу, не плюхался носом в снег, в талые снежницы. Шагал, топал, двигался. Но когда выполнял наконец дневную свою норму, восемь часов ходьбы, валился замертво. Сил не оставалось даже на то, чтобы разжечь примус, разогреть консервы, вскипятить чай. Все же, прежде чем заснуть, успевал крепко ухватиться за карабин в чехле, отстегнуть от пояса кобуру с наганом, положить их под голову. На всякий случай. А вдруг пожалует косолапый?

Но медведи не появлялись. Один только раз мелькнули в торосах три лимонно-желтых пятна — медведица с медвежатами, совсем еще маленькими, они родятся обычно в марте. Подняв морды, мохнатое семейство принюхивалось к диковинному человеческому запаху, но сближаться со мною не решалось. А вскоре и вовсе затрусили все трое в сторону, к полынье, плюхнулись в воду, поплыли, вспугнутые моим одиночным, отнюдь не метким выстрелом.

...Сновидения одолевают на каждом ночлеге. И все такие отчетливые, запоминающиеся, навязчивые, что я временами начинаю тревожиться: не схожу ли и впрямь с ума?

Вижу себя в кают-компании «Разина», просторной и уютной, отделанной дубом, освещенной мягким электрическим светом бронзовых бра. Длинный стол накрыт потертой бархатной скатертью. Разложены карты, бумаги. Раскрыты толстенные тома справочников. На капитанском месте отец, он председательствует на оператив-

ном совещании. Справа капитан Грачев в полурасстегнутом ватнике, в кресле старпома. Были за столом и Таубе, и Лева Балабан, и Настя в кожанке нараспашку, в цветастой косынке на рыжих волосах. И Лазуренко в щегольском кителе с серебряной птицей на рукаве, и профессор Губин, худющий, прямой. А кто-то еще в морской форме ходил по кают-компании взад-вперед, все время поворачиваясь ко мне спиной, так что лица его я не видел. Но в общей беседе участвовал и он, время от времени бросая короткие, веские реплики. Обсуждалась проводка каравана, возможность существования большой полыньи в высоких широтах, необходимость дальней воздушной разведки. Таубе почему-то отказывался лететь. А тот, чье лицо я не видел, его поддерживал. «И погода ненадежная, подождать надо, и горючего не хватит до того дальнего островка, как его, забыл название...»

— Да ваш это островок, Юрий Андреич, — вступал в беседу отец, — вы же сами открыли его. Вспомните, когда шли мы вместе на вельботе под парусом.

— Нет, не помню, Егор Адрианыч, ничего не помню, — отвечал человек без лица.

Да и теперь, когда он, наконец повернувшись, стал рядом со мною, лицо его невозможно было рассмотреть. Но в следующее мгновение у него вдруг оказалось лицо отца: высокий лоб с залысинами, гладко выбритые виски, зоркие глаза в лучистых морщинках, короткая щеточка рыжеватых усов. Очень долго смотрели друг на друга два Егора Адриановича: один на председательском месте за столом, другой, стоявший в противоположном углу кают-компании, рядом с открытым иллюминатором. И вдруг у одного чисто выбритое лицо мгновенно заросло бородой, усами — никогда прежде я не видел таким заросшим Егора Адриановича.

Бородатый говорил отцовым голосом: «Тяни, пилот, тяни лямку, шлюпка-то будет поувесистей аэроплана, это тебе, пилот, не штурвал держать...» И мы втроем, я, отец и бородатый, тянули шлюпку на полозьях, такую тяжеленную, неповоротливую, тянули по мокрому снегу, через ледяное поле — не было ему ни конца, ни края... Когда останавливались, чтобы передохнуть, бородатый хлопал меня по плечу, ободрял: «Ну, сынок, потерпи еще малость...»

Потом мы сидели с мамой на перевернутом, сухом,

но еще не просмоленном карбасе, а неподалеку какой-то усач, дед Яков наверное, тянул к берегу сеть. Ему помогала Настя, босоногая, в одном сарафане, вся какая-то прозрачная, воздушная. Настино лицо, чуть тронутое веснушками, смеялось, как на той фотографии, висевшей рядом с приборной доской, в пилотской кабине на «гидре», перед нашими с Таубе креслами.

...Я валялся на снегу. А двое, один в полушубке, другой в залитой кровью бекеше, склонялись надо мною, о чем-то шептались. И у обоих невозможно было рассмотреть лица — белые пятна без черт. Мне было очень холодно лежать, но подняться, идти не хватало сил.

Все это снилось не сразу. Но что, когда, в какой последовательности, на каком ночлеге? — я не мог восстановить в памяти.

Да что там сновидения... Я уже не мог вспомнить, сколько дней нахожусь в пути.

Я только шел и шел, почти в беспамятстве: на спине нес рюкзак, на правом плече висел карабин, на левом — сумка с навигационными инструментами. Лодку пришлось бросить — фанерный корпус вовсе раскис, расползся. Расстался и с прохудившимся бачком, из которого на одном из привалов, в то время, когда я спал, вытекло все горючее. Выбросил и примус, зачем он мне теперь?..

Шел мокрый, голодный, одичавший...

Вся работа разума, временами затемнявшегося каким-то полузабытьем, была сосредоточена на цифрах: высота солнца, астрономическое время суток, показания компаса, направление дрейфа. Все усилия слабеющих мышц — на несложном, механическом повторении одних и тех же движений: забросить со льда в полынью линек с грузиком, поймать секстантом солнечный луч, навьючить на себя пожитки и потом снять их, сбросить, когда ложишься, нет, падаешь отдыхать. Вся воля прикована только к одной, наяву и во сне не отпускавшей мысли: дойти, ступить на сушу, выжить!

Суша! Она стала для меня почти таким же отвлеченным понятием, как высота солнца над горизонтом, как сила земного магнетизма, влияющая на стрелку компаса. Но она и напоминала о себе. Как обрадовал, осчастливил меня здоровенный сосновый ствол, вмерзший в лед, дрейфовавший вместе со льдом бог весть откуда, от сибирских берегов. Нет, почему «бог весть» —

ствол из Большерецкого залива! Это несомненно, я увидел темные буквы на затесе, побледневшем от морской соли: Ег ЛПК — Егоркинский лесопромышленный комбинат. Ясно: то ли от плота отбилось бревнышко и понеслось вниз по Большой Реке к заливу, то ли соскользнуло оно с палубы лесовоза, шедшего из Егоркина куда-то за границу. И вот стало плавником, вступило в извечный круговорот морских течений. И доплывет когданибудь, возможно, до полюса.

Ну, да плевать мне на полюс, в конце концов! Больно она мне нужна, эта воображаемая точка земной оси... Поглядеть бы на корабль, взобраться на плот, а еще лучше на бережок — пощупать пальцами песочек, покатать на ладони камушки. Как тоскливо думать, что все это существует где-то далеко-далеко, что от всего этого я навсегда оторван.

Нет, не верю! Ведь земля не только напоминает о себе, но и помнит обо мне. Как иначе объяснить появление самолета над ледовым морем? Да, самолета! Двухмоторная «гидра» шла галсами, снизившись до высоты, обычно принятой на воздушной разведке, метрах в трехстах. Конечно, ребята там, на борту, смотрят сейчас вниз во все глаза, видят меня. Я-то вижу, без труда читаю номер на крыльях: ПС-8. Новая «гидра». Вижу на носу лодки белого медведя, поднявшегося на задние лапы, эмблему полярстроевской авиаслужбы. А у меня подняться на ноги нету сил. Лежу распластавшись. Хочется кричать, хоть и понимаю: никто меня не услышит.

Возможно, и не увидят сверху... Так и не увидели, не разглядели. Попробуй разглядеть еще одно пятнышко среди темных разводий. Утешаю себя: может, повторят ребята галсик, может, снизятся до бреющего? Нет, куда там... Внезапно упал туман. И я, обессиленный отчаянием, голодом, проспал без малого сутки. Проспал без сновидений, без памяти, без надежд...

Говорят, сон — лучший лекарь. Возможно. Но меня взбодрил не столько отдых, сколько самый факт появления самолета. Да и снова, к счастью, прояснилось. Когда я проснулся, от тумана не оставалось и следов.

Взялся за секстант, забросил линек с грузом. Обсервация, счисление пройденного пути и направление дрейфа обнадеживали: до острова еще километров тридцать на чистый вест. Успокаивал и лед: впереди не наблюда-

лось темного «водяного» неба. Стало быть, впереди поля сплоченные, разводий там должно быть меньше.

И я снова шел, то ложась, то просто падая на снег. Уже не тащил, с трудом волок за собой карабин и рюкзак. Половинки галет теперь уже не жевал, сосал, как сосут конфеты. И мечтал только об одном: как бы не скрылось солнце, как бы не заблудиться тут, у порога еще невидимого, но уже близкого дома.

Светило, не покидавшее теперь небосвод, оказалось более милостиво ко мне, чем не видимая мною земля. Нет, неправильно будет сказать так. Земля стала видимой издали благодаря тому, что солнце разогнало туман и стоял ясный, безоблачный день. На темную, чистую от снега возвышенность острова Болховского я держал направление все те двое с лишним суток, пока в состоянии еще был шагать, ползти, соображать...

Ничего не помню после последнего шага — шагнул с берегового припая под глинистый обрыв. Успел только вынуть резиновый отцов кисет, достать отцовы часы. Глянул на циферблат и, ничего не разглядев, уронил часы. Упал рядом. Упал и заснул ничком на мокрой глине. Сколько проспал, не знаю.

Проснулся будто в бреду, не верил, что подо мною суша, что на зубах у меня песок, лицо измазано глиной. А когда все-таки поверил, пошел, пополз по берегу в обход острова. Полз под обрывом, по хлюпкой тундре, вплотную подступавшей к припайному льду, мокрому, подтаявшему. Но только не по льду! Как я боялся теперь льда, воды, моря... В ужасе отпрянул, увидев полынью рядом с низменной косой за прибойным галечным валом.

Потом протер глаза, разглядел человеческую фигуру в стеганом ватнике и высоких сапогах, с растрепанными длинными волосами, огненно-красными на солнце... «Настя...» — закричал... Захрипел...

Настя обернулась, рванулась мне навстречу, упала...

А я больше не падал, не полз. Грязный, заросший, залепленный глиной, я шел... Шел к жизни, к Насте, своей жене.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Морозов С. Т.

М80 Льды и люди: Роман. — М.: Мол. гвардия, 1979. — 287 с.

В пер.: 1 р. 20 к. 100 000 экз.

Роман охватывает время первых пятилеток Страны Советов. Через трудную и героическую судьбу своих героев — семьи полярников Багровых — автор прослеживает идейную и трудовую преемственность поколений, осваивавших знаменитый Северный морской путь.

М $\frac{70302-302}{078(02)-79}$ 138—79. 4702010200 ББК 84Р7 Р2

ИБ № 1596

Савва Тимофеевич Морозов

ЛЬДЫ И ЛЮДИ

Редактор **И. Соболев**

Художник **Г. Метченко**

Художественный редактор **Н. Печникова**

Технический редактор **В. Савельева**

Корректоры: **З. Харитонова, Н. Павлова, Г. Василёва**

Сдано в набор 07.05.79. Подписано в печать 27.11.79. А04791. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 15,1. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 20 к. Заказ 829.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

1 р. 20 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ


САВВА МОРОЗОВ
ЛЬДЫ И ЛЮДИ